

ЭДИТА

ВЫПУСК 27



ЭДИТА

№27

Литературный альманах
www.editagelsen2023.com

2024

Серия альманахов "ЭДИТА" запущена в марте 2024 г.
как преемник журнала "EDITA"

Выходит по мере накопления материала

Тексты публикуются преимущественно в авторской редакции

Литературная редакция:
Пётр Бледнёв, к.ф.н. Иоган Манаев,
к.ф.н. Эвдокия Прянская, м.ф.н. Сильфида Селезнёва

Графика обложки — rexels-kelly-1179532-19063146

Издатель и главный редактор — Александр Барсуков

Copyright © 2024 bei Autoren
Alle Rechte in dieser Ausgabe vorbehalten

ISBN 978-3-910935-87-7

Gesamtherstellung Edita Gelsen e.V.
logobo2023@gmail.com

Printed in Germany

РАССКАЗ

Сергей Калабухин

Коломна



ДЕСЯТЬ МИНУТ СЧАСТЬЯ

Стоя у окна теперь уже не моей хижины, я вижу, как они, волоча ноги, бредут от зева шахты к бараку, чтобы рухнуть там, не раздеваясь, на нары и получить свою порцию счастья. Десять минут блаженства смоют усталость, и эти сволочи легко встанут с жёстких лежанок, скинут с себя вонючую от пота робу и бодро пойдут принимать душ.

А потом будет торжественный ужин. Наглые захватчики решили отпраздновать очередную лёгкую победу надо мной. Что ж, придётся вынести и это унижение. Да, это будет последний мой ужин на Шахте Счастья, но зато он и последний на этой каторжной планете. Я, наконец, покидаю Сиреневую. Космический лайнер, на котором Гольдштейн забронировал для меня каюту-люкс до Земли, отбывает завтра утром.

Вон он, мой заклятый враг, пыхтит и стонет, повиснув на каменных плечах своих звероподобных телохранителей, подобострастно встретивших хозяина у выхода шахты. Пузан отпихивает их и пытается идти сам, но короткие кривые ножки заплетаются от изнеможения, и телохранители вновь угодливо подхватывают Гольдштейна под локоток. Тот что-то неразборчиво хрипит и «гориллы» отскакивают от измотанного непривычным физическим трудом хозяина. Тот должен дойти до барака сам, без чьей-либо помощи, если хочет получить в награду кусочек счастья. Иначе, все его сегодняшние муки в шахте окажутся напрасными.

За Гольдштейном бредёт Люська. Грязные, серые от шахтной пыли лохмы паклей висят, наполовину скрывая покрытое потёками грязи лицо. Ты-то зачем полезла в эту шахту? Тоже хочешь получить десять минут счастья? Значит, ты несчастна, Люська? Имея практически всё, о чём мечтала, ты несчастна? Ради чего же пять лет назад ты променяла меня на этот мешок золота, бредущий перед тобой? Да, у нас не было миллиардов Гольдштейна. У нас и дома-то своего не было. Зато была любовь и дни, недели, месяцы счастья! Счастья, которого не надо было

зарабатывать каторжным трудом в тёмной шахте на первобытной планете.

На Сиренево́й нет ничего, кроме тюрем и шахт, в которых каторжники и свободные старатели добывают сирениты. Эти драгоценные кристаллы, конечно, весьма красивы, но и очень хрупки, а потому их невозможно добывать с помощью машин. Только по старинке — кайло и лопата. Учитывая, какой ценой достаются кристаллы, они доступны только очень богатым людям, а потому и вошли в моду в высшем свете Империи. Когда-то почти безлюдная Си́ренева́я ныне превратилась в «Клонда́йк» времён «золотой лихорадки». Любо́й желающий может прилететь сюда, застолбить участок и попытаться добыть несколько кристаллов. Достаточно найти хотя бы один, и все расходы мгновенно окупятся. Если продать его на Земле. В этом-то и состоит основная проблема вольных старателей: где та Земля, и как до неё добраться? И вчерашние вольные становятся вечными рабами ростовщиков, перекупщиков, лавочников, держателей салунов... Я бы никогда по доброй воле не попал сюда.

Наше с Люськой счастье длилось менее года. Деньги, проклятые деньги! Вернее, их отсутствие в достаточном для Люськи количестве. И однажды она ушла от меня к Роману Гольдштейну, этому уродливому рыжему коротышке. И мы остались с Аськой вдвоём. Люська бросила несчастное животное столь же безжалостно, как и меня. Безжалостно...

А ведь Аська появилась в нашей съёмной однокомнатной квартире именно благодаря Люськиной жалости. Не знаю, уж какие опыты проводились над этим несчастным котёнком. Аська была чуть жива, когда Люська, обливаясь слезами, притащила её к нам домой. Животное списали и должны были уничтожить. К счастью лаборатория занималась генетикой, а не какой-нибудь заразой вроде СПИДА или чумы. Поэтому никто особо не возражал, когда симпатичная лаборантка пожелала взять полудохлого котёнка себе. Да, когда мы были счастливы, нам было жаль всех несчастных. И Аська выжила. Вон она спит на моей койке, беспородная трёхцветная кошечка с умными янтарными глазами и пушистым беличьим хвостом. Пять лет назад мы провели множество счастливых минут втроём, играя с верёвочкой, к которой привязывали в качестве «мышки» клочок бумаги или ненужный лоскуток. «Мы в ответе за тех, кого приручили!» — часто цитировала древнего автора Люська. Как деньги корёжат людей! Пусть она разочаровалась во мне, но как можно было бросить Аську?!

Не знаю, что случилось в нашей жизни раньше: ушло счастье или появился Гольдштейн. Скорее, второе. Видимо, как только Люська поняла, что может иметь любые тряпки (это, оказывается, только для меня они — тряпки!) и украшения, обедать в лучших ресторанах, посещать концерты модных исполнителей, танцевать на великосветских балах, она другими глазами стала смотреть на наш «рай в шалаше». И на меня с Аськой.

Я долго и безуспешно пытался её вернуть. Подкарауливал, звонил, унижался, угрожал... В конце концов, «гориллы» Гольдштейна однажды ввалились в мою заросшую грязью и мусором берлогу, оторвали от бутылки дешёвой водки, избили и бросили в багажник своей огромной машины. Очнулся я уже на борту лайнера, летящего сквозь космос к Сиреновой. На груди, под давно нестиранной рубашкой я обнаружил тёплый клубочек Аськи...

А потом были ломка похмелья, голод и холод, адский труд в шахтах Сиреновой. Тогда Гольдштейн не требовал с меня плату за билет. Ему было достаточно убрать меня с Земли и из жизни Люськи. Другое дело теперь, когда я стал владельцем единственной на Сиреновой Шахты Счастья! Когда слух обо мне и моей шахте разошелся по всем обитаемым мирам Империи, в мою жизнь вновь вошли Люська и Гольдштейн. И опять с единственной целью: всё у меня отобрать.

На Сиреновой множество шахт. Но только в моей главной добычей являются вовсе не кристаллы сиренита, а нечто иное: десять минут безграничного счастья и покоя. Это обнаружилось совершенно случайно. Старик Джонсон подарил мне за год до своей смерти шахту. Кристаллов в ней почти не было. А те, что ему удавалось найти, были настолько мелки, что старик Джонсон едва успевал расплачиваться с кредиторами. Махать кайлом в шахте старику было уже тяжело. И Джонсон отписал свой маленький участок и шахту мне с условием, что найденные мною кристаллы сиренита после покрытия текущих расходов пойдут на оплату его возвращения на Землю. Я, конечно, мог и сам застолбить себе какой-нибудь участок. Но мне стало жаль старика, который был столь же одинок на этом свете, как и я. У него даже кошки не было. К тому же я знал, что путь на Землю для меня закрыт Гольдштейном. Так какая мне разница, в какой шахте горбатиться? Лишь бы была еда для нас с Аськой, да крыша над головой. Опять же, не надо строить жильё и приобретать инвентарь. И я согласился.

Однажды Джонсон привёл мне в шахту напарника. Новичка, только что прибывшего на Сиреновую. У парня, как и у меня недавно, ничего

не было, кроме крепких рук. И он согласился месяц поработать только за еду и постель, пока не накопит шахтёрского опыта. Махмуд был могуч, горяч и по-восточному нетерпелив. Он махал кайлом, как шашкой. В горячке нечаянно рубанул по стойке, и нам на голову хлынул поток камней. К счастью, мы оба успели отскочить, но оказались по разные стороны завала. Целый день мы каторжно трудились, разбирая преграду. К вечеру, наконец, я увидел отблеск его фонаря, и вскоре совершенно обезумевший от пережитого страха Махмуд выбрался, и мы из последних сил поплелись к выходу из шахты.

Наверху мы молча повалились на серую траву и уставились на заходящее солнце. На грудь мне вспрыгнула Аська. Каждое утро она провожала меня, а вечером терпеливо ожидала. Я машинально гладил мягкую кошачью шерсть и бездумно слушал громкое мурлыканье. Закат окрасил в сиреневый цвет обычно серый пустынный пейзаж, стандартный блок хижины и спешащего к нам от неё старика Джонсона. И вдруг на меня накатила волна счастья!

Пять лет назад, когда Люська бросила меня ради миллиардов Гольдштейна, я испробовал всё: алкоголь, наркотики, гипноз — ничего не дало подобных ощущений. Я повернулся к Махмуду. Тот смотрел на меня огромными глазами, в которых тоже плескалось безграничное счастье.

— Андрей, что это? — прохрипел он. — Ты чувствуешь то же, что и я?

Десять минут назад мы умирали от усталости, нам всё было безразлично, даже великолепные краски заката. А теперь мы бодро вскочили с земли и стояли друг перед другом свежие, довольные и счастливые! А вот подошедший к нам старик Джонсон не чувствовал ничего, кроме недоумения и тревоги.

Так родилась легенда о Шахте Счастья. Каждый желающий мог получить свои десять минут безграничного счастья. Но только после целого дня изнуряющего труда в моей шахте. Именно в моей. Ни в какой другой такого эффекта не наблюдалось.

Сначала люди не верили, и я пускал в шахту любого, кто хотел уличить меня в жульничестве. Я обещал оплатить труд по двойной ставке, если вечером поднявшийся на поверхность шахтёр не испытает десять минут счастья. В противном же случае, тот не возьмёт никакой платы за день каторжного труда под землёй. Разумеется, мне так и не пришлось никому платить.

Испробовав небывалое, люди вновь рвались в мою шахту. Но теперь уже я брал с них плату за это. Они не только бесплатно горбатились на меня целый день без какой-либо халтуры и перекуров, но и готовы были сами приплатить, лишь бы испытать потом свои десять минут счастья. Никакой наркотик не мог сравниться с этими минутами. Поток клиентов рос, и вскоре мне пришлось установить предварительную запись и поднять плату. Я расширил шахту, построил барак с лежанками и душевыми для шахтёров. Старик Джонсон давно уже мог улететь на Землю, но он решил поменять свой билет на возможность посещения шахты вне очереди. Я не смог его отговорить.

— Что меня ждёт на Земле? — ответил он мне. — А здесь я хоть иногда, пусть всего несколько минут, но буду по-настоящему счастлив.

Бедняга слишком часто пользовался своей привилегией и быстро сгорел. Однажды днём он умер прямо в шахте, с кайлом в руках, так и не получив свои последние десять минут счастья...

Многие пытались отнять у меня Шахту Счастья. Сначала предлагали деньги. Я отвечал, что шахта и так приносит мне огромный доход, как деньгами, так и кристаллами сиренита. Зачем мне её продавать? Тогда начинались угрозы. Но у меня к тому времени уже была надёжная охрана, получавшая плату минутами счастья. Подкупить или перекупить её деньгами было невозможно.

Я получил кучу денег от наркоторговцев за возможность взять анализы породы и воздуха в моей шахте. Целая армия учёных пыталась определить, что вызывает столь яркие ощущения у шахтёров. Они измельчали в пыль породу и кристаллы сиренита, выкачивали из шахты насосами целые цистерны воздуха, до изнеможения крутили в заполненном этим воздухом изолированном помещении педали велотренажёров — эффекта не было! Только честный изнуряющий труд в моей шахте приносил в итоге десять минут счастья. В нарколабораториях до сих пор безуспешно ищут «формулу счастья», пытаются определить недостающий ингредиент. А я им не мешаю. Потому что знаю, что они его никогда не найдут.

Как и этот подонок Гольдштейн. Он всё же вынудил меня продать ему Шахту Счастья. Когда сегодня утром его «гориллы» перестреляли мою охрану (никто из моих парней не сбежал и не сдался!), Гольдштейн предложил мне выбор: либо — либо. У меня ведь нет других наследников, кроме Люськи, с которой мы так и не успели оформить развод! Пять лет назад на Земле никто не думал, что мне удастся выжить в шахтах Сиреновой. Тем более — разбогатеть и прославиться на всю

Империю. Миллиардеры стоят в очереди в желании помахать кайлом в моей шахте!

И вот сегодня Гольдштейн потребовал с меня плату за билет на Сиреневую. Шахтой Счастья. Этот негодяй решил забрать мой бизнес бесплатно. Он хочет построить на Сиреновой роскошные отели с ресторанами и казино для богатых клиентов Шахты Счастья. Ещё будучи на Земле он, оказывается, уже заключил массу контрактов с богатейшими и влиятельными людьми Империи на посещение моей Шахты Счастья. И даже получил с них авансом огромные деньги! Корабли с оборудованием, материалами и рабочими уже летят сюда. Так что ни у него, ни у меня нет выбора. Я посмотрел, как «гориллы» Гольдштейна роют огромную братскую могилу для моих охранников и молча подписал все бумаги: развод с Люськой и обмен моего участка с Шахтой Счастья на билет в каюту-люкс до Земли. И Люська с презрительной усмешкой швырнула мне этот билет под довольный смехок Гольдштейна и гогот его телохранителей. Что ж, поглядим, кто будет смеяться последним.

Я хотел немедленно покинуть шахту. Пусть подавятся! У меня теперь достаточно денег на счетах в лучших банках Империи. Но Люська (именно Люська!) запретила меня отпускать.

— Надо испытать наше приобретение, — сказала она Гольдштейну. — Вдруг действительно существует некий тайный ингредиент, о котором Андрей нам ничего не сказал? Пусть наши мальчики не спускают с него глаз и не подпускают к шахте. А мы с тобой, дорогой, будем первыми клиентами теперь уже нашей Шахты Счастья.

И вот они вдвоём почти целый день махали кайлом под землёй, истекая потом, глотая пыль и набивая кровавые мозоли на своих холёных руках. Лично вкалывали! Даже телохранителей с собой не взяли. Значит — уверены в результате! Не желают бесплатно делиться счастьем. Видать, все их миллиарды не стоят десяти минут настоящего счастья.

Я гляжу, как они из последних сил бредут шаркающей походкой тяжелобольных людей и с облегчением падают на вонючие лежанки, от которых ещё утром презрительно воротили нос, рассуждая о роскошных номерах и бассейнах. Они ждут свои заработанные десять минут счастья. И если не получают их, то вместо каюты-люкс меня ждёт камера пыток.

Что ж, Асюня, твой выход. Иди ко мне, мой тайный ингредиент. Давай дадим напоследок этим вырождакам рода человеческого десять минут счастья. Они полностью расслабились и теперь готовы его ощутить. Я глажу мягкую шёрстку искалеченной генетическими экспериментами

кошки, она громко мурлычет у меня на коленях, и волны счастья плывут от нас всё шире и шире...

Игорь Книга

Феодосия

СИЛА ВЕРЫ

Хвала и слава Господу нашему,
не покинувшему в беде детей своих.
Не оставившему милостью
и не отдавшему на растерзание чудовищу.



Олав «Напутственная молитва»

Погожим августовским утром в лето от Рождества Христова 13**, когда крестьяне только-только привезли на рынок Арториуса сыр и свежее молоко, во дворе замка толпился пёстрый военный люд. Лучшие рыцари, копейщики и лучники откликнулись на зов Всемиловейшего герцога нашего Уильяма Торстейна, чтобы поймать и посадить на цепь Чёрного дракона, наводящего ужас на деревни, пожирающего скот и сжигающего пламенем из чрева своего посева ячменя и пшеницы. До сегодняшнего дня Его Светлость не мог заняться этим важнейшим походом, потому как дела вынуждали ездить в столицу по монаршему зову. Мне, Альву, шестнадцати лет от роду, выпала честь увековечить славный поход на пергаменте, дабы потомки узнали о делах милорда.

Сын пекаря, я с ранних лет овладел грамотой и преуспел в каллиграфическом письме. Имя мне дали за чуть заостренные уши, которые могли стать для меня роковыми, ибо невежественные соседи не раз отправляли доносы, будто бы я навожу порчу на людей и скот. Но в судьбу мою вмешался Его Светлость герцог Торстейн, и уже второй год служу при нём летописцем. Ранее я ни в каких военных походах не участвовал, но именно мне выпала честь поставить точку в истории о драконе.

Чёрное чудовище часто видели рядом со Змеиными скалами, о которые разбивались холодные морские волны и нападения северных врагов герцогства нашего. Немало грозных норманнов, идущих войной, нашли здесь смерть свою, попав в пасть Великого морского змея или разбившись о каменную твердь. Море не раз выбрасывало на берег об-

ломки мачт, куски парусов и трупы свирепых воителей. Лишь самые отчаянные рыбаки рисковали отправляться на промысел, не забывая воздать молитвы Господу нашему.

Учёнейший брат епископ Олав благословил поход наш, но не примкнул к нему, сославшись на пошатнувшееся здоровье. Мне же он дал серебряное распятие и большой пучок священной травы лавии — общепризнанного и одобренного Церковью средства для отпугивания нечисти. Герцог не стал уговаривать епископа идти с нами, ибо отношения в последнее время между ними сильно испортились. Причина этого мне была не известна. Ни герцог, ни епископ ничего об этом не сказывали. Лишь выражение лица Его Светлости свидетельствовало о крайнем недовольстве при появлении епископа. Его Святейшество при этом молчал и натянуто улыбался.

Осмотрев воинов, герцог вскочил на вороного коня, подаренного королем по случаю недавней годовщины свадьбы. Всемиловитейшая леди Анна помахала из окна алым шелковым платочком, посылая нам удачу и везение в трудном походе. Герцог выхватил из ножен сверкающий меч и поднял его над головой.

— Слава Торстейнам! — прокричали воины.

— Слава, слава, слава! — повторили слуги и жители.

Его Святейшество трижды осенил воинство крестным знаменем, укрепив дух наш. Несмотря на неприязнь герцога к епископу, у меня с Его Преосвященством были дружеские отношения. Не раз Олав давал дельные советы как друг, наставник и старший брат. И врачеватель он был отменный, приправляя лекарства молитвами Господу нашему.

Олав едва заметно подмигнул мне и показал взглядом на пучок чудодейственной травы, намекая, чтобы я не потерял грозное оружие против нечисти. Мог ли я тогда представить, что эта созданная самим Господом трава послужит ключом в борьбе против сил зла? Дух воинский, укрепленный молитвами и непререкаемым авторитетом герцога нашего многократно усилился.

Под крики толпы, стройные ряды воинов выплывали из ворот замка. Герцог сердито глянул на меня, и я поспешил последовать за солдатами. Мне, как самому молодому участнику славного похода, Его Светлость приказал следовать за солдатами, и ни при каких обстоятельствах не высовываться. В тот миг лишь один Господь ведал, вернусь ли я с честью, иль сгину в пасти кровожадного чудовища.

Август выдался необычайно засушливый, дожди не размывали дороги, и наш отряд быстро продвигался вперед, распевая победные песни о богатой добыче и славе, ждущей впереди. Его Светлость предпочи-

тал молчать, предаваясь размышлениям. Ещё никогда наше славное воинство не сражалось со столь грозным противником, парящем высоко в небе, не ведающем речи людской, одним дуновением сжигающим отряд конницы. Накануне похода я сумел выпросить на день у Олава священную книгу «О всепобеждающей силе веры в Господа против чудовищ огненных». И ночь просидел у свечи, прерывая чтение лишь на молитвы, уповая на везение и силу веры в Господа всемогущего.

Прохлада с моря взбодрила моё тело, лишь чудодейственная трава мешала просветлению мысли. Запах лавии вскоре стал совершенно невыносимым, у меня слезились глаза, а горло запершило кашлем. Упоывая на военную мудрость герцога и невозможность чудовища заставить нас врасплох, я спрятал чудо траву в дорожную сумку, болтавшуюся на моем худом плече.

— Альв, — обратился ко мне рыжеволосый здоровила копейщик Галахад, известный своим дебоширством в городских тавернах и жульничеством при игре в кости.

Я дружески кивнул в ответ, пытаясь сообразить, что пройдоха затеял на этот раз. Не раз Его Светлости приходилось «вытаскивать» копейщика из цепких лап разъярённых собутыльников, которых тот обманул. Лишь безграничная преданность герцогу, высокое ратное мастерство в битвах спасали Галахада от позорного наказания и изгнания со службы. Копейщик протянул мне мех, сильно пахнущий элем, но герцог как раз смотрел в нашу сторону.

— Галахад! — грозный окрик милорда заставил копейщика вздрогнуть. Лицо солдата мгновенно приняло ангельское выражение, а мех с элем вернулся на свое место, повиснув на широком плече.

— Мне не нужна пьяная армия, — назидательно произнес Торстейн. — Мне нужны победители.

Галахад смиренно вернулся в строй и дальше шёл молча, глядя только себе под ноги, пиная изредка попадавшие камни и сердито поглядывая в мою сторону, чего я старательно не замечал.

Чтобы добраться засветло, мы, по команде герцога, свернули с дороги и ускорили шаг. Порывистый ветер с моря задул вновь и на этот раз пригнал свинцовые тучи. Впервые за много дней в воздухе запахло крепким английским дождём. Чтобы подбодриться, солдаты затянули песню, а я принялся повторять два дня назад выученную молитву о прощении заблудшей души, покаявшейся в грехах своих.

До Змеиных скал мы добрались только к вечеру. Предстояло разбить лагерь и подкрепиться плотным ужином. Заходящее багровое солнце словно намекнуло на страшную опасность, уготованную нам в

каменной гряде. Несколько раз сверкнула молния, закапал мелкий дождь. Прикрывшись плащом, я достал пергамент и стал подробно описывать начало похода, не забывая прославлять Господа нашего и Его Светлость, всемилостивейшего герцога Торстейна.

— Молодец, — дружески хлопнул меня по плечу неслышно подошедший герцог. — Наши потомки должны знать всё об этом великом походе. Время стирает из памяти события, и только пергамент хранит их дольше наших жизней. Когда вернёмся, передашь летопись Олаву, и пусть его бездельники монахи размножат твоё творение. А ты получишь от меня вознаграждение.

Несмотря на грубые манеры и жёсткость, а временами даже жестокость, у Его Милости была светлая голова. Природный ум его и сообразительность с лихвой компенсировали нехватку образования. Не зря король приглашал его на самые важные военные советы, предшествующие великим походам английской армии.

Похвала милорда вдохновила меня на дела литературные, хотя к стыду своему вынужден признаться, что ни одной книги я ещё не написал. Но как успокоил меня Олав, у всякого писателя свой литературный возраст. Сидя у костра, я и не заметил, как на землю опустилась ночь. Перед самым походом, Его Святейшество вручил мне книгу, над которой он трудился последний год, намекнув, чтобы я не показывал её герцогу. Пробежав глазами начало, я понял, что это история о двух братьях. Читать у костра её я не решился, но по возвращении обязательно ею займусь.

Герцог дал команду затушить все костры, и отряд двинулся к большой пещере, где, по рассказам крестьян мог прятаться дракон. Его Светлость спешился и шёл рядом со мной, поручив коня оруженосцу. Подъём в гору участил мое дыхание, каждым следующим шагом давался труднее предыдущего. При звуках из темноты сердце замирало от страха, а воображение рисовало огромное чудовище, извергающее пламя на нас. Вдобавок явилась багрово-красная луна, осветившая скалы и не предвещавшая ничего хорошего.

Пещера вынырнула совершенно неожиданно, дохнув дымным воздухом своей огромной чёрной пасти. Герцог отправил двух разведчиков внутрь, а мы тем временем начали разворачивать большую сеть, сплетённую из самых крепких веревок. Предстояло накинуть её на дракона, лишив чудовище возможности двигаться и пустить в ход свой длинный хвост и когтистые лапы. Никто и не предположил, что дракон, как и мы, не спит в эту ночь. Ни у кого и мысли не возникло, что именно сей-

час он может вернуться в свое логово. Поэтому никто не смотрел в противоположную от пещеры сторону.

Лишь громкий кашель за спиной заставил меня вздрогнуть. Стоявший передо мной лучник обернулся, лицо его исказилось страхом. Солдаты бросили сеть и быстро образовали строй, закрывшись щитами и выставив вперед копья. Наверное, мне уже надо было бежать, но страх сковал ноги и я продолжал стоять неподвижно. Вместо холодного ветра затылок мой обожгло горячее дыхание, я почувствовал запах, словно из огромной конюшни. Кляня себя за трусость, я всё же повернул голову и встретился взглядом с большими янтарно-жёлтыми глазами.

Вы когда-нибудь смотрели в глаза дракону? С трудом сгибая непослушные ноги, я стал пятиться к пещере. Видимо дракон в тот вечер плотно поужинал, иначе проглотил бы хлипкое тело моё, как мушку. Чудище разинуло страшную пасть и сладко зевнуло, после чего остатки моего боевого духа ушли в пятки, и я помчался, как быстрый весенний ветер, чуть касаясь ногами земли. И едва я забежал за строй солдат, как герцог взмахнул рукой, а лучники дали первый залп по чудовищу. Стрелы ударялись о толстую шкуру дракона и отскакивали, словно от скалы, издавая цокающие звуки. Даже брошенное Галахадом копье не произвело на чудище впечатления. Дракон понюхал древко и легко, словно соломинку, сломал лапой.

Строй солдат отступал к пещере, лучники сыпали стрелами. Наши зажжённые факелы осветили вход в логово чудовища.

— Альв, хватай свои свитки и двигай вглубь, — прокричал мне на ухо Его Светлость.

Разъярённый дракон, переваливая тяжёлое тело, пошёл на нас, разинув ужасную пасть.

— Сомкнуть строй! — скомандовал герцог, ожидая извержение огня.

Чудовище громко заревело, подняв голову к небу. Медлить было нельзя, и мы быстро побежали по скальному коридору, ведомые теми самыми двумя разведчиками. Кто бы мог подумать, что логово такое огромное! Проход заметно сузился, наша армия перешла на шаг. Откуда-то повеяло запахом дыма, но в тот момент мы не придали этому значения. А зря! Олав всегда учил меня замечать мелкие детали и находить их взаимосвязь с событиями вокруг.

Каменный коридор неожиданно начал расширяться и вскоре, мы очутились внутри огромной ниши. При тусклом свете факелов нашему взору предстали многочисленные раздробленные и обглоданные кости, разбросанные по полу. Жуткий смрад поверг меня в ужас, разум пому-

тился, и я, покачнувшись, присел на большой камень. Ждёт ли нас участь этих несчастных, или нам суждено найти выход из смертельной западни?

Герцог толкнул сапогом одну из костей и громко рассмеялся.

— Испугались? Вот они пропавшие коровы!

Мысленно я от всей души поблагодарил Его Светлость за шутку в столь страшную минуту, разум мой начал выходить из оцепенения. Повсюду действительно валялись кости скота, преимущественно коров, но в некоторых угадывались бараны.

— Как такой огромный дракон прошёл по узкому коридору?

На этот раз Его Светлость обращался непосредственно ко мне.

— Он использует магию и колдовство, милорд, — предположил я, уже справившись с волнением.

— Может быть, может быть, — задумчиво произнёс герцог.

Ответом стал пронзительный рёв дракона.

— А если он не один? — предположил Его Светлость.

Значение этих слов мы поняли позже, а сейчас все думали только об одном: как выбраться из пещеры. Знакомый запах эля вывел меня из оцепенения. Даже в такой страшный для нас час пройдоха Галахад успел приложиться к меху и сидел с довольным видом, прислонившись спиной к камню. Герцог не обратил на него ни малейшего внимания, нервно меряя шагами каменный пол.

— Будешь? — тихо спросил копейщик.

Я сделал большой глоток.

— Не стесняйся, тут все свои, — подбодрил меня рыжеволосый.

Во второй раз я приложился к меху как следует, и действительно стало лучше. Страх и беспомощность против грозной драконьей магии ушли, наступило время осмысления нашей тяжёлой участи.

— Что же делать? — спросил я.

— А ничего, — ответил копейщик, сделав большой глоток. — Нужно просто подождать — может, он заснёт или улетит. Вот тогда мы и покажем, что умеют настоящие англичане!

Каждая следующая порция целебного напитка уменьшала страх, и придавала храбрости, мне стало жарко, словно от огромного костра. Серебряное распятие на груди заиграло отблеском факелов, подсказывая решение. И я понял: слово, слово божье! Вот то, что поможет нам победить огромное чудовище. Осмелев, взял в одну руку пучок лавии, в другую распятие, и двинулся по коридору пещеры. Поначалу никто не обратил на меня внимания.

Чудовище мирно дремало у входа, но, услышав шаги, подняло голову. Два огромных жёлтых глаза загорелись во мраке, изучая странное приближающееся существо с пучком травы и серебряным крестом. Несокрушимая вера в Господа придала сил, и я подошел к дракону вплотную.

— Изыди мерзкое чудовище! Вернись назад в свой мир тьмы и проклятия. Славен и всемогущ Господь наш, не бросит он в беде детей своих. И да поможет победить врагов наших. Аминь! — я трижды перекрестил дракона серебряным распятием.

После такого знамения любой демон просто обязан был с воплем испариться. Но не этот. Чудовище несколько раз моргнуло, вытянуло шею, приняло и приблизило голову к моей руке. Огромный шершавый язык выхватил из ладони пучок лавии, мгновенно исчезнувший в большой пасти. Дракон сочно прожевал волшебную траву и довольно хрюкнул, легонько потёршись головой о мое плечо. В этот момент вся предыдущая храбрость выветрилась вместе с элем, я боялся пошевелиться.

— Так я и думал! — прозвучал позади возглас герцога.

Солдаты изумлённо смотрели на дракона, спокойно лежавшего рядом со мной и не проявлявшего ни малейших признаков враждебности.

Торстейн подошёл к дракону и провёл ладонью по костяному гребню на шее:

— Этот зверь совсем не опасен, а вот ...

Не успел Его Светлость договорить, как снаружи пещеры прошуршали крадущиеся шаги. По команде герцога солдаты погасили факелы, и мы притаились за большими камнями по обе стороны пещеры. Осторожно ступая, вошёл человек в монашеской рясе с опущенным капюшоном. Дракон вытянул шею и принялся обнюхивать незнакомца.

— Проголодался, Магнус? — вошедший погладил чудовище и бросил на пол большой мешок. По знаку герцога двое солдат выскочили из-за камня и схватили незнакомца. При свете вновь зажжённых факелов мы увидели лицо чужака, заросшее щетиной, изъеденное глубокими шрамами. А на лбу «красовалось» клеймо каторжанина. Милорд вынул меч и приставил острое к горлу разбойника:

— Это ты угонял скот и жёг посевы? Отвечай!

Незнакомец испуганно заморгал глазами и упал на колени.

— Ваша Милость, пощадите!

Лицо каторжанина исказилось от страха, из глаз закапали слёзы.

— Вздёрнуть его, — коротко приказал герцог.

Солдаты потащили разбойника к выходу.

— Ва-а-а-ша Ми-и-и-лость! Я не мог иначе, меня вынудили! — донёсся жалобный всхлип. Герцог сделал солдатам знак остановиться и подошёл к разбойнику.

— Кто?

— А вы сохраните мне жизнь? — жалобно проскулил незнакомец.

— Слово Торстейна, но ты вернешься назад на каторгу.

— Я не знаю этого человека, — начала рассказ разбойник. — Он нашёл моё укрытие и под страхом выдачи властям заставил выполнять эту грязную работу. А ведь мне совсем этого не хотелось. Ваша Милость — поверьте!

Герцог дал мне знак записывать, всё, что скажет разбойник. Я достал чистый пергамент и весь обратился в слух.

Чем больше каторжник говорил, чем больше выкладывал подробностей о таинственном человеке в чёрном, тем страшнее мне становилось. Черты его оказались слишком узнаваемы, вёл он себя, будто ... Взгляд мой встретился с взглядом герцога: глаза Его Светлости говорили то же самое.

После такого признания, я не мог произнести ни слова, будто на голову вылили воды с кусками льда. Вся моя вера, всё то доброе и хорошее, что я получил от наставника, в один миг пошатнулись, и с грохотом обрушились. Поверить в такое невозможно, изнутри меня приготовился вырваться голос протеста лживому обвинению.

Словно в доказательство моих мыслей, небеса разгневались и разверзлись бурей с ливнем и шквальным ветром. Поэтому ночь наше войско провело в пещере, пережидая разбушевавшуюся непогоду. Пересиливая страх, солдаты подходили к чудовищу, касались его толстой шкуры, не веря глазам своим — ведь не каждый день удаётся видеть настоящего дракона, да ещё и такого миролюбивого. И у многих эти воспоминания останутся на всю жизнь, будут передаваться из поколения в поколение, как чудесная сказка.

Всё это время я сидел рядышком, прислонившись спиной к тёплому боку Магнуса, записывая детали похода, чему помогала цепкая память. Душа обливалась кровью, в голове никак не укладывалось, что Его Святейшество мог ступить на преступный путь, очернив светлое имя служителя Церкви. Теперь лишь архиепископ и сам Господь смогут определить его вину и дальнейшую участь, что страшило меня ещё больше. Так в тяжких раздумьях и воспоминаниях, я провёл ночь, изредка подбрасывая сучья в костёр, слушая тихий храп дракона. Благо, каторжник запасся топливом на всю зиму, которую ему придётся провести совсем в другом месте.

Попутру чудовище покорно дало застегнуть на себе кожаный ошейник с гербом Торстейнов, искусно сшитый ночью слугой герцога. Дракон с удовольствием пожевал лавии, но половину чудо травы я приберег — впереди долгая дорога, неизвестно как поведёт себя чудовище в пути. И едва солнце позолотило скалы, наш отряд выступил. За колонной солдат вели разбойника с крепко связанными за спиной руками. Следом, переступая огромными когтистыми лапами, лениво шагал дракон, ведомый мною за толстую веревку.

Я усердно гнал мысль, что чудище одним неосторожным движением головы может зашвырнуть меня до самого моря, моля Господа укрепить дух мой и тело, дабы я смог привести дракона в Арториус. Трудно было поверить, что дракон оказался не опаснее коровы, никого не проглотил и никакого огня не извергал. Даже стрелы и копья не вынудили его показать свою коварную сущность, что ставило под сомнение все прочтённые мною книги о драконах. Может Магнус один такой, а остальные драконы действительно коварные и кровожадные? О том мне ведомо не было и приходилось верить лишь глазам своим, уповать на силу молитв, серебряного распятия и магического действие лавии.

При подходе к Арториусу жители выбежали нам навстречу с громким ликованием. Дети хихикали, показывали на Магнуса пальчиками, но пугливо прятались за спинами матерей. Мужчины потрясли кулаками и благодарили герцога за избавление от чудовища. Собаки истошно лаяли, пытаясь укусить Магнуса, солдатам приходилось отгонять их копьями. Но особенно эффектно смотрелся я, ведущий на поводке чёрное чудище, мерившее огромными глазами пёструю толпу горожан. В тот день отец мой как никогда гордился мной, а мать устроила вечером праздничный ужин, зажарив утку с яблоками.

У самого замка нас встретила Всемиловнейшая леди Анна, чуть ранее получившая добрую весть от гонца. Солдаты выстроились рядами, рыцари развернули алые стяги с перекрещивающимися мечами — герб славного рода Торстейнов. И под приветственные крики собравшейся толпы горожан мы с Магнусом вошли во двор замка. Дракон спокойно слушал громкий глас народа и даже, как мне показалось, пытался что-то прореветь в ответ. Но тёплая погода и долгий путь, проделанный нами, утомили крылатого путника. Он несколько раз зевнул, разглядывая двор замка и явно ища место, где бы прилечь. Тотчас по приказу милорда была выделена одна из больших конюшен, ныне пустовавшая. Магнусу быстро подготовили большой стог сена, чему он несказанно обрадовался. Поев и выпив несколько вёдер воды, дракон прилёг и уснул.

Но в тот момент меня больше беспокоило другое: как Олав оправдается за свершённые злодеяния и свершал ли он их? Похоже, переживал не я один, слуги герцога уже искали Его Святейшество. Но тщетно. Монахи сообщили, что с вечера епископ седлал коня, взял запас провизии и ускакал, не сообщив, куда поехал и когда вернётся. Поговаривали, что епископ отправился далеко на север, где не распространялась власть короля нашего Эдуарда.

По прошествии трёх дней после описанных мною событий нам прислали нового священника по имени Томас. Большой и грузный, с вечной улыбкой, любитель эля и хорошо приготовленной телятины, святой отец быстро нашёл общий язык с герцогом, чего не получилось со мной. Томаса мало интересовали науки и ремёсла, к которым имел тягу я и мой прежний наставник Олав. Временами мне даже казалось, что у епископа проглядывает откровенная неприязнь к простолюдинам.

А по окрестным селениям прошел слух, что один взгляд Чёрного дракона даёт силу воина новорождённым. Многие матери захотели укрепить боевой дух чад своих, ибо нет англичанина, не мечтающего о воинской славе. Ведь это у нас со времён доблестного короля Арториуса, чьим именем нарекли город. Люд шёл к нам с рассвета и до заката, что сильно утомляло Магнуса и не давало мне возможности заниматься другими делами. Поэтому Его Светлость своим указом определил лишь один день — воскресенье, чему я весьма обрадовался. А чтобы дракон не был нахлебником, герцог установил плату с каждого, кто его касался.

Ранним воскресным утром я выводил Магнуса во двор, заполненный женщинами с маленькими детьми на руках. Томас благословлял всех, говоря, что дракон такая же божья тварь, как и мы. Магнус внимательно слушал его, словно внимал каждому слову, и моргал огромными жёлтыми глазами, с аппетитом пережёвывая лавию. Для засева чудо травой Его Светлость выделил из своих угодий большое поле, дабы наш дракон не испытывал нужды в любимом лакомстве.

Вскоре в замке побывали сам король и архиепископ. После некоторых раздумий, с согласия Его Величества, Его Святейшество разрешил крестить Магнуса. Мне в этом показалось мудрое стратегическое решение: враги наши сильно призадумаются, прежде чем напасть на славную Англию. И да убоятся враждебные силы мощи войска нашего, укреплённого молитвами и силой Чёрного дракона!

Крещение Магнуса не могло остаться незамеченным в терзаемой набегами кочевников Европе. В Арториус прибыло много посланцев,

попутно надеясь решить некоторые вопросы военного союза с герцогом. Даже воинственные норманны поспешили заключить перемирие.

А Чёрный дракон получил новое имя — Якоб, что не мешало мне продолжать называть его Магнусом. Герцог Торстейн добавил изображение дракона на свой фамильный герб, а меня, в качестве обещанной награды, назначили смотрителем крылатого чудовища и личным советником Его Светлости. По правде сказать, я, как и многие арторианцы, мечтал совсем о другом, но хорошо усвоил наставление Олава: носить меч может каждый, но не каждый способен стать рыцарем.

По прошествии двух недель после описанных событий я вспомнил о книге Олава. Начав читать вечером, не смог оторваться и просидел до восхода солнца. События, описанные в книге, всколыхнули моё сознание, а герои произведения имели примечательное сходство с ныне живущими в Арториусе.

Их было двое. Два брата, один из которых незаконнорождённый. Старшему досталось всё: герцогский титул, замок, земли, воинство. И едва достигнув совершеннолетия, он отослал младшего в одну из отдалённых деревень владений. Но тот не стал засиживаться в тесной крестьянской избе, а отправился путешествовать. После множества опасных приключений, долгих скитаний по Европе, он попал в монастырь, где получил образование и посвятил себя служению Господу нашему. А вернувшись через много лет, стал епископом.

Вот почему Его Святейшество просил, чтобы я не показывал книгу герцогу. Уж очень сильно схожи герои этой истории с Уильямом и Олавом, хотя у Его Светлости есть ещё двоюродный брат, входящий в Военный Совет герцогства. Притеснения и унижения, испытанные младшим в детстве и юности, прорвались через много лет наружу, превратившись в злобу. Не смог бывший изгнанник победить в себе низменное, встав на путь мщения. Но почему он сделал это с помощью Чёрного дракона? Мне этого уже не понять, как и многих деяний человеческих, несовместимых с божественным.

Зато я в полной мере осознал, что добро и вера в Господа нашего является всепобеждающим и самым сильным оружием в борьбе со злом. Ведь где-то, в какой-то момент любой человек может свернуть с пути истинного и поддаться подлой жажде мести. Лишь твёрдость духа и вера истинная способны остановить его, не дать тьме возобладать на светом в душе. И я всегда буду чтить Олава как своего первого и потому самого лучшего учителя и наставника. А книгу буду бережно хранить и завещаю потомкам своим, дабы помнили они, как велика сила

тмы, как легко сбиться с пути истинного. Пусть это послужит им хорошим уроком, а вера в Господа нашего укрепит их тело и дух.

Аминь.



Светлана Олексенко

г. Иваново

КРАСАВЕЦ

Внутри у него было холодно и пусто. Он постарел и от немощи всё чаще стал пускать лужи. Где-то в самом дальнем углу его железной утробы ещё хранились обросшие снежной шубой грибы, принесённые кем-то из Хозяйкиных знакомых года два тому назад. Они так и остались невостребованными ни для жаркого, ни для супа. Грибы были единственной ценностью, которую он берёт, старательно вырабатывая мороз и пыхтя от усердия. А ещё он хранил целую кучу бесполезных микстур, таблеток и сердечных капель, которые не помогали ни ему — от тоски, ни постоянно хворавшей Хозяйке. Это было печально, как и вся его нынешняя никчёмная, пропахшая корвалолом, жизнь. По ночам он предавался воспоминаниям и надрывно грустил, дребезжа и мешая спать соседям за тонкой стенкой.

Соседей по коммунальной квартире он не любил и даже возненавидел бы, будь у него хотя бы половина сил, что были раньше. Но сил на ненависть не осталось, и он только тихо вздрагивал, когда чужие громогласные люди бесцеремонно вваливались в комнату, дыша перегаром и не обращая внимания на безучастную ко всему Хозяйку. Они всюду совали нос — по-свойски вытягивали тугие ящики старого комода, хлопали дверцами шкафа, шарили по полкам.

«Эй, Митревна, тебе пенсию принесли? Дай столик! Нет, лучше пятихатку! А закусь есть какая? Гляди-ка, в холодильнике-то у тебя мышь повесилась, ха-ха-ха! Ишь, гробина ржавая, опять лужа под ним! Слышь, Митревна? Когда жилплощадь-то освободишь? Пора на свалку вам обоим!»

Но Хозяйка оставалась по-прежнему безучастной и молча каменела, сидя на своём диванчике у окна, устремив невидящий взгляд сквозь мутное стекло.

Больше всего он боялся, что внутри у него когда-нибудь и вправду заведётся мышь и непременно повесится, не найдя ни крошки съестного. Как же это, должно быть, страшно, когда в тебе окажется смерть, пусть даже и мышиная!

А ведь были времена, когда его объёмистое чрево было набито всевозможной снедью: парной розовой свининой с сахарной косточкой; скользкими, с перламутровой чешуёй карпами; отборными колбасами, от аромата которых дух захватывало; жирным деревенским творогом, желтоватой густой сметаной... Каждое воскресенье припасы пополнялись. Они врывались в кухонное пространство в большой, длинной, похожей на лодку корзине, а он принимал их как долгожданных гостей и радушно распаивался навстречу. Ещё одну корзину со свежим ржаным и пшеничным хлебом из пекарни Хозяйка ставила на стол у окна и, отломив румяную хрустящую корочку от тёплого батона, с наслаждением съедала её, приговаривая: «Ничего вкуснее хлеба не бывает! Ничего!»

Это были золотые времена, когда он жил совсем в другом доме, в просторной «отдельной квартире в центре города». Он, разумеется, не знал, что значит «отдельная» и «центр города», но так говорила кому-то по телефону Хозяйка, и для него это было важно, как всё, что исходило от неё.

Тогда у него была семья — самая настоящая: кроме Хозяйки, были ещё Хозяйкин муж и четверо их детей. В большой светлой кухне с двумя окнами он занимал самое почётное место — сразу напротив двери. Кухонную дверь почти никогда не закрывали, и ему было видно всех, кто приходил в дом. Он тоже был виден всем проходящим и очень гордился своим положением. «Ах, какой красавец!..» — неизменно восхищались очередные гости. Да, он был редким красавцем и сам это знал. Он был уверен в своей особой роли в доме, где спозаранку, почти не переставая, в кухне играло и пело радио и, казалось, именно для него звучало бодрое: «Нас утро встречает прохладой...» И он тоже встречал ободряющей прохладой всех, кто открывал его белую гляцевую дверцу, за которой хранилось правильное, сытое, надёжное благополучие.

Таких, как он, было мало — их где-то «доставали с большим трудом». Так всем говорила Хозяйка, и он ей верил. Разве можно ей не верить? Ведь она относилась к нему с любовью, глубоким уважением и даже советовалась: «Что сегодня приготовить, Зил Зилыч, как думаешь? Может, сырники с изюмом и кунжутом? Ребята их любят. Или грибной супчик? Что-то ничего нового в голову не приходит!» А потом и супчик варила, и сырники жарила, и салаты всевозможные строгала,

как заправская повариха. И как она всё успевала? Шутка ли — каждый день кормить такую ораву!

Он с удовольствием наблюдал за её умелыми, лёгкими движениями — то у шкафа с посудой, то у рабочего стола с набором разнокалиберных кастрюль, мисок и ножей, то у жаркой плиты. Бывало, за день воздух в кухне, пропитанный парами из кастрюль, нагревался так, что окна запотевали, и младшие дети, вскарабкавшись на широкий подоконник, пальцами рисовали на стекле кривые рожицы, корабли и самолёты.

Самым приятным для него был тот утренний час, когда глава семейства уезжал на свою директорскую службу, старшие дети отправлялись в школу, младшие ещё спали, и он оставался наедине с Хозяйкой. Этот необыкновенный час принадлежал только им!

«А сейчас, мой дорогой, мы будем пить кофе! — она так и говорила: «мы». — Ты не против настоящего, бразильского? А как насчёт сливок?» И она — миниатюрная, ладная, обожаемая — ласково проводила ладонью по его прохладному гладкому боку. Затем наполняла водой и ставила на огонь пузатую, надраенную до зеркального блеска медную джезву и принималась колдовать над ней, как древний алхимик. Кроме двух ложек отборного свежемолотого кофе, в ход шли корица, за ней малая толика ванили на кончике ножа и щепотка соли. Вскоре волшебное варево закипало, и воздух наполнялся восхитительными ароматами — так пахло счастье! Их счастье! Потом Хозяйка уютно устраивалась на узком диванчике у стены. Отпивая из тонкой фарфоровой чашечки, покачивала изящной головой на высокой шее, влюблённо смотрела на него и повторяла нараспев: «Краса-а-вец ты мой! Какой же ты краса-вец!..».

Конечно, она любила его! Любила так, как никого больше. Никому, кроме него, Хозяйка не говорила таких слов! Ни на кого так не смотрела, ни с кем не проводила столько времени! Друг для друга они были источником радости, и светлое кухонное пространство было их заповедным местом.

А потом наступили перемены. Сначала куда-то исчез отец семейства, в доме стало непривычно тихо и сумрачно. Не слышно было шумной детской возни, умолкло радио, перестали приходиться гости. Хозяйка утратила весёлую живость, истончились черты её бледного лица, пышные кудри спрятались под чёрным некрасивым платком. Она тенью перемещалась от буфета к плите. Механически приготавливая детям незатейливые каши и яичницу, роняла то чашку, то ложку. Молоко сбегало

из кастрюли, на сковородке подгорала яичница, исходя едким дымом и горьким запахом беды. И, казалось, не будет этой горечи конца...

Внутри у него образовалось слишком много свободного места, и это его беспокоило. Морозилка нередко пустовала, а на решётчатых полках всё чаще появлялись сомнительные магазинные котлеты, которые Хозяйка раньше не только не купила бы, но и даром не взяла бы.

Ещё больше тревожило, что день ото дня росло количество таблеток, которые Хозяйка определила ему на хранение. Она стала молчаливой и безразличной, уже не смотрела на него с любовью, не называла ласковыми именами и редко готовила настоящие обеды — с борщами, холодцами, винегретами... Подросшие Хозяйкины дети, прежде украдкой таскавшие из его неиссякаемых запасов кусочки сыра и копчёной колбасы, не находили теперь ничего вкусного и в досаде резко захлопывали дверцу. Ему это было неприятно и очень обидно.

И то ли от обиды, то ли от времени он потерял былую красоту и щегольской вид, которым так гордился. На дверце, словно ранние морщины, появились царапины, её цвет уже не радовал белоснежностью, глянец потускнел. По вечерам, когда Хозяйка выключала свет и уходила из кухни, он привычно грустил и еле слышно ворчал: «Да... я больше не главный в доме... для неё я теперь просто вещь, обыкновенная вещь...»

Шёл день за днём, год шёл за годом. Дом опустел. Младшие дети окончили школу, подались в столицу за лучшей долей и возвращаться не собирались. Старшие давно стали взрослыми, обзавелись своими семьями и жили отдельно.

Каждое утро Хозяйка обходила пустые комнаты, раздвигала шторы, вытирала пыль, перебирала книги на полках и вздыхала — скучала по детям. Он слышал её шаги в комнатах, вздохи, и ему становилось тоскливо оттого, что он ничем не мог ей помочь и чувствовал себя виноватым.

Она приходила в кухню и варила сливовое варенье — впрок, для них, для детей. Натоптавшись у плиты, тяжело усаживалась на узкий обшарпанный диванчик, на котором давно приспособилась ночевать — тут же, в кухне. Отсчитывала над стаканом капли из тёмной склянки, принимала снадобье и снова вздыхала. Внешне она оставалась такой же миниатюрной, как в молодости, только плечи её ссутулились, как будто их придавил невидимый груз, и нести эту ношу ей было не по силам.

Иногда старшие дети навещали Хозяйку. Они приезжали в день её рождения или в какой-нибудь другой праздник с дежурной коробкой конфет и бесконечными сувенирными магнитами, привезёнными из заграничных поездок. Накануне таких визитов Хозяйка занимала деньги у соседки, бегала по магазинам, затевала опару для пирогов, крутила в мясорубке говядину, суетилась у плиты, причитая: «Ох, не успею, Зилыч, не успею!..» Вопреки опасениям, она всё успевала сделать задолго до назначенного часа: приготовить угощение, накрыть стол хрустящей накрахмаленной скатертью, расставить хрустальные бокалы на высоких тонких ножках, разложить столовые приборы. А потом она надевала своё неизменное «лучшее платье» и начинала напряжённо ждать дорогих гостей, высматривая их из окна.

Её метания были мало похожи на прежние обстоятельные приготовления, но всё же Зилыч был рад, что ещё нужен ей, что она по-прежнему разговаривает с ним, что эта суета привносит смысл и движение в их замершую жизнь.

О событиях, происходящих в доме, Хозяйка подолгу рассказывала кому-то в телефонную трубку, сидя вечерами за кухонным столом и запивая очередную таблетку остывшим чаем.

«Да-да, Аннушка, приезжали! Они у меня молодцы — всего навезли, подарков надарили, поздравили! У них всё в порядке: и работают, и отдыхают. Были в отпуске, почти всю Европу объехали, так интересно!.. Фотографии показывали — красотища!.. За сливу тебе спасибо, я варенья наварила. Ничего, что кисловата, всё-таки с огорода, а не магазинная, — просто сахару побольше положила... Сердце? А что — сердце? Сердце ничего, бьётся... А деньги я тебе с пенсии отдам, не беспокойся... Ну ладно, до завтра! Мне ещё посуду мыть...»

«Да уж... навезли, надарили... — ворчал Зилыч. — Целых два магнита подарили! Кто только эту глупую моду придумал — всякую дрянь на холодильники лепить? Весь фасад мне испортили! Лучше бы мяса привезли или рыбы!»

—... И всем где-то надо жить, — обращалась Хозяйка уже к Зилычу, насухо вытирая полотенцем вымытые тарелки. — Не век же по съёмным углам мыкаться... Скоро младшие приедут, не задалось у них в столице... Вот увидишь, слетятся птенцы, вернутся! Да и веселее вместе-то... Как думаешь, Зилыч? Поживём ещё, всем места хватит!

И лицо у неё оживлялось, розовело, и она становилась похожей на прежнюю себя.

Хозяйка давно уже не называла его красавцем, перейдя на обиходное «Зилыч», но он не обижался. Пусть как угодно называет, лишь бы

не стояла часами у окна, выглядывая «своих», не прятала бы лицо в ладони, лишь бы не вздрагивали острые плечи так горестно, так безнадежно... И от кого из слов набралась: «съёмные углы»... «мыкаться»?.. Наверное, от соседки — той, что в телефоне.

Разъезд случился поздней осенью. Долго не разменивалась «просторная отдельная», не сразу нашлись подходящие варианты для детей: то площадь маловата, то дом в плохом районе. Несколько месяцев только об этом и говорила Хозяйка — и по телефону, и лично с приходившими посмотреть квартиру. Сколько же народу перебывало на их кухне!..

«Вот тебе и — «поживём ещё», вот тебе и — «всем места хватит!»! — сокрушался Зилыч. — А как же я?.. А меня теперь — куда?..»

Дверь в подъезд была всё ещё распахнута настежь и подпёрта кирпичом, хотя мебель уже вынесли. Погрузка застопорилась. Грузчики тщетно пытались затащить необъятного Зилыча в бортовую машину. Они громко переругивались, привлекая внимание любопытных жильцов, прилипших к окнам. Сеялся нудный дождь, и капли стекали по дверцам орехового шкафа, собирались в лужицы на круглой крышке стола, сбегали ручейками в неприкрытый ящик старого комода, расплазались тёмными пятнами по потёртой обивке диванчика. Стопка книг, перевязанная бечёвкой, пара узлов с постелью и одеждой были накрыты клеёнкой и тоже ждали погрузки.

Среди вещей потерянно бродила Хозяйка — одинокая, маленькая, похожая на состарившуюся девочку. Время от времени она запрокидывала голову и смотрела на ставшие чужими окна в третьем этаже. Она беззвучно шевелила губами — то ли прощалась с кем-то, то ли молилась, — и не замечала ни дождя, ни холода, ни крепкой ругани грузчиков.

— Тяжёлый, сволочь! Разве его в коммуналку втиснешь? Не холодильник, а гроб с музыкой... Выкинуть бы его к чёртовой матери! На кой он сдался — ему сто лет в обед!.. Держи, держи! Толкай! Толкай, говорю!.. Эх, так его!..

Зилыч грохнулся на бетонный бордюр, проскрежетал по асфальту, сдирая, как яичную скорлупу, свой белый глянец, и перевернулся. На его гладком боку образовалась глубокая вмятина, и обнажился тёмный металл.

— Всё, мать, кирдык твоему уроду! Теперь его только в утиль! Нечего было и связываться — говорили же тебе!

«Как давно это было! Всё — было. И ничего другого не будет, даже радио. Только эта комнатёнка и шумные соседи за стенкой. С утра до вечера орут... вместо радио. Не дай бог, скоро заявятся... Эх, одна радость остаётся — прошлую жизнь вспоминать!..

А Хозяйка молчит и молчит. За весь день — ни звука. Чего она там, за окном, высматривает? Так пристально, ни разу не сморгнёт... Смотри не смотри — нового не увидишь. Лучше бы потихоньку в магазин сходила — за молоком, за хлебом... Чего сидеть-то?.. Нет, больше не любит она меня, доброго слова от неё не дождёшься. Да и на что я ей, урод кривобокий... Но ведь не сдала в утиль, не сдала! Выходит, всё-таки нужен я?..

С утра не ела, даже чаю не выпила... И вчера не ела... А что это у неё на лбу? Муха? Вот только мух нам не хватало! Сегодня муха, а завтра что? Мышь с верёвкой?»

И тут он понял, что Хозяйка, с которой он прожил всю жизнь — такую счастливую, радостную и печальную — больше никогда не поднимется со своего диванчика, не смахнёт муху со лба. И не прогонит противную серую мышь, которая скребётся уже где-то рядом и вот-вот окажется у него внутри!..

Он с ужасом представил, как обезумевшая от голода мышь мечется в его пустом брюхе, пищит и корчится в предсмертных муках. От этой мысли он задрожал, затрясся и загудел, как никогда прежде. Он трясся и гудел, гудел — надрывно, из последних сил... Но вот, в глубине у него что-то щёлкнуло, он вздрогнул в последний раз, словно судорога прошла по всему его металлическому телу, и затих.

Ерофим Сысоев

Шарлахберг, Германия



ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ

Я с натугой дернул каталку влево, немазаные поворотные колеса взвизгнули, голова больного клюнула в сторону, и телега краем чиркнула по стенке, выбив облачко пыли из процарапанной уже тысячами каталок штукатурки. "Сука!" — прошипел я и, зло дернув ручку каталки вправо, вырлил телегу в последний кусок коридора. Лампа под потолком в дальнем его конце мигала и вздрагивала, как бы силясь взорваться. Колеса каталки

методично защелкали по стыкам метлахской плитки, как мы ее тут называем: метлахская — от слова "метла", почему так — мне непонятно, никогда не задумывался — уборщицы моют ее тряпкой, тут что-то левое, какая-то местная фишка, которой я еще не знаю, полгода здесь всего, неудивительно. И, в общем, плевать...

Из ординаторской слышались приглушенные голоса. Я застопорил телегу возле двери и негромко постучал.

На стук вышел сам Преображенский — профессор, умница, душка, нестарый еще допотопного вида врачиска с бородкой, с бейджиком на английском, в морщинках и с жилками на лиловом носу, свойственными сами знаете кому...

— Что у вас? — спросил он, изображая деловитость на отстраненном лице, как бы продолжавшем находиться еще в ординаторской, среди наших плотных и гладких докториц-дежурных — хохотух и, я бы сказал, выпивох: других тут на ночные дежурства не ставят, хотя стресса у нас и днем предостаточно.

— Сказали к вам... — без выражения проговорил я. — Писатель какой-то. Булгаков, что ли... Там медкарта под матрасом, где и всегда.

— Так он же мёртвый! — возмущенно выкатил глаза из-под пенсне Преображенский. — Вон и зелень уже на щеках проступается... — И он потянулся прикрыть за собой дверь в ординаторскую, из-за которой по-прежнему неслись гомон и даже выкрики.

"Не проступается, а проступает... — злобно подумал я про себя. — Сраное село..."

— Велели к вам... — хмуро возразил я. — Главврач приказали.

— В процедурную катите, — вяло махнул Преображенский своей профессорской ладонью в сторону ближайшей процедурной. Тяжелые дорогие часы скользнули по запястью следом, полуслышно щелкнув звеньями браслета.

И тут негромкое курлыканье из радио на сестричкином посту сменили гудки. "В Москве три часа ночи..." — пропел по-ночному бравурно-бодрый голос дикторши.

"Наконец-то!" — фыркнул я под нос, загнал каталку с Булгаковым в процедурную и, прикрыв за собой двери, отправился сдавать смену.

До дома мне и пешком-то недалеко, минут десять-пятнадцать, а тут подвернусь скорая по вызову, и они подвезли меня чуть ли не к самому дому, так что в четыре утра я, хлопнув по приходе полстакана прозрач-

ной и закусив бочковым огурчиком с рынка, уже досматривал третий сон... — когда на балконе что-тобрякнуло.

"Бездомный спустил сверху петлю и тырит мои запасы..." — лениво подумал я в полусне и принялся неспешно соображать куда засунул с последнего раза травмат.

Звук повторился. Царапали по стеклу.

Я подскочил, как ужаленный, тут же подцепил за темляк травмат с журнального столика и, в пять шагов преодолев простор моей холостяцкой однушки, на цыпочках приблизился к задернутой на ночь портьере.

Скребнуло еще раз.

Перехватив пистолет поудобнее, я принял какую-то боевую стойку... — и рывком отдернул гардину...

В воздухе перед балконной дверью стоймя парил Коровьев — в клетчатом костюмчике-тройке бурого цвета, как его обычно изображают, и в пенсне без стекол. До пола ногам его не доставало буквально с ладонь, но что-то мешало ему приземлиться окончательно, какая-то сила держала его в подвешенном состоянии и мешала действовать. Тросточкой Коровьев царапал в мое стекло.

— Чего надо? — грубо рыкнул я, опуская приветствие. — Пошел вон!.. Кыш!..

Коровьев клянул вперед подбородком, как бы изображая смирение, и плавно приземлился на обе ступни.

Я задернул гардину.

...И тут же в прихожей затренькал звонок — длинно, безостановочно.

— Иду, иду!.. — заорал я в голос и метнулся открывать.

На ночь я, если не забываю, закрываюсь на два замка и на цепочку — мало ли что? Ну и теперь, понятно, пришлось повторить процедуру в обратном порядке. Звонок дребезжал не переставая.

В проеме стоял Коровин — крепко, обеими ногами упираясь в коврик с надписью "Welcome" и подстраховывая себя дополнительно тросточкой.

— Написано "Welcome"... и вот...

— Что надо? — снова грубо спросил я.

— Закурю, облокотившись... — с какой-то нежностью в голосе промурлыкал мой гость и продолжил: — На оконный подоконник... Начиная, русский бред и жизни творческий ликбез...

— И что? — удивился я.

— Азazelло сочинил, — охотно пояснил незванный персонаж.

— Ты на дверной поддверник лучше обопрись, — снова загрубил я.
— И Азazelло своего обопри... — Я развернулся на пятках и двинулся назад в комнату, к дивану, понимая неволью, что Коровьев просто так не отвяжется.

Когда я, натянув домашний найк и вынырнув в тапки, появился в кухне, Коровьев, развалясь и покачивая из стороны в сторону упертой в пол тросточкой, уютно развалился за столом, щурясь от утреннего пологого солнышка.

— Пол мне не ковыряйте тростью, — тут же проворчал я. — Это ламинат... только похоже на плитку.

Вытянутые длинные ноги Коровьева в клетчатых штанах и каких-то диковинных полусапожках с пряжками торчали из-под стола с другой его стороны. От них заметно тянуло кошатиной.

— Соблаговолите полпорции водочки бывшему регенту... — проговорил гость, наклоня голову несколько набок и делая невинное лицо. — В грудях пересохло...

— Куда водочки? — продолжал грубить я, уже открывая холодильник и доставая бутылку "Московской" и банку с огурцами. — Куда вот? пять утра на дворе...

— Это ничаво... — важно возразил регент и покивал головой. — Мы это... — Он подвигал носом и ртом из стороны в сторону. — Мы привышные...

Мы молча, не чокаясь, выпили по рюмочке, а потом еще по одной.

— Хороший, наверное был человек, — наконец шмыгнул носом Коровьев. — И как его так угораздило?..

— Саркома лёгкого, — мрачно уточнил я. — Чего тут такого?

Взгляд у Коровьева после водки заметно увлажнился.

— Мягчит "Московская"-то, — одобрительно кивнул он в сторону бутылки. — И укрепляет ягодицы...

— Патриотично опять же... — согласился я. — Не "Абсолют" небось враждебный...

— Однако оставим ламентации, — снова принял важный вид мой утренний посетитель. — Я к вам по делу, как вы конечно догадываетесь, почтеннейший...

— ...Акакий Акакиевич... — радушно подсказал я в порядке застольной шутки.

— Так вот, почтеннейший Игорь Денисович... — не дал сбить себя с толку регент. — ...Тут к вам в клинику поступил один человечиска...

— У меня смена в шесть! — грубо перебил я.

— А я вас и не тороплю, добронравнейший Ака... то есть Игорь Денисович. Я вас не тороплю. Вот вам флакончик... — Он мигом достал из внутреннего кармана небольшой темный аптечный флакон с крышкой. — Вольете жидкость Михаил Афанасьичу в ушко, в ушко — ну, как Лазерт Калибану, помните у классика? Только тут не отравка, а так... лечебная живая водичка из экологически чистого источника. И будет у вас пациент как новенький...

Я открыл было рот, но Коровьев тут же выставил вперед руку, как бы защищаясь от взгляда Медузы.

— Отказаться нельзя, любезнейший Порфи... пардон, любезнейший Игорь Денисович. Даже и не мыслите, и не грезьте — дело это ответственное, можно сказать энтропическое. Тут, как это говорится, нити Мироздания...

— Уходите, Коровьев, — грубо констатировал я. — А я спать дальше буду.

— Всенепременнейше, высокочтимый...

— Акакий Акакиевич, — снова подсказал я.

— Как вам будет угодно, — строго заметил регент, поднимаясь, и безошибочно направился к выходу, как будто не раз бывал у меня в квартире.

Я снова запер входную дверь и двинулся было к дивану, но тут в балконную дверь опять заскреблись.

Я, слегка расслабленный после утренней водки, лениво отдернул гардину. Коровьев парил, как и прежде, не касаясь ступнями земли.

— А если вам, например, девочку... — затараторил он, гримасничая и делая знаки, — то соблаговолите мигнуть, благодетельнейший Акакий Денисович. — У нас тут одна крутится, из земных... За комбригом каким-то замужем, но в целом очень и очень еще ничего-с. Какая-то Маргарита...

— Замётано, — покивал я через стекло головой и сделал Коровьеву ручкой. Невидимая сила тут же неспешно подняла его выше балконных перил и потащила куда-то в сторону Речного вокзала.

Я задернул гардину, стащил с себя найк и нырнул под одеяло. Часы на стене показывали полшестого утра. Солнце утром у меня с другой стороны, в кухне, так что заснул я скоро и спал без сновидений.

На отделении всё произошло как по писаному. Я справился в журнале учета о давешнем пациенте, спустился на лифте в морг, быстро нашел его на одной из каталок, резко повернул мертвому набок голову,

так что внутри у Булгакова что-то хрустнуло, и разом влил ему в ухо жидкость из принесенного с собой пузырька.

Результат, как это говорится, не замедлил сказаться: Булгаков сперва порозовел, затем задышал с какими-то хрипами и наконец, поморгав, плавно открыл глаза.

— Где я? — проговорил он слабым еще голосом вернувшегося к жизни.

— В пи... — хотел было пошутить я, но мне припомнились коровьевские "ламентации", его "нити Мироздания", и я оборвал себя на полуслове.

В остальном смена прошла как обычно, если не считать прокатившейся по отделению волны ажиотажа, когда к нам ворвался прозектор с сообщением об ожившем пациенте.

— Старее Преображенский-то... — шепнула мне на ходу в коридоре медсестричка Гелла, пухлая смугловатая татарочка с рядом достоинств. — Ну как это... прощелкать живого пациента, отправить его на вскрытие... Наверняка теперь будет буча. Заигрался профессор со своими яичниками. И ко мне уже не раз подкатывал, кстати...

Мы многообещающе переглянулись, подтверждая друг другу взаимную симпатию и готовность в ближайшее время перейти от взглядов к делу, и разошлись каждый по своим делам.

В эту ночь мне удалось поспать три часа, ровно до семи утра. Затем в прихожей позвонили.

Зевая и потягиваясь, я откинул цепочку, открыл оба замка и распахнул дверь.

На пороге стояла девица. Или, скорее, моложавая тётка лет тридцати.

— Что надо? — на свой обычный манер поприветствовал я посетительницу.

— Доброе утро, — без выражения поздоровалась она. — Маргарита... Коровьев прислал. Я не хотела рано будить, сидела тут на лестнице, замерзла. Чай есть?

— Есть конечно, — тоже без выражения проговорил я. — Входите... Но у вас ведь... — я замаялся, — ну, Мастер... Как я слышал.

— А что Мастер? — с каким-то надрывом тут же вскинулась Маргарита. — Это Мишане всё надо переписать! В психушке Мастер, состояние безнадежное. Несмотря на литий и кетамины. Да и вообще он... не

хочу сейчас об интимном. — Она скривила гримаску. — Потом, может быть, расскажу... и давай на ты, договорились?

Я кивнул, набрал в кипятильник воды, водрузил его на поставку и щелкнул тумблером.

— Тебе какого? — повернулся я к гостье.

— Ройбуш есть? — недоверчиво поинтересовалась она.

— Вот зачем вы пьете всякую нерусскую дрянь? — фыркнул я, сам не понимая причин своего раздражения.

— Ооой, патриот, взгляните на него... — тут же подхватила эстафету Марго.

— Короче... — перевел я стрелку. — Сейчас пьем чай и идем досыпать. И чтоб без этого...

— Как скажешь, — легко согласилась супруга комбрига. — Мне это вообще похер...

— Довели страну... — продолжила она, стаскивая с себя верхнее, когда мы после чая перешли к дивану. — ...Потрахать не с кем несчастной женщине. — На лице у нее подрагивала гримаса отвращения.

— Я после смены, — буркнул я примирительно и полез под одеяло.

Всё вышло конечно не так как я планировал. Теплое женское тело имеет свойство будить разного рода желания, и, подремав с полчаса, мы вдруг оба, вздрогнув, проснулись как по сигналу и впились друг в друга с удивительным для этого времени суетом остревением.

— Вот это другое дело... — проговорила Маргарита, когда транзакция естественным образом завершилась. — Теперь еще пожрать чегонибудь — и можно дрыхнуть вообще до обеда. Хотя я бы сейчас погуляла... милый... — И она принялась мягко тормошить меня за плечо.

— Ты что-то игривая с утра... как котик... — процедил я. — Это не к добру.

Мы наделали себе запеченных бутербродов со всякой мелкой ерундой, которая нашлась у меня в холодильнике, выпили немного портвейна из пыльной бутылки, давно скучавшей на подоконнике, затем снова залезли под одеяло... — и действительно провалялись до половины третьего, а потом Маргарита вдруг посуровела, внутренне отстранилась и принялась собираться — то есть собирать по всей комнате разбросанное исподнее.

— "Это не повод для знакомства?" — ядовито процедил я, поглядывая с дивана на ее эволюции.

— Не обижайся... — тут же подхватила фишку Маргарита. — Просто у меня забот... полная жопа. Если я всё это вот так сейчас на тебя вывалю... тебя для начала стошнит. А потом ты меня молча выставишь.

— Ладно. Проехали, — милостиво согласился я и, когда она вполне собралась, с вниманием и лаской проводил мою гостью до двери.

— Слушай... — вдруг обернулась она уже на площадке. — Раз уж ты такой... — Она на мгновение задумалась, подбирая слово. — ...Вживчивый... Вот какой аск, если можно, конечно... У меня послезавтра посещение в психушке, ты бы не мог со мной поехать? А то он никакой в натуре, наш Мастер, и клиника в Бирюлёво, за три звезды. Я от всего этого потом как пришибленная, всё биополе в дырах. Находка для гопоты и чикатиловых...

Я недоуменно поднял брови.

— А о тебя хорошо опереться... — На лице у нее промелькнула почти человеческая улыбка. — Ну что, санитар? Посанитаришь полдня слабую женщину?

— А комдив? — нестати поинтересовался я.

— Он в командировке, — ничуть не смутившись, быстро ответила Маргарита. — У них тактические учения. Ребенок у бабушки. Машины, кстати, у тебя нет?

— Вот машины кстати у меня нет, — в тон ей ответил я и немного по-клоунски поклонился, разведя руками.

— Ну и ничего... — бодро приняла это сообщение Маргарита. — И так небось доедем, не сахарные.

Она легко провела кончиками пальцев мне по руке, как бы фиксируя установившийся контакт, развернулась и двинулась к лестнице. Я стоял в дверях, провожая ее взглядом

— И это... — вдруг вновь обернулась она, остановившись в конце пролета. — Всё было очень вкусно, санитар! Спасибо! — И, хмыкнув, решительно запрыгала вниз по ступеням.

Я бессмысленно сделал в воздухе ручкой, затем запер дверь, нетопливо наковылял — весь будто в вате или тумане — с десяток кругов по квартире, наводя свой привычный порядок — и стал собираться на службу.

Наш визит в психушку продлился недолго. Сперва у Марго сверху донизу перетрясли передачу, потом нас обоих проверили специальной рамкой насчет металла, затем наконец в тяжелой двери на отделение

загудел электрозамок и какая-то неопрятная сестричка преклонного возраста подхватила нас у двери и повлекла за собой к палате, в которой содержали Мастера.

Кумир Маргариты был совершенно загашен лекарствами, это я понял сразу.

— Привет, мой любимый... — произнесла моя спутница довольно неубедительно, как будто подманивая на дачном дворе курицу. — Я тут принесла тебе вкусенького.

На лице пациента появилось подобие глуповатой улыбки. "Карательная психиатрия", — горестно подумал я про себя.

— Карательная психиатрия... — как бы прочла мои мысли Маргарита, уселась на стул у кровати и принялась доставать из пакета содержимое передачи: мандаринки, яблочки, упаковку бастурмы, турецкую пахлаву и еще что-то из мелочей.

— Все персоналу достанется, — прокомментировала свои движения Марго. — В этом я даже не сомневаюсь...

Я принялся было озираться — не столько из интереса, поскольку обозревать в палате было совершенно нечего, сколько из нежелания созерцать печальный диалог Маргариты с любимым.

Мастер недвижимой снежной бабой сидел на кровати, не глядя на посетительницу, и время от времени как-то подрагивал телом, как это бывает у лошадей, желающих стряхнуть с крупа слепня.

Неспешно бежали минуты...

— Ну всё... — наконец поднялась со стула моя новая приятельница. — Можно двигаться... — И она легко потрясла за плечо Мастера: — Скорей выздоравливай, любимый...

— Таталата-маталата, — сосредоточенно произнес в ответ Мастер, глядя прямо перед собой, и пустил слюнявый пузырь.

— С тобою меня не так плющит, — проворковала Маргарита, когда мы наконец снова оказались в фойе этого заведения. — Почти вообще нет... — Она радостно улыбалась. — И знаешь — раз уж мы всё равно выперлись в город, давай заодно заскочим к тебе в клинику... Мне Азazelло надо шепнуть пару слов.

Прошло чуть больше часа, когда мы наконец добрались до моей работы.

— Куда теперь? — поинтересовался я у моей спутницы.

— В бельевую, в цокольный этаж, — не задумываясь пояснила она.

Приятно всё же шагать по знакомым как собственный карман коридорам, когда ты не на смене, не в халате, а во вполне модном цивильном — и под руку у тебя гладкая ляля не из местных. Каждому видно по всей статуре, что вы с ней спите, сестрички опускают глаза от зависти, доктора легко кланяются, одобряя выбор, коллеги гыкают, разевают пошире лапы и примериваются обнять. Это приятно... А неприятно делается, когда из-за поворота коридора вдруг внезапно появляется татарочка Гелла с папкой историй болезни подмышкой, и понимает всё сразу, рывком, и взгляда не опускает, а смотрит тебе прямо в глаза, и во взгляде этом ясно читается: "Предатель... Ведь всё у нас было так хорошо...".

Никакую Геллу мы, по счастью, не встретили, Марго постучала в дверь бельевой каким-то условным стуком, и в проеме появился Азazelло: огненно-рыжий, с разбитой когда-то до самого носа и криво сросшейся губой, из-под которой выглядывал желтоватого оттенка клык каких-то чудовищных размеров. Он был в нелепом бандитском блейзере малинового цвета со сливками и с блестящими клубными пуговицами, в коротковатых узких брючках в полоску, в лаковых туфлях с цветными вставками и с жокейским хлыстиком — из тех, что любила описывать в юности поэт Анна Горенко.

Маргарита передала ему какой-то пакетик, он покивал ей в ответ, шепнул что-то на ухо и продолжил уже в полный голос:

— Присаживайтесь! Вон кофеварка в углу, варите себе там всякое вкусное. И с печеньками. А мы тут пока продолжим.

За простым канцелярским столом посередине комнаты сидел над кипой исписанных листов Булгаков, каким я запомнил его еще по моргу.

— И про Иисуса надо всё вымарать... — неприятно взвизгнув, продолжил Азazelло их диалог и ткнул Булгакова в бок рукоятью хлыстика.

Булгаков скорбно опустил голову. В кофеварке негромко забулькал кипяток.

— Начитался агиток Пролеткульта и гонишь теперь байду, — не отставал Азazelло. — Или у тебя поповское происхождение сказывается?.. Сало давай!

— Какое еще сало? — покривился маститый писатель.

— Голубое — какое... Когнитивный продукт! А ты всё байки гудковские пересказываешь...

— Послушайте... — Лицо у автора было такое, как будто у него болели разом все зубы. — Достаньте же наконец уже сколько-нибудь марафету...

— Привезли вон тебе как раз марафет. Ты что, и этого не понял? — вызверился рыжий Аззелло и снова ткнул автора в бок хлыстиком. — Ты вообще тут, похоже, не с нами... Работай давай! Поэт в России больше чем поэт. Не знал?

— При чем тут вообще я? — досадливо пробурчал себе под нос Михаил Афанасиевич и склонился над бумагами. — Это к Маяковскому. Он в "Паласе" сейчас, в бильярдной...

— Короче... — не унимался Аззелло. — Иисуса своего вымарай... косноязычный он у тебя какой-то. Про Персея давай напиши. Про Андромеду. Тебе ж всё равно о чем писать — лишь бы славы побольше, нет? Позитива давай! Стишков каких-то воткни... "Мычит Пенелопа в постели от долгой разлуки..." — хорошее ведь, согласись. Или с мужеством что-то... про сражения... — Демон на мгновение задумался. — Вот хорошее...

И, встав в позитуру, задекламировал:

...Шмаляют хлопцы словно очумелые,
Ряды их разметали как могли.
Гляжу: ложатся наземь гады белые...
Ну, тут и мы с Анютой залегли...¹

— С какой Анютой? — еле слышно попытался уточнить Булгаков. — С нашей? С маслом которая?

— Ноут открой, деревня... Чапаева набери — и всё тебе будет. Или не учили вас в Литинституте гуглить?

— Я не учился в Литинституте... — совсем поник автор. — Я врач.

— Та-а-ак... — Аззелло скривился и возмущенно покрутил головой. — Врач... В общем... Бездомного оставить в покое, версификатора. Что ты к нему прицепился? Он не хуже других. Пафос, короче, поприбери...

Мы наскоро допили кофе, так же коротко попрощались с Аззелло и выкатились снова в больничный коридор.

¹ Текст (иск.): Дмитрий Кимельфельд.

— Ну всё, миленький. Разбиваем понт. Я побежала... — Маргарита прицелилась чмокнуть меня в щеку. — ...А завтра тебя навещу утречком. Скажем, в одиннадцать. Пойдет тебе так?

— Пойдет... — без выражения ответил я... и вдруг, прижав ее к себе, сам поцеловал в лоб, и в висок, и, наконец, в угол глаза.

— Увидимся... — прокричала она, оборачиваясь, уже из конца коридора.

Я, помявшись в раздумье, поднялся к себе на этаж, взял у дежурной сестрички ключи от спальни кладовочки, и вскоре уже устраивался там на диване вздремнуть — до смены моей оставалось неполных два часа.

И опять в семь утра в балконную дверь зацарапали.

"Это входит у них в систему..." — ворчливо констатировал я, поднимаясь и всовывая ноги в тапки.

За балконной дверью висел в воздухе Коровьев. Я распахнул дверь.

— "Это — типа института, это — новые манеры, — продекламировал он вместо приветствия. — Это — долгие рассказы об Иване-Дураке"... — и мягко приземлился на обе ступни.

— Зачем снова пожаловали? — поинтересовался я.

— Я строго по делу, — тут же принял важный вид бывший регент. — Сегодня ровно в десять на Патриарших. У третьей скамьи от восточного входа. Мессир желают вас видеть... И не вздумайте манкировать.

Я молча вздохнул. Коровьев нахмурил для пушей важности брови, затем его внутренняя машина дала газ, ступни отделились от пола, и регент задним ходом, не переставая хмуриться, поплыл от меня в сторону.

...Я маялся у скамьи уже минут десять. Ем я по утрам мало, что неудивительно при ночной работе и сдвинутом графике сна и бодрствования. В животе слышимо бурчало. Я начинал злиться.

Мессир появился из воздуха внезапно, когда я совсем было уже думал плюнуть на встречу и добраться поскорей до ближайшего ларька со съестным и сладкой шипучей водичкой.

— Сервус... — проговорил он, сканируя меня сверху донизу тяжелым внимательным взглядом.

"Кроссовки проносил до дыр..." — уныло подумал я, оценивая свой аутфит.

— Кроссовки у вас будут новые, юноша, — тут же прочел в моих мыслях Воланд, удивительно похожий на одного нерусского актера. — И не только кроссовки...

— Простите... — начал было я, но Мессир перебил меня, чуть приподняв кверху ладонь останавливающим жестом:

— Хорошая работа, бро... — продолжил он. — Я вами доволен — и писателя оживили отлично, без косяков, о Маргарите вот заботитесь... И вообще... Мастера, кстати, скоро будем выписывать. Он с этой минуты пойдет у нас на поправку. Так что жизнь у вас, наверное, вскоре станет совсем интересной.

— Благодарю за доверие! — наконец вставил я свои пять копеек. — Служу силам Ада!..

— Ну зачем вы так... — видимо расстроился Воланд. — Не надо всуе... — Он почесал указательным пальцем у себя за ухом. — И это... вы, кажется, хотели машинку, не так ли? Маргарита... она ведь кого хочешь доедет...

Я горестно покивал головой.

— Так вот... — снова набрал важности Воланд. — Я не привык, так сказать, оставаться обязанным. Вот ваше водительское удостоверение, вот техталон, вот страховочка... — Он пошарил рукой в кармане. — А вот ключики от "газельки", стоит у вас перед домом, с иголки. Всё как есть подлинное, прошло по базе. Verum veritas, как это называется. — И он легко похлопал меня по плечу. — Ездите себе на здоровье... Маргарите передавайте приветы.

"Почему вдруг "Газель"?" — тревожно подумал я, механически кивая в ответ.

— И прощайте, — продолжил он, не желая на этот раз читать мысли. — Меня еще ждут дела.

— Прощайте... — промямлил в ответ я, глядя как Мессир медленно растворяется в утреннем московском воздухе. Отчетливо пахло серой...

"Блин! — вдруг прошило меня насквозь. — Там же Маргарита в одиннадцать явится..."

И я кабанчиком ринулся к трамваю, звеневшему на повороте с Садовой.

Георгий Кулишкин

Харьков



ВАХОМЧИК

Наутро мы разделились: я поехал в райисполком подавать заявку на регистрацию кооператива, а Толик — к энергетикам. Черновик техзадания, который Тоха привёз оттуда, читался, как приговор, ставящий жирный крест на всём том, что под сказочную успешность первых двух шагов успело вскружить нам головы.

Чётко обозначив марку, мощность и маршрут кабеля, бумага предписывала проложить его под проезжей частью нашей улицы, вдоль пешеходных тротуаров, под дорожным полотном и трамвайными путями центрального проспекта, и вновь тротуарами, чтобы там, во дворах, запитаться от распределительной будки.

До появления Михали, который дал согласие вписать его в список (закон обязывал — трое и ни человеком меньше), но не рискнул пока увольняться, пообещав помогать после работы, — до появления Михали мы просидели в показавшейся вдруг постылой комнате с гнетущей пустотой в душах и опустившимися руками.

— И пишут, — в отчаянии показывал Тоха Милале, — что мы должны согласовать с городом и ГАИ, когда и как будем перекрывать улицы и когда и как восстановим асфальтовое покрытие! Кто нам такое разрешит?! И где бы мы набрались денег на такой тарарам?! Да тут один кабель!.. — хватался он за голову.

Рассудительный Михалёв, исподлобья разглядывая документ, будто заочно возражал тому, кто его составил:

— Вам в частном секторе за глаза хватало мощности... Почему тут не подключиться в доме?..

— Говорил! — махнул рукой Тоха. — Вы открываете производство, — передразнил противным голосом, — и подключать вас надо как производство! Я так и знал, что не дадут! Что-нибудь, а вымудрят!..

— Погоди, — всё так же глядя в бумагу, сказал Михалёв. — Они всем придумывают. И не они одни... У нас в мастерских по электрическим понял-понял Вахом. Поехали, как раз ещё застанем!

Вахомом звался невысокий плотно сбитый мужичок лет пятидесяти с разоблачительной сетью прожилок на скулах и с весёлыми, быстрыми, подкупающе бесхитростными глазами, желтоватыми по белкам. Его

улыбка могла бы, наверное, разоружить перед ним любую армию и любой военный блок: он улыбался во всю ширь, до дёсен открывая два оставшихся во рту зуба — вверху и внизу, которые, как резак ножниц, сходились рядышком, но мимо.

В чистенькой серой робе для специалистов среднего звена, которую носил в качестве костюма, он сразу остановился у железобетонной опоры, торчащей из тротуара под нашим окном.

— Пару бутылок, — сказал, забавно пришепётывая, — и отсюда, со столба, и сквозь стену — триста восемьдесят к вам с доставкой на дом! Не! — уточнил, приценившись к мощи стены. — Бутылки три, не меньше!

— А бумаги? — спросил Толик, балагуривший с ним дорогой и, всегда открытый к встречной открытости, уже сдружившийся с ним на всю предстоящую жизнь.

— Бумаги дороже! За бумаги Шурочке не меньше как духи! И не ниже, чем Францию!

Родина, разрешив явиться на свет божий кооперативам, никак не могла отважиться на то, чтобы позволить этим самым кооперативам легально приобретать сырьё и оборудование. Запреты, вписанные особыми статьями в уголовный кодекс, благополучно продолжали действовать, обрекая нас на ежедневное воровство и скупку краденого.

Так в созидательной кутерьме — на одну десятую праведной и на девять десятых неправедной — минуло около двух лет. Наше дело ширилось и вздымалось, как на дрожжах, и поставило наконец перед необходимостью занять собственное производственное здание.

Кудесник Вахом, подключив приятельниц из земельного отдела, разведал для нас два участка. Один, по отзывам ровный и чистый, мы не поехали и смотреть. Он находился на опушке пригородного леса, и к нему пришлось бы тянуть семь километров кабеля. Второй был в десяти минутах ходьбы от метро. Его ограничивали с четырёх сторон районная электроподстанция, воинская часть, кирпичный завод и гаражный кооператив. А пустовал он по той причине, что от подстанции к объектам пучками были проложены через него подземные линии электропередачи. Пригодным к застройке оставался небольшой прямоугольник, на котором, впрочем, хоть и с трудом, но разместилось бы задуманное нами строение. Оставшееся пространство вполне логично заняли бы двор и подъездные пути. Просматривалось ещё два очевидных затруднения: что грунт по преимуществу был насыпной, и что на

бесхозном пустыре выросла свалка, похожая на слегка осевший террикон.

Сопровождая к месту, Вахом, увидавший, как Толик враскарячку добирается до машины, с участием человека, лично вкусившим от подобных бед, интересовался, что со спиной.

— Новый пресс разгружали, сводили из кузова по наклонной, и одна доска просела, а я подставился, стал, как подпорка, чтобы не нахитнулось. С месяц уже мучаюсь. Верись — пропадаю. Ездили вон с Димкой, — кивнул в мою сторону, — к знаменитому Касьяну в Кобеляки. Он так вот два пальца наложил на позвонок, где болит, и кулачищем ка-ак вмажет!.. Ох, я и орал! Домой по его улице неслись, как на «скорой» с сиреной — так я орал. Потом по большому блату — к профессору. Тот обещает пластинку вставить. В итоге — инвалидность и заново учиться ходить. Но зато не будешь импотентом. Шестнадцатого ждёт меня на операцию.

— Ты в своём уме?! — вскричал тут Вахом не своим голосом

— А что — дожидаться, пока ноги отнимутся? Две позвоночные грыжи!

— Да у меня их шесть! А я кувалдами молочу, как молодой! Ему инвалидность обещают, а он... — у Вахома не хватало слов.

— Ты хочешь сказать, что профессор...

— Да этих коновалов хлебом не корми — дай в живом человеке поковыряться! Когда уже ползать не сможешь — и то подумай, ложиться или не ложиться под нож! А ты — на своих двоих! Ну, косо, ну, криво, но на своих!

— Чёрт его знает... — засомневался Тоха.

— Меня слушай! — горячился Вахом, шепелявя и брызгая слюной, стекающей с верхнего зуба. С заднего сиденья он дотянулся до зеркала на стекле, вгорячах грозя оторвать, развернул его к Толе. — Смотри! На себя смотри! Кровь с молоком! У тебя кровь, Толёк, — из одних живчиков! Они бегают там, где сломалось, и чинят, чинят... Усядутся твои грыжи, примнутся-притрутся. Пока поаккуратней, поберегись пока, а там и думать забудешь о них!

У свалки, местами поросшей не только травой, но уже и кустарником, Толец, известный своей внушаемостью, выбрался из машины куда как бодрей, чем садился в неё.

На этой же свалке месяца через два он, с самой кручи горланя экскаваторщику, где загребать, неожиданно провалился ногой в пустоту. В пояснице хрустнуло так, словно там сломали карандаш. С заледеневшим сердцем ожидая боль, от которой орал благим матом, он прислу-

шался к себе. Боли не было, и это заставило испугаться ещё сильнее. Оттуда, из поясницы, будто что-то выпало. Он не решался шевельнуть ногой, с ужасом думая, что ноги отнялись, и он узнает об этом.

Наконец, чувствуя, как с него сползает ботинок и машинально подкрючивая пальцы, чтобы удержать, он потянул ступившую в пустоту конечность к себе.

Она слушалась, но страх не уходил: в пояснице чего-то не было.

Отрешённо поводя глазами и словно бы угадывая затылком, что там, в спине, он сделал шаг, ещё один, третий.

Ещё не решаясь поверить, сверхпроворным своим мышлением отмечал, что из поясницы выпала и потерялась сидевшая там неотлучно и, как шило, раз за разом напоминавшая о себе боль.

Взятый нами на зарплату, Вахом занялся оформлением участка и помогал в подготовке к строительству. Сражённые наповал тем, что во времена, когда всё и везде останавливается, кто-то по собственному почину затевает стройку, административные силы города делали на нас большие глаза и ничему не мешали.

Изголодавшиеся по заказам геодезисты за символические деньги, полученные из кармана в карман, мигом обследовали грунт, прописав, ввиду нестойкости почвы, забивные сваи.

Архитекторы, сидевшие без дела и через пятое на десятое получавшие жалование, откопали типовой проект, многократно опробованный, бесспорный во всех отношениях и приспособленностью помещений устраивающий нас лучше, чем тот, который мы попробовали придумать сами. Это — обстоятельство за обстоятельством и мелочь за мелочью — прояснялось для нас по мере того, как мы всё глубже вникали в проект и всё яснее представляли, что, как и где устроится на нашей, как мы стали называть, фабрике.

Всё складывалось в такой полноте благоприятствий, с такой быстротой и такой удачливостью, что временами возникало ощущение, будто нас кто-то коварный заманивает в ловушку. И вот, словно наклеив этими опасениями, мы действительно угодили в западню.

В одно злосчастное утро с видом во всём виноватой и сильно избитой собаки явился Вахом. Он принёс толстую, как амбарная книга, смету, выставленную нам специализированным трестом «Фундаментстрой».

Создавалось впечатление, что в неё вписывали всё, что забредало в голову. Там были подробно учтены расходы на ремонт общежития, приобретение шкафчиков для одежды в раздевалку, двадцать кубомет-

ров не известно для чего предназначенной шлифованной доски «вагонка» и даже стоимость аренды автобуса, который якобы будет доставлять работников на объект.

Всё это в купе со взятой с потолка немыслимой суммой, связанной с амортизацией основных средств, покрытием налогов, зарплат, административных расходов и прочего, умножалось на коэффициент прибыльности и давало в итоговой строке сумму в несколько миллионов.

— Это что? — спросили мы у Вахома, который стоял, как провинившийся школьник.

— А это то, что их не объедешь. Закладку фундаментов мы можем заказать только им, они единственные с допуском. И хотят отыграться на нас, на последнем заказчике. Перед смертью, говорят, не надышишься.

Чтобы не рисковать с Тохой, которого не хватило бы и на тридцать секунд разговора, к управляющему поехал я.

Трест, поднявший все нулевые циклы в новых районах, каждый из которых равнялся среднему городу, был ещё полон соков, хотя уже мёртв. Он остался без дела и сразу же стал в тягость сам себе.

Откормленная по вкусу хозяина секретарша, жеманно вильнув абажуром, обтянутым короткой юбкой, пошла доложить. Меня пригласила с цинизмом инспектора манежа, объявляющего провальным номер.

Я не переступил ещё порог кабинета, а управляющий уже кричал:

— Вы мне надоели!

Он покраснел до цвета помидора и едва сдерживал клокочущую в нём ярость.

— Вы меня с кем-то спутали! — бросил я, стараясь улыбнуться как можно дружелюбнее. — Я у вас впервые.

— Не вы — так ваш беззубый!

— Странно. А я наоборот радуюсь, когда ко мне приходят с заказом. Или вы так завалены работой, что некогда головы поднять?

Последнее я сказал напрасно, каюсь. Это угодило в самое больное и не послужило налаживанию контакта. Всё его донельзя озлоблённое существо страстно желало выгнать меня вон, однако, сделав над собой усилие, он спросил:

— Что вы хотите?

— Обсудить смету и плодотворно посотрудничать.

— Смета не обсуждается.

— То есть?

— Без «то есть». Не обсуждается и всё.

— Вам не нужны наши деньги?

— Ваши деньги, — оскалился он, — мы согласимся принять только в том количестве, которое выставили.

— А если у нас нет таких денег? За приемлемую для обеих сторон оплату вы не хотите поработать?

— Нет денег — не хрен строиться!

— Резонно, — заметил я, чтобы что-нибудь ответить и не сказать того, что так просилось на язык. — Спасибо, что уделили мне время! — поблагодарил я с невольной двузначностью в голосе, так как подумал об Эдке, моём армейском друге, который первым из первых переквалифицировался в бандита, стоило, как травке по весне, показать себя миру невиданной дотолы в стране поросли — предпринимателям.

К несказанному моему огорчению, Эдка отрицательно покачал головой.

— Будь на твоём месте кто другой, я бы — не задумываясь. А тебя введу в курс, чтобы ты кому-то кроме меня не угодил в лапы. Вот смотри: наши увидят смету, такой смачный куш, и так запустят когти — не вырвешься. Теперь скажи: ты найдёшь слёту половину от суммы, чтобы отдать нашим?

Зная, как дважды два, что нет, не найду, — откуда?! — я из показушных соображений всего только с сомнением приподнял плечи.

— Это — раз, — указал он на меня, усомнившегося, пальцем. — Теперь дальше. Дальше наши нагнут его делать задаром, поскольку ты на сделке с нами должен поиметь свою половину. Но он задаром сделать не сможет — там реально надо вложиться по полной. В итоге или ты заплатишь ему свою половину, или останешься без фундаментов.

— Знаешь, так хочется поучить этого скота вежливости, что я бы...

— Вот это оставь! Проверено: как только в дело пустил своё ретивое — пиши пропало. Помогать в экономике вопроса я готов, тешить амбиции — не ко мне.

— Хорошо. А ваши готовы поучаствовать за разумные деньги? Он нафантазировал чёрт те чего, а мы берём это за основу, как что-то реальное.

— Я смету показать должен? Должен. А дальше автомат — половина.

— Но подожди, они же нормальные люди...

— Они не люди, — перебил Эдка. — Они — это мусора, прокуроры и партийные шустрики, снюхавшиеся в охотниках и на стрелковом стенде.

У меня так раскрылись глаза, что Эдька ещё раз нацелил в меня палец:

— Прозрел! А ты думал, господа богатенькие моей пукалки пугаются? Я за порог, а они за телефон — вызванивать знакомых или родню, имеющую выход на компетентных граждан. Компетентные им и объясняют...

— Значит, всё, приехали? — спросил Толик с подоконника «говорилки», в которой мы прикрылись.

Что-то во мне никак не желало согласиться с тем, что «всё», и я сказал:

— Давай подумаем!

— А что тут думать?! — по своему обыкновению вспылил он.

— Подумаем, с какого боку его можно ухватить.

— С какого? — злился Тоха.

— Не знаю. Давай рассуждать. Кого он боится?

— Ну, партии. И что?

— Партии... Партии. А что если к секретарю райкома? Он у нас был, цокал тут языком...

— К нему не попадешь. А не проще... — так же быстро, как огорчился, загорелся вдруг Тоха, — не проще через его друга зайти, через Куба?

Куб, он же — Кубрак...

В угоду какой такой надобности позвавший нас из подполья закон предписывал открывать кооперативы непременно под крылышком государственных предприятий? Притом, что, открывшись, мы могли тут же выбросить из головы, под какую крышей явились на свет божий, и жить своей, ничем не зависящей от патрона, жизнью?

Предполагалось отвести глаза народу? Мол, не плодим заново капиталистов, а всего лишь организуем пробные подразделения внутри проверенных народных структур? Дескать, экспериментируем?.. Похоже. Тем паче, что и во внешнем оформлении новых бумаг, терминах и подробно расписанном порядке ведения дел было множество подобной же всячины, призванной наводить тень, создавая видимость колхоза там, где всё отдавалось кулаку.

Просматривалась, впрочем, ещё и задумка на время, пока всесильны инструкции, оберегавшие страну от своеволия отбившихся от стада, снабдить насущно необходимым призванных из бесправия отщепенцев

— щедротами поручителя, питаемого в полном согласии с буквой и духом незыблемого доселе порядка.

Вот мы и подумали, что если уж без поклонов не обойтись, не лучше ли сделать это с пользой, прилепившись к чему-то наподобие, скажем, кожзавода...

Имея в виду встретить до начала смены кого-нибудь из знакомых, выносивших для нас кожу, и выведать у них, как повернее выйти на САМОГО, мы прикатили в половине восьмого. Но «Ласточку» парковали уже за директорской «Волгой», а САМ стоял на широком крыльце проходной, как делал это каждое утро, побуждая трудяг и управленцев являться без опозданий.

Высокий, помеченный плотностью здоровяка, в которой, однако, уже угадывались нелады с сосудами и сахаром, он словно считал людей, приветствуя кого-то кивком, а кого-то — пожатием руки.

В час ещё ранний для визитёров со стороны, мы, чужаки, угодив под взгляд хозяина, решили не отсиживаться в машине и подойти.

— Открыть кооператив! — предельно коротко и с готовностью тут же распрощаться при малейшем намёке на отказ объявил Толяныч.

Жестом, в котором будто не таилось ничего особенного, но который вне всяких сомнений был движением человека, за спиной которого лежали необозримые угоды ЕГО завода, Кубрак, за глаза именуемый Кубом, протянул руку. Тоха с видом уважающего, но равного, подал свою.

— Что умеем? — пожимая мою руку и продолжая приветствовать проходящих, спросил САМ у Толика.

— Обувь.

Скупым мановением кисти Куб выманил из вереницы согбенного конторского в нечищенных туфлях и с лицом зашифрованного выпивохи.

— Знакомься, Палыч!

— А мы... — с осмотрительной приветливостью сказал тот, указывая тощим и влажным пальцем на Толика, — мы цапались, помнится, по качеству товара. ОТК «Обувного»...

— Вот оно как! — по-хорошему оживился Куб и, схитрив ловко сыгранной простоватостью, открылся: — А мне за ваши кооперативы в райкоме всё темечко проклевали! Что ни четверг — на ковёр: создал или не создал? А? Как? Похож я на создателя? Палыч то, было, одних ввёл в соблазн, то других... Но званому, говорят, гостю много надо: это им дай, то за них сделай!.. И трусит народец. Перепишут, говорят, кто высунулся, первый раз, что ли!

Без утайки поделившись своим, через минуту он уже знал, что подпольщики мы со стажем, что нам в общем и целом только вывеску повесить...

— Как на том общежитии?! — вовсю веселился Куб, чему с настороженной угодливостью подхихикивал и Палыч.

Вскоре выяснилось, что и с нашей продукцией он знаком накоротке — позапрошлого лета его жена и дочь отшлёпали в построенных нами пантолетах.

— Так, — с интонацией, ставящей точку, приказал он Палычу. — Отпечатаешь у Тани бумаги, какие им надо, и ко мне! И вот что — напиши им по цене отходов тот цветняк, что мне насовали на выставке итальяшки!

(Закон предписывал отпускать кооператорам исключительно отходы, ни в коем случае не сортовой товар. Таким образом, сделав, с одной стороны, широкий жест, с другой, в бумагах, он оставался неуязвимым).

— Ту красотищу?!

— Ту самую.

— Всё отдать или с половины?

— Всё. Что тебе их — солить?

— Жалковато...

— Меньше рассуждай! А вы, ребята, как обустроитесь, наделайте чего-нибудь, как вы умеете, и дайте знать. Я к вам, глядишь, с журналами... И секретаря райкома... С него тоже по вашей милости с живого не слезят...

С того времени, как посетил нас с журналистами и секретарём райкома, Кубрак успел сильно располнеть. Стареющим обленившимся великаном сидел он в большом жёстком кресле и хитровато улыбался одной половиной лица. Он слушал терпеливо, но не особенно вникая, и что-то уже держал в уме про запас.

— Вы хотите бросить меня под танк? — спросил он, словно резюмируя всё сбивчиво изложенное нами. И выпустил задиристую улыбочку и на вторую половину лица. Улыбочка выдала с головой: нет, нет, ничуть он не обленился, и мышей ловит как бы не проворнее, чем в былые времена.

Амбарную книгу сметы он, закрыв, переместил по столу в нашу сторону и скупно, но очень выразительно шевельнул рукой, показывая, что всё это выеденного яйца не стоит.

— Время теперь горячее, народ просит обуви сейчас. А будет ли просить, когда вы постройтесь, — бабушка надвое гадала. Столько лет потратить, столько денег — зачем? У меня два цеха пустуют такие — жить можно. Что называется, тепло, светло и мухи не кусают. Желаете взглянуть?

Мы с Толиком встретились глазами, и Тоха ответил:

— Нет, мы вам верим.

— Составим божеский договор аренды, кожу будете брать на выбор и со скидкой. Скидкой поделимся. А? — закончил он так, словно наживка нами проглочена, а он вовремя и ловко подсёк.

Мы с Толей ещё раз пересеклись взглядами, и теперь я спросил:

— А можно мы подумаем?

Пустив на лицо безразличие, он повернул кверху ладони, жестом отпуская нас и позволяя думать.

Люди, знавшие его многие годы, утверждали, что с Кубом можно иметь дело. Слово он держит, а это стоит немало. И предлагает сэкономить миллионы и годы на строительстве. А также обрести режим наибольшего благоприятствования в снабжении, — не думать, украв сегодня, о том, повезёт ли завтра.

Но я, ещё ни словом не обмолвившись с другом, точно знал, что он никогда не согласится. И я не соглашусь.

— У нас это уже было, — сквозь зубы проговорил Тоха за проходной. — На «Обувном»... Каждое утро скиряться, встречаясь тут с ним!

— Вроде от самого чистого сердца человек... И прямая нам выгода, откуда ни глянь. А ощущение такое, что он меня обратно на зону позвал, — поделился и я, имея в виду колонию, которую прошёл подростком.

— А что со стройкой? — спросил Толик.

— Я бы уступил — отдал тому гаду, сколько просит.

— А где возьмём?

— Составим с ним график расчётов, дела у нас раскручиваются, Москва вон как в рост пошла. Соберём. А нет — подождёт, если что.

— И заморозит нам фундаменты?

— Не заморозит. Всё у нас сладится, всё сойдётся.

— Кто сказал?

— А нас благословили.

— Кто? Откуда?

— Оттуда, — показал я за потолок в машине и отвернулся, пряча сломленное лицо и думая: «Эге, нервишки...»

Минувшей ночью с ответом на нашу растерянность, незнание, как поступить, во сне приходила покойница мама. С поразительной ясностью сон убеждал, что это последнее дело — спасовать, отречься от задуманного.

Мы оплатим фундаменты без задержки. За время, ушедшее на расчёты, те невысказанные деньги, которые управляющий трестом, пользуясь положением монополиста, вырвал у нас из горла, перестали быть невысказанными, став постепенно терпимыми, а потом и вовсе едва не мелочью. Инфляция, как выяснилось, не всегда бывает злом, иной раз — и благом.

Сама судьба свела нас с Вахомчиком. И не она ли позаботилась о том, чтобы Вахомчик встретил на рынке знакомого строителя?

— Эти хлопцы возвели половину новостроек в городе! — уверял он. — И уже четыре месяца не получают зарплаты! Оформить их у себя и не оплачивать никакому стройуправлению его дурацкие расходы, помноженные на коэффициент прибыльности!

Наученные грабежом «Фундаментстроя», уж мы-то понимали, о какой грандиозной экономии идёт речь! А если ещё не забывать, что тридцать процентов суммы, потраченной на строительство, нам предстоит отдать городу...

И как удачно всё совпало по времени! За день до того, как были оформлены у нас волшебными найденными асы-строителями, я побывал на заводе железобетонных конструкций и заключил там приватное соглашение с начальником отдела сбыта.

Завод по инерции продолжал шевелиться, накапливая колонны, ригеля и плиты перекрытия у себя на складских площадках. Он, завод, специализировался на выпуске именно тех конструкций, которые значились в перечне, прилагаемом к нашему проекту. И оба мы — как я, так и начальник отдела сбыта — ясно отдавали себе отчёт, что кроме нашего кооператива, изделия, застрявшие на склад-площадках, в ближайших годах не понадобятся никому.

Сбытовик был ярчайшим представителем той породы людей, предки которых столетиями добывали хлеб насущный тяжким физическим трудом. И вот, родившись богатырём, каждая кость которого и каждая жила просились к кирке, плугу или кузнечному молоту, он уселся сперва на студенческую скамью, а потом — корпеть над сводками, планами и отчётами. Его, отнюдь не обиженного ростом, понесло вширь и дави-

ло изнутри давлением, которое выплёскивалось на щёки малиновым румянцем.

Мы столковались так скоро, что от краткости общения осталось нечто похожее на неутолённый за обедом аппетит.

Я предложил покупать конструкции за полцены, имея в виду, что половина от этой половины оплатится официально (и только на неё город набросит свои тридцать процентов), а вторая половина половины поступит наличными в руки ему и его руководству.

На всё сказанное он ответил одним коротким «да». Причём таким скорым, что у меня возникли сомнения, не посулил ли я лишку.

При наличии собственной бригады монтажников оставалось только завозить конструкции и собирать здание. Однако загвоздкой выступало то обстоятельство, что прежде на объект необходимо было завести электричество. Убаюканные при выборе участка его непосредственным прилеганием к подстанции, мы не посчитали нужным вникнуть в существующий порядок подключения. А напрасно. Во-первых, процедура, состоящая из бесконечного множества ходов, отнимала не месяцы — годы. А во-вторых... За заявленную мощность мы должны были внести сумму, покрывающую часть стоимости электростанции и ведущих от неё сетей, — сумму пропорциональную этой мощности. Говоря проще, это стоило дороже обошедшихся нам в миллионы фундаментов. Причём и на эти затраты город впоследствии накрутил бы свои тридцать процентов.

Не берусь утверждать категорически, но думаю, что не будь с нами Вахомчика, авантюра, связанная со строительством фабрики, на этом была бы с прискорбием завершена.

Но Вахомчик с нами был! Испытывая невероятные нравственные мучения, он, внутренне считая совершенно недопустимым запрашивать с нас такое, всё же передал, что его давний приятель и однокашник, а ныне отнюдь не последний человек в руководстве энергетиков, берётся подключить нас незамедлительно, разрешив оформлять бумаги своим чередом, но после подключения. А также готов избавить нас от взноса на развитие, от этих убийственных миллионов. Но просит за это... Вахом собрал всю имевшуюся в душе дерзость, чтобы произнести:

— «Жигули»!

Нашу ошеломлённость столь удачным избавлением он истолковал по-своему и поспешил прибавить:

— И по остаточной достанет для нас трансформатор! И кабель отдаст за копейки!

Эх, Вахомчик, Вахомчик!.. Другой на его месте не упустил бы случая выдурить у нас ещё и «Волгу» для себя. И мы и тогда были бы счастливы, что дешёво отделались. А он страдал, чувствуя себя соучастником немислимого лихоимства.

Бригаду, найденную Вахомчиком, возглавлял по-орлиному лысый чеченец. В паспорте он значился Ждохаром, на нашей речевой волне — Жорой. С собой он позвал только самых необходимых — лучшего сварщика, не гнушающегося никаких других работ, стропальщика, который тоже с охотой брался за всё остальное, и крановщика, готового помогать бригаде всегда, когда не нужен кран.

В нём, в Жоре, была та застенчивая кавказская и мусульманская верность слову и верность доброй совести, вкладываемой во всё, что делает, которые всё реже встречаются у нас — не кавказцев, не мусульман и, в общем-то, не православных.

Мы встретились в бытовом вагончике, позаимствованным ребятами с бывших объектов. Они здоровались пересушенными цементной пылью руками. В бытовке было чисто, стол, покрытый пластиком, казался с утра вымытым.

— Я в вашем деле — ни бельмеса, — начал я. — Что буду спрашивать, вы уж подсказывайте. В общем и целом будем считать, что я ваш снабженец. С вас — список конструкций, какая за какой нужны и когда. Цемент, песок, арматура, электроды, — что там ещё? Всё заказывайте. Денёк-другой, естественно, оставляйте мне на раскрутку. Годится такой порядок?

Они недоверчиво помалкивали.

— Если я что-то не то предлагаю — скажите.

— Всё то, — почёсывая лысину, отозвался Жора. — Какие колонны везти и ригеля — сейчас и напишем, это недолго. А как будет получаться — посмотрим...

Я понял. Сатира страны на добрую половину состояла из насмешек над тем, как снабжается строительство. «Кирпич — бар, раствор — ёк!» — издевался Райкин. Понял и не стал распространяться, что все, задействованные в поставках, получают от нас долю в свой личный карман. А это вовсе не то взаимодействие, с каким они сталкивались доныне.

— Тут бы ещё... — подал голос сварщик с румяным тонкокожим лицом и светлыми бесхитростными глазами. — Мы арматуру резали автогенном. И косынки из листа. А оно — времени, газу... И всё горбатое, в облое, тулишь потом, изворачиваешься... Я к чему? У меня кум на тан-

коремонтном при гильотине. Порубит всё чистенько и из заводского, недорого...

Не откладывая в долгий ящик, я со списком нужной длины и диаметра арматурин понёсся к названному куму. Часа через полтора, дождавшись на замусоренном пустыре кума и подельников, притащивших через дыру в заборе вязанки прутьев и стопы косынок, загруженный до чирканья резиной о короба, вернулся на стройку.

Плети подлине, сунутые мимо спинок сидений, Жора, с сожалением цокая, вынимал, стараясь поменьше ранить ребристым кругляком ткань обшивки. Как знал, что закончим объект, и «восьмёрка» эта перейдёт к нему.

И впредь по первому слову ребят летел я, как угорелый, за песком, щебнем, мастикой, электродами, снова за арматурой, опять за песком.

Конструкции с ЖБК сбытовик через прикормленных им водителей отправлял сам. Всё вовремя и в точном соответствии с подаваемым ребятами списком. Туда приходилось лишь завозить расчётные суммы.

Вскоре, наладив связи, я стал заказывать по телефону и всё прочее, оставляя у Жоры деньги для оплаты.

Из проектного института, в который наведывался помогать, как и нам, Вахомчик вышел с одутловатым лицом, цвет которого был таким, словно ему из шприцев закачали в щёки наведённой малярами побелки.

Он вынул из кармана своей спецовки смятый комочком носовой платок. Разворачивал осторожно, чтобы не выронить. И показал жёлтый сточившимся сбоку краем и перламутровый заострённым корнем зуб. Показывая, он смотрел на меня глазами, какие были у моего сына в пять лет.

— Сам рукой вынул... — пояснил с изменившейся шепелявинкой и виновато улыбнулся.

Его верхний, оставшийся последним, от касаний языка обречённо покачивался.

У меня не нашлось слов утешения, но он был благодарен и тому, что выразилось на лице. Потом безнадежно махнул рукой с зажатой в ней тряпицей, спрятал зуб в накладной карман.

— Обидно. Видал — совсем целый... И слабость во мне какая-то уже больше недели... Вот лёг бы и лежал...

— Подбросить тебя домой?

— М-м!.. — промычал он с протестом и страданием. — Под одеяло ложусь — как в гроб. Стараюсь вымотаться, устать, чтобы упал и — провалился. А ты с чем приехал?

— Прораб нужен. Дипломированный. Чтобы ставил подписи на документах.

— Прораб? А чем я тебе не прораб? Я как раз и дипломированный, и со всеми допусками.

— Возьмёшься? Вот здорово! — обрадовался я.

— Возьмусь. А если что, то сейчас бы и смотались, глянули, как там у ребятушек дела.

На объекте его встретили объятаями, и я, чтобы не мешать ему с осмотром и не терять попусту времени, отлучился ненадолго по делам, связанным с реализацией нашего товара. Спустя минут сорок, забирал его, чтобы отвезти домой, и удивлялся, как хорошие новости подпитывают его, словно чудодейственное лекарство.

— Знаешь, что они выложили самым первым? Сказали, что так, чтобы всё у них появлялось по первому слову, не работали ещё ни разу за всю жизнь! Так дело пойдёт — оглянуться не успеем, как вот оно и носелье! А жаловались на что — сказать?

Я насторожился.

— На то, что ты, мудрец, заставил их самих придумывать себе расценки. Определимся, говорят, что, мол, вот так. А потом совесть заедает, — много запросили. И пятимся рачки. Готовы, говорят, уже до госрасценок скатиться. Снабжение, дескать, не подводит, так мы — на объёмах, на объёмах... Ну, ты и придумал! Как тот еврей: «А сколько вам надо?..»

Я стал оправдываться, что вовсе не хитрил, что — ну, сам посуди — откуда нам с Тохой знать, что у строителей почём?

Вахомчик шутиливо отмахивался, делал вид, что не верит:

— Когда не знать выгодно — зачем и узнавать!

— Не бойсь, мы ребят не обидим, — улыбался и я. — Если чересчур поскромничают, мы премией всё исправим.

Мы строили с азартом, с бесшабашным по отношению к рискам и трудностям упоением. А вокруг... Промышленные гиганты в купе с предприятиями средней руки и производствами-малышами... Пока мы воровали, чтобы строить, там управленцы ни с того ни с сего вдруг угодившие в собственники, крушили всё направо и налево, чтобы воровать.

Народ, нежданно-негаданно подвергшийся невиданному в истории ограблению, ненавидел их, но ненавистью весьма своеобразной. К ней примешивалось нечто сходное с преклонением. Нас же, на свой страх и риск из низов наострившихся в капиталисты, тоже недолюбливали. С явной, однако, снисходительностью, какую испытывают обычно по отношению к недоумкам.

Но так или иначе, а здание нашей фабрики было построено. И так быстро, что с момента принятых им на себя обязанностей прораба, мы не успели больше встретиться с Вахомчиком ни разу. И вот за готовыми бумагами по сдаче объекта в эксплуатацию, сделав телефонный звонок, он почему-то попросил заехать к нему домой.

Опираясь на большую подушку, Вахомчик полусидел в кровати. На-крахмаленная ткань недавно отглаженной наволочки была расписана в синий цветочек, переноса синее и на его бледность. Их с тётёй Машей жильё словно улыбалось уютной, ничуть не сковывающей чистотой. Пахло чем-то вкусным.

— Я что разузнал... — докладывал нам с Толянычем, сидящим у его постели, Вахомчик. — Приёмку жилых зданий проводит горисполком. А производственных — профильные министерства. Под жильё вы не попадаете, и министерства — зазевались власти! — над вами нет. Поэтому принимать здание в эксплуатацию будете сами у себя! — и лукаво, так, будто это лично он обвёл вокруг пальца сановные комиссии, захихикал, в такт подрагивая единственным своим, трогательно беспомощным зубом.

Он шевельнул пальцами, прося Толика передать со стола, укрытого с какой-то старинной домовитостью просторной, почти до пола, скатертью, плотный, сломленный вдвое лист. Это был распечатанный в типографии бланк акта приёмки. Для фабрики, которая уже кишела наладчиками оборудования и специалистами, вертевшимися у своих будущих рабочих мест, — для фабрики, способной выдавать на гора по две тысячи пар обуви в сутки, — как аттестат зрелости выпускнику.

— Печать ставьте тут и на всех своих подписях. Для солидности. Тут ты, Толян, распишешься, тут, Димка, ты. Тут — кого назначите из своих главным инженером. За прораба я расписался с указанием всех допусков и лицензий...

Он рад был, как мальчишка, тому, что напыщенные разрешающие, которых с избытком довелось ему повидать на веку, на этот раз останутся с носом.

— Тут — назначите кого-то председателем фабкома... Побольше подписей. Для солидности. И пусть подмахивают с закарлюками. Ага? А

здесь, — он повинно приоткрыл рот и возвёл кверху брови, — здесь придётся в районную пожарку... Я бы и сам, но силы ушли. Ничего, поклонитесь, что поделаешь. И к санитарному врачу. Этих не обминуть...

Хорошо, что мы приехали вдвоём. Что-то безнадёжно скверное подтачивало Вахомчика, а я никак не набирался храбрости спросить. И чем-то ему был ближе Толик. Я подмечал, как тянутся к Толянычу и Михалю, и покойный Миша Полатников. И те же строители — сколько ни придирались, а льнули к нему. Он и несправедлив бывает, и поспешен, но весь на виду, — не такой продуманный, как я.

— А что с тобой? — нахмурился Толик.

Вахомчик ожидал и, как показалось, хотел, чтобы спросил не кто-нибудь, а Тоха. Он вытянул шею и, заранее пугаясь нашего испуга, прошептал:

— Рак крови...

Толяныч вспыхнул до испарины на висках; готовый немедленно сорваться с места, воскликнул:

— Так что же мы сидим?! Надо же лечиться!

Вахомчик обессилено уронил назад голову.

— Прозевал я... И не жалею, что не ходил. Пока не знал — ну, плохо, а перемогся — и ничего вроде, живёшь... Не знать — оно лучше. Когда уже всё из рук и ноги не держат — поехал к врачам. Поздно, не стали и братья.

— Что значит — поздно?! Денег дадим — возьмутся, как миленькие!

— Не! Мучить будут без толку и по больницам... Мне дома, с Машуной... Дома хочу!

Мы сидели, страхась почувствовать в полной мере смертную тяготу, взявшую власть над ним.

Поймав взгляд Толика, словно убегая от чего-то ужасного, Вахомчик вскочил зрачками Толянычу в душу:

— Толичек, мне страшно! Я и к врачам боялся — знал, как будет страшно!..

— Погоди! — с виду почти угрюмо отшатнулся Тоха. — Погоди, у меня соседку с таким диагнозом лекарь один за месяц поставил на ноги! Мы сейчас с Димкой... Погоди!

По счастью Николай, слывающий народным целителем, оказался на месте. Недавно он помогал умирающему Мише Палатникову, нашему другу. Вот и познакомились. Теперь мы так налетели на него вдвоём, что он, оставив очередь страдальцев у незакрытого дома, лишь прихватив с пыльных полок две майонезные баночки с бумажными крышками на резинках, помчался с нами.

Его жиденькая бородёнка насуплено шевелилась, когда выспрашивал Вахомчика, изучал его язык, приподнимал веки. Последний анализ крови тётя Маша подавала ему, как суровому ангелу, спустившемуся к ним в дом прямо с небес.

Что-то в нём было продерзостно, едва ли не запретно талантливое. Заурядный человек, ехавший с нами в машине и рассеянно задающий вопросы о больном, предстал вдруг кем-то посвящённым, кем-то видящим насквозь.

— Я возьмусь за вас, — с атакующим, агрессивным недовольством процедил он сквозь зубы, — при одном условии: вы лечитесь у меня и ни у кого больше!

— Да! Да! — перепугано, синхронно и с удивительно похожим выражением на лицах кивали тётя Маша и Вохом.

— Отсюда столовую ложку перед сном, а это по чайной ложке каждые два часа.

— И ночью? — лепетала тётя Маша, как заворожённая.

— Будить не надо. А будет бодрствовать — да.

— Скажите, доктор, я не разрешаю, а он просит рюмочку коньячку...

— Хорошего пятьдесят граммов — не повредит.

— У меня армянский в бардачке! — выскочил я к машине.

Налили всем, чокнулись за здоровье.

Тётя Маша, которую не отпустили принести что-то на закуску, догнала нас у двери с баночкой опять для доктора.

— Толик, — сказала, кивнув в сторону комнаты, — просил на секунду! — А доктору: — Возьмите, мальчики знают, какие у нас опять!..

Она ожила — с возгоревшимся румянцем помолодело лицо, стало видно, какой она была хорошенькой в юности.

Удерживая мину значительности, Николай благосклонно принял грибочки.

А Тоху, поймав за руку и с душой раздирающей надеждой заглядывая в глаза, Вахомчик спросил:

— Так я не умру?

— Всякую хренотень спрашивает! — огрызнулся Толец. — Конечно, нет!

В машине Николай, став обычным Николаем, опустошённо, словно актёр, отдавший всё на сцене, пробормотал:

— Да, братцы, раньше у человека был Бог. А вот оно — как умирать без Бога...

Помолчав, прибавил:

— Пятна на ногах видели? К утру его не станет.

Когда утром, запустив работу на производстве, мы приехали и, морально держась друг за друга, позвонили к Вахомчику, тётя Маша встретила нас с таким укором во взгляде, словно это мы убили её мужа.

У кровати, где он, уже ушедший, всё так же полусидел у высокой подушки, она с отчаянием сказала:

— Мы же с ним поверили, мы же всю ночь планы строили!

— Тётъ Маш! — взмолился я. — Он же так боялся!.. Мы ради него...

Махнув рукой и унося обиду, она ушла на кухню. Там Тоха сел с ней рядом за столик.

— Мы — помогать, вы говорите — что.

Она отвернулась, пряча взгляд в углу между буфетом и стеной. Потом вдруг, словно с разбегу, ударилась лицом Тохе в плечо и низким, кашляющим голосом зарыдала.

Наплакавшись, сквозь всхлипы говорила:

— Я бы с ума... Вы бы не пришли сейчас — я бы с ума сошла. Сижу и думаю — как же он там будет без меня, мой беззубенький? Я же ему всё на тёрочке... И одно и то же и ничего другого думать не могу. А потом вдруг слышу, что я вою. Как волчица.

Болезнь внешне ничем не изменила его. И смерть не исказила черт. Портил, делая похожим на ряженого, новый строгий костюм и никогда на нём не бывавший галстук.

Сначала гроб стоял на столе с ниспадающей до пола скатертью, но людей собралось так много, что стали просить вынести во двор. Наши ребята строители и мы с Михалей и Толиком, на поворотах тесных маршей поднимая Вахомчика выше перил, вынесли, опустили гроб на кухонные табуретки.

Народу всё прибывало. К Жоре и его хлопцам подходили здороваться строители — трудяги с обветренными лицами и загрубелыми руками, середнячки — загорелые лишь лицами, и босы, подвозимые водителями на «Волгах». Обширный внутренний двор, окружённый многоэтажками, заполнялся машинами. Номера горисполкома, сановной милиции... В отдельной группе человек из сорока, скупно переговариваясь, стояли и архитекторы, помогавшие нам с проектом.

К горнему начальству, подъезжавшему на персоналках, подходили стоями и вереницами люди из кабинетов и отделов и, как на демонстрации перед построением, держались своих.

Двор, озадаченный количеством пришедших и продолжающих прибывать, двинул из домов любопытных, увеличивая сбор.

Люди, знавшие его как человека, который за угощение охотно может просмолить крышу на сарае или вытянуть бочки из погреба, с недоумением озирались, из скромности оставаясь у своих подъездов или робко просачиваясь в центр — взглянуть на покойного и на окружаемое свитами руководство, не удивившее бы в телевизоре, и — с какого перепугу? — прикатившее вдруг проститься с ничем не примечательным беззубым потешным дядькой из их двора, — к гробу на кухонных табуретках.

Под цветы мы вынесли стол из кухни и обеденный стол. И ещё два стола возникли откуда-то.

Вскоре Вахомчик был укрыт и окружён цветами, и будто бы проявились на лице его последние настроения, навеянные планами жить. Лукавая веселинка подогнутого кверху угла рта и безунывая гармошка кожи на лбу говорили, что он здесь и что хотел бы поразвлечь пришедших.

Когда поток намеренных поцеловать его или тронуть руку и оставить цветы превратился в редкий ручеек, поближе к покойному выступил по-спортивному поджарый, седой как лунь и экстравагантно длинноволосый мужчина. Голосом, умеющим овладевать аудиторией, без видимой натуги, он внятно для всего двора воскликнул:

— Мы провожаем в последний путь Вахотина Спиридона Петровича. Истинный масштаб его личности смогут определить лишь поколения, которые придут после нас. Техническое чудо останкинской башни стало осуществимым благодаря одному из его изобретений, связанных с предварительно напряжённым бетоном. И это всего лишь эпизод, лишь малая часть им сделанного. Твои научные открытия, Спиридон Петрович... — он повернулся к иронически прикрывшему глаза Вахомчику. — Ты... Ты кромсал каравай, и крошками с твоего стола поныне кормится не один институт! Прощай, дорогой друг, и прости нас! Прости — мы не умели окружить тебя признанием, которого ты заслуживал!

На голос выступавшего бесчисленное скопище уплотнилось, подалось к центру.

Сменив первого оратора, пожилая женщина, следящая за лицом и фигурой, и подчёркнуто небрежная к своему гардеробу, говорила о его таланте дружить и о поистине библейском бескорыстии.

Толяныч возбуждённо ткнул меня кулаком в поясницу:

— Выйди, скажи! Ты языкатый...

— Скажи! — просил и Михаля, тесня плечом.

— Не могу. Я разревусь.

На небольшом окраинном кладбище, давно закрытом для новых захоронений, лишь принимающем в оградки к родным, Вахомчика мы, теми же руками, что и из дому, понесли в самую серединку тесного старинного квартала. Ломаная тропка между оградками местами пропускала лишь одного и бочком. Там Вахомчик взмывал на руках, а мы с Толиком, подпиравшие углы возглавляя, вслед за ребятами выстраивались гусем.

Словно потоком, квартал, в который высоко на руках вплывал Вахомчик, заполнялся людьми, справа и слева проникающими мимо могил. Проездные аллеи позади, по сторонним и впереди нас встречали никогда ими не виданное нашествие.

Потревоженный свежим раскопом приют тесно и с промежутками отзывался одной фамилией: Вахотин, Вахотина, Вахотина, Вахотин, Вахотин... Даты глубоко уходили во времени, портреты на наивных эмалированных овалах часто напоминали снимки из монографий об известных людях прошлого века. Это был род — уважаемый и крепко державшийся своих. Я подумал, как это основательно и как правильно — и прожить и упокоиться бок о бок. И ещё подумал, не последнего ли мы принесли к ним: никого из родных, кроме тёти Маши, не было на похоронах.

Помянуть из ходивших на кладбище в квартиру наведались очень немногие. Но и они, выпив стопку, молчаливо исчезали, уступая место другим. Закуски хватало; спиртного мы с Толиком подвезли и подвезли ещё раз.

Тётя Маша льнула к нам, словно к самым близким. Со столов убирала соседки и её подруга, а она увела нас в дальнюю небольшую комнату, принесла опят, которые, зная места, всегда во множестве собирал он, готовила она, и вместе они угощали всех.

Эти грибки хотелось есть, не останавливаясь, а выпивать под них можно было всё, что угодно.

Тётя Маша всячески оттягивала время, когда останется одна. А ещё её тянуло вот именно помянуть — с душою поговорить о нём.

— Мы не знали... Расскажите — а? — попросил я.

Она сходила за внушительной красной папкой с растрескавшимся на сгибах коленкором и выпавшей из прорези завязкой, оставившей парню не у дел.

Там было множество фотографий, которые — не в последнюю ли ночь? — они смотрели вместе, оставив сверху самую дорогую.

На ней он, беспечно оскалив все тридцать два, смеялся в объектив. С коком набриолиненных волос и в концертном френче с воротничком-стойкой, узким, как лента. Тесный ряд пуговиц на френче совпадал по цвету и металлу с кнопками саксофона, который висел на петле ремешка, брошенной на шею.

Сакс под колено у труба он придерживал правой рукой, а под левой у него была озорная и трепетная, по пылающие, как и личико, ушки влюблённая будущая тётя Маша. Тогда ещё, кажется, не совсем и сложившаяся в девушку. Её облик бесхитростно открывал всем и каждому то, чему не бывает знаковых признаков, но что так явно светится иногда в лицах девочек. Сделай время рокировку, я, слово в слово, как когда-то мне учителя-сапожники, прокричал бы Вахомчику: «Вот на ком надо жениться!»

— Он дружил. Он дружил со всеми, но ни к кому не мог пойти под начало. «Хочешь, говорил, — потерять друга — пойдёшь к нему в подчинённые!» Всегда числился каким-то заштатным, каким-то прикомандированным... И раздаривал идеи штатным, которые бегали за ним, как девчонки в клубах. Захотел — появился в институте, не захотел — нет. А то потянуло играть в ресторанах. От денег не отказывался, но играл бы и без денег.

Ой, как он играл! Недоросли толпами сбегались послушать. Нас, беспаспортных, милиция не пускала на входе. Это я через кухню, меня там знали...

— А почему потом не играл?

— Не знаю. Вдруг бросил. На него находило. Тогда загорелся открытием. Побежал по друзьям, по знакомым — делиться. Он не выдумывал новое — на него находило. И ничего не пробивал, не проталкивал. Ухватятся — молодцы, нет — ну и ладно.

Под ворохом фотографий, растекшихся по столу, писем в конвертах, каких-то документов у самого дна папки покоились авторские свидетельства. На такой же бумаге, что и облигации военного и послевоенного займа, которые свитками хранились когда-то у нас дома, с таким же индустриальным фоном у шапки, они отличались изображённой

скрепляющей красной лентой с печатью и были до обидного кратки содержанием.

Автор: Вахотин Спиридон Петрович.

И пять-шесть узкоспециальных слов, обозначающих суть открытия.

Хотелось сосчитать, сколько их, но мне показалась мелочной и обидной для него такая бухгалтерия. В руке, взятые вместе, они были объёмистой моей, изданной в Москве, книжицы, которую я дарил ему с чувством старательно маскируемого показной небрежностью авторского достоинства. Почему же он никогда не открылся нам в авторстве своём?..

— Какой человек!.. — потрясённо раскачиваясь, сокрушался Толик. — А мы — Вахомчик, Вахомчик!..

— Брось! — утешила тётя Маша. — Это же его затея. Всё разбрасывал, ничем не погордился. И скажи он — вам бы и неловко было. А для него — сколько? последние года три? — все ваши старания были как свои. Увлёкся. Наехало. Они, мол, первые без начальства над собой! И спасибо, что вы — мелочь, не мелочь — к нему.

Мы снова выпили. С нами теперь пригубила и тётя Маша.

— Миша Палатников, Вахомчик... Один за одним... — сетовал Тоха. — К кому теперь за подсказкой, выручит — кто?

Я ответил:

— Не знаю, но у меня уверенность, что они присмотрят за нами и оттуда.

Тётя Маша, словно поймав, забрала в свои мягкие сухие ладони мой кулак, с надеждой и испуганным недоверием заглянула в глаза:

— Правда так думаешь?

— Пока мама была жива, я больше к отцу, а когда ушла и она... Отпрашивается или в самоволку, но она приходит ко мне. В последний раз — мы с Толей погыркались, должности не поделили — и снится, что я, лопохенький, сижу на кухне, а мама варит уху. Варит и рассказывает, какой у них в Киеве был кот. Я знаю про этого кота всё наизусть, а слушаю — оторваться не могу — и тот я, лопохий, и я этот, который смотрит сон. В конце мама поднимает глаза ко мне, который смотрит, и говорит: «Нас, — говорит, — у тебя уже нет, а он, — и я понимаю, что «он» — это Толик, — а он, — говорит, — будет...»

Толец, будто его кольнули вилкой, — уставился на меня, потом наспленило, как всегда прятал что-то тронувшее, налил и молча поднял стопку.

Изредка махом опрокидывая в себя спиртное, мы сидели с тётей Машей до первых просветлений за окном. Хмель, делая вязким язык,

что-то настезь отворял в душе, которая слышала — совсем вот рядом — слышала маму...

Игорь Бэзрук

г. Иваново

СЛУЧАЙНЫЙ ПРОХОЖИЙ

Домой с работы Галя возвращалась затемно. Хрупкое, неприметное создание. За окном троллейбуса не видно ни зги. И все же, несмотря на то, что женщины их цеха каждый раз возмущались, ей было удобнее выходить на смену к шести утра, чем оставаться после пяти вечера еще на пару часов. В семь заканчивали, почти битый час Галя добиралась домой, по своей улице шла почти одна: редко кто в такое время теперь слонялся здесь — глухой октябрь, жуткий для этой поры холод, а дома приятное, убаюкивающее тепло, сладкий лепет непоседливой восьмилетней дочурки, бабушкина забота...



Галя всматривалась в чернеющие силуэты за окном троллейбуса, иногда заслоняемые желто-дымчатым отражением салона, и думала о том, как тяжело бы ей, наверное, пришлось, если бы в такую трудную минуту рядом с ними не оказалось матери.

И правильно она сделала, что перевезла ее к себе. Теперь вот и задержаться на работе может, и подкалымить, когда есть возможность; а так попробуй-ка проживи одна на скудную зарплату при таких непомерных ценах.

Думала и о том, что правильно поступила, приняв решение развестись и уехать из до чертиков надоедливой, чужого, по сути, маленького городка, в который по воле случая забросила ее судьба и где она обрела, казалось, счастье.

Но так только казалось тогда. Сейчас Галя понимает (и никто не переубедит в обратном), что маленькие, с виду тихие и безмятежные провинциальные местечки подобны клоаке адовой, потому как ни освобождения духа, ни свободы поступков, ни уединения от посторонних глаз никогда не давали и не дадут. Большие деревни, в которых, если на одном конце аукнется, на другом откликнется. Вязкое болото, из которого ни вырваться невозможно, ни вздохнуть вольно.

Так и ее семейную жизнь это болото съело. Галя еще как могла пыталась бороться, но то ли устала за десять лет до невозможности, то ли чужая, нездешняя была и не смогла понять местных обычаев, принять их и прижиться, сдалась и бросила всё, сбежала на радость клеветников и завистников, оставив совершенно спившегося мужа гнить со своими собутыльниками и потаскухами в осточертелом до рвоты, уютном и, надо признаться, никогда не нравившемся ей его доме.

Но вот и остановка. Галя сошла по ступеням на влажный асфальт, и полы ее худенького демисезонного пальто сразу же приподнял ветер. Какой же он был стылый и промозглый, какой безжалостный! Галя съехала и подняла небольшой воротник. Скорей бы домой, в тепло, в уют.

Перейдя на другую сторону, Галя пошла мимо длинной, светящейся большинством глазниц пятиэтажки. Хоть от дома на тротуар падал свет, а то она и не знает даже, как бы добралась к себе: ни на одном из столбов вдоль дороги фонари не горели. Разве так можно? Куда только власти смотрят? И так вокруг глухая темень, а ступи на шаг в сторону — вообще черная дыра.

Жестокий сырой ветер вырывал из рук сумочку, норовил поднырнуть под пальто. Галя запахивалась сильнее и старалась идти как можно быстрее. К тому же, если признаться честно, было немного страшно, хотя она и не была из робких. Но, прежде всего, она была женщиной. И как всякая женщина, относилась с опаской к темноте.

Галя шла, пригнувшись, почти не поднимая головы. Ветер был встречным и сильным. Но успокаивало то, что идти оставалось минут десять-пятнадцать, а там хоть снег мети — она уже будет дома.

Галя снова подумала о своей теплой уютной квартире, о маленькой дочурке, листающей сейчас, наверное, крохотные книжки с яркими красочными картинками, которые она купила на днях; подумала о том, что бабушка, скорей всего, давно приготовила ужин и ждет не дождется, когда она вернется с работы, чтобы вместе, в кругу их небольшой, но сплоченной семьи поужинать и потом как всегда вместе усестся у телевизора и посмотреть какой-нибудь глупый, но увлекательный сериал, в котором нет работы по десять часов и в выходные, нет проблем, как одеться и обуться, и уж тем более, что поесть. А её это тревожит чуть ли не каждый день: как выжить, как протянуть от зарплаты до зарплаты.

Задумавшись, Галя едва не столкнулась с мужчиной, в такую малоприятную погоду бредущем, на удивление, неторопливо в противоположном направлении.

Незнакомец прошел мимо нее, как показалось, словно лунатик, не поворачивая головы, не замечая никого и ничего вокруг. Казалось, он мог бы так спокойно пройти и сквозь кусты, и сквозь деревья, и даже сквозь любое строение, попавшееся на пути.

В другой бы раз Галя рассмеялась, увидев такую странность у встречного, но теперь было не до смеха: неожиданная встреча заставила екнуть сердце.

Во-первых, внезапным оказалось его появление, хотя изредка Галя, вопреки ветру, все же поднимала голову и всматривалась в силуэты домов.

Во-вторых, — и это самое страшное — подобной встречи она ждала и предчувствовала, так как совсем недавно увидела её во сне. И там Галя так же поздно вечером возвращалась с работы; так же, как там, сошла с троллейбуса, и так же, как в том кошмарном сне, была мокрядь и тусклый свет отраженных окон, и тот же мрачный сгусток движущейся навстречу тени. Только потом та тень, едва она её миновала, неожиданно остановилась, стала расти и двигаться назад, вслед за ней.

Во сне Галя испуганно побежала от неё, неудержимо надвигающейся; с трудом передвигая ноги, так, словно упавшее и выпавшее сердце, барахтаясь где-то сзади на длинных неразрывных артериях, налилось не кровью, а тяжелой ртутью. Но не пробежала она и десяти метров, как тень быстро разрослась и одним рывком проглотила её. Галя только и успела, что крикнуть...

Неожиданное появление случайного прохожего как наяву вызвало сон. Все кошмары той ночи сразу окружили её. Галя, то и дело инстинктивно оборачиваясь, заторопилась. Предательская слабость в ногах взбесила: не хватало только осесть где-нибудь или споткнуться. Сердечко забило сильнее, когда она заметила, как мрачное пятно позади на мгновение остановилось и, как в кошмарном сне, двинулось обратно. Уж этого-то Галя не могла предвидеть!

«Хоть бы кто-то оказался рядом, — завертелось в голове, — вышел из подъезда, подъехал на автомобиле, выглянул в окно, в конце концов! Кто-нибудь!» — зажужжали в мозгу пчелы страха. Но улица по-прежнему оставалась пустынной, подъезды глухими, окна глядящими внутрь. И по-прежнему безостановочно двигалось за ней зловещее пятно случайного прохожего и ужаса.

Был бы у нее пистолет, подумала Галя, не колеблясь, выпустила бы в своего преследователя всю обойму. Но пистолета не было, а была только злость и досада, что вот идет она ночью, одна, и случись что,

ничего ведь сделать не сможет: ни защититься, ни защитить кого. Как тут можно в такое время с детьми ходить?

И снова Галя порадовалась тому, что у нее есть мать, на которую можно оставить маленькую дочь.

На мгновение Гале показалось, будто преследователь ускорил шаг. Пошла быстрее и она. До родного дома рукой подать, но ноги едва несут.

«Ах вы подлые, неповоротливые ноги, на вас никогда нельзя положиться!» — сердилась Галя, ощущая, что сапоги будто налились свиной тяжестью.

Но вот, слава Богу, и её подъезд. Как ошпаренная заскочила в него Галя. Не понимая даже как, со скоростью света набрала шифр кодового замка. Каким облегчением стал привычный щелчок задвижки! И хотя в подъезде было ничуть не светлее, чем на улице, Галя почувствовала себя самым счастливым человеком на свете: она дома, она ДОМА! Вон её квартира на первом этаже — вторая справа, — Галя вслепую найдет эту дверь, а там уже никакой психопат, никакой маньяк её не достанет. Пусть только попробует!

Успокоенная такой мыслью, Галя вздохнула облегченно, оторвалась от металлической двери, переступила невысокий порог тамбура и... зашла в истошном крике: прямо под ногами в огромной чернеющей луже крови с задранной до живота юбкой и оголенными ногами лежала молодая истерзанная девушка.

НАЛЕТ

Как и было задумано, Миронов без труда ногой вышиб слабую входную дверь жилища «айзеров». Одного, мелкого, кучерявого, буквально сорвали с «горшка». Другой, худой, длинный, уплетал на кухне белый батон с ветчиной. Тот, который был на «горшке», только вытаращил от недоумения глаза и был тут же моментально сбит на пол. Несколько тычков ногами по ошарашенной физиономии, и малой завыл в углу ванной щенком, сотрясаясь мелкой дрожью и пуская слюни. Длинный еще пытался сопротивляться, но обрушившийся неожиданно сзади табурет заставил и его ничком распластаться на полу.

Все произошло быстро и неожиданно. Так работают только ребята из ОМОНа. Но эти ворвавшиеся были одеты не в традиционный для таких случаев камуфляж и черные маски, а в обыкновенные неброские спортивные костюмы, кожаные куртки и вязаные черные шапочки.

Малой успел запомнить только одного: долговязого, с большими оттопыренными ушами и ядовитым, холодным взглядом. Он-то и колшматил его ногами в ванной комнате и он же, что называется, «отрубил», двинув его головой о чугунную трубу слива.

Когда «айзеры» спустя время пришли в себя, то увидели, что по однокомнатной квартире, в которой они остановились, словно пронесся чудовищный смерч: все было перевернуто, шкафы выпотрошены, спальные матрасы, на которых они спали, вспороты. Наркотики и деньги также были унесены «смерчем». Им оставалось только догадываться, кто оказался виновником всего произошедшего и сетовать на свою несчастную судьбу.

Напротив, налетчики чувствовали, что сегодня фортуна им благоволит. Быстро втиснувшись в «девятку», не глушившую мотора ни на минуту, они резво тронулись с места в абсолютной уверенности, что ничего их не потревожит. И действительно, все произошло на удивление быстро и гладко. Миронов, упавший на переднее сиденье, неугомонно повторял раз за разом:

— Ну, что я говорил? Ноу проблем! А вы сомневались. Все схвачено! Ребята свое дело знают.

Долговязый с оттопыренными ушами перебирал в прихваченной из квартиры спортивной сумке пакеты с белым порошком и пачки с деньгами, перетянутые тонкими разноцветными резинками. Здесь были и рубли, и «зелень». Он жадно смотрел на это богатство и то и дело ныл, обращаясь к Миронову:

— Мирон, давай заныкаем пару пачек, все равно ж никто считать не будет.

Миронов неодобрительно качал головой:

— Я обещал привезти все, что найдем. За базар мне отвечать. Мы и так неплохо получим.

Скептически отнесся ко всему Еременко, словно отстраненно сидевший возле долговязого, хотя также принимал участие в налете.

— А я все равно не доверяю этим «мусорам». «Мусор» — он и в Африке «мусор».

— Отстань, Ерема! — не придавая значения его словам, бросил Миронов. — Этих мужиков я знаю два года. Они меня и на лохотроне не раз прикрывали, ребята проверенные. К тому же сами рискуют.

— Рискуют, — с сарказмом произнес до того молчавший водитель. — Нашими бóшками. А если б там целое кагарло «айзеров» оказалось? Или со стволами? Нас бы, как кур неоципанных, ухайдакали...

— Что вы все нюни распустили, брательники? — не скрывая воодушевления, пристыдил их Миронов. — Я же говорил вам — у них все схвачено. Они ж нас не на ура посылали, знали, что кроме двух хилых дистрификов там никого больше не окажется. К тому ж без прикрытия.

— Гастролеры?

— Залетчики. Оперá их случайно вычислили и решили на этом сыграть. Эти на свой страх и риск притаранили товар в Москву. Но разве здесь провернешь что самостоятельно? У них ведь, как я понял, ни ментовской, ни бандитской «крыши». Вот оперá с Петровки и сообразили сами их «бомбануть».

— Сами с усами нашими руками, — осклабился долговязый.

— Вот-вот, — акцентировал на этом внимание водитель.

— Как ты их нашел? — спросил Еременко.

— Сами на меня вышли, — ответил Миронов. — Я, собственно, связи с ними и не терял. Было раньше несколько совместных дел, так и отталось. А в Москве, сами понимаете, без связей не станешь князем.

Миронов поспешил успокоить всех:

— Не переживайте, все будет о-кей.

«Жигули» с оперáми ждали их за три квартала.

— Как прошло? — спросил Миронова знакомый мордатый, выбравшись из салона.

— Как по маслу, — ответил Миронов. — Вот товар, — поставил он спортивную сумку на капот.

Мордатый расстегнул молнию сумки, сунул одну руку в ворох пакетов с наркотиками и пачек с деньгами.

— Отлично, — сказал, затем выудил наугад из сумки несколько пачек с «зеленью» и плюхнул их на ладонь Миронова.

— Как договорились. Запоминай новый адрес. — Он назвал улицу, номер дома и квартиры.

Миронов прикинул, в каком районе Москвы тот находился.

— Присмотритесь сначала сами: когда возвращаются, с кем живут. Эти пока тоже свободные, хату снимают, никуда не высовываются, живут мышками. Мы их еще раз пробьем по своим каналам, чтобы уж наварняка, без эксцессов. Потом созвонимся. Давай!

Мордатый открыл дверцу своей машины и втиснулся в салон.

— Давай, — кивнул ему на прощание и Миронов. «Жигули» тронулись с места.

— Живем, братва! — забросил он на заднее сиденье «девятки» обе пухлые пачки с долларами. — А вы дрожали. Фабрика заработала!

Долговязый с восторгом перелистывал купюры.

— Дня через три навестим еще одних клиентов, — сказал опять Миронов.

— А я б сильно губу не раскатывал, — без особого энтузиазма в голосе произнес Еременко. — Как бы не подставили нас твои «братаны».

— Поживем, увидим, — ухмыльнулся Миронов. — Мы тоже не лыком шитые, хоть и не местные. И кой-чего шурупим. Поехали, Вован, — хлопнул он запанибратски по плечу водителя, — купим водочки.

— Ну, ну, — скептически хмыкнул Еременко.

РУССКАЯ РУЛЕТКА

Есть что-то упоительное в раскаленной донельзя, сочащейся паром на горизонте и убегающей в бесконечность извилистой ленте дороги среди наполненной багряным отблеском восходящего солнца каменистой пустыни.

Вы едете на предельно возможной скорости; как единый организм ощущаете собственную машину, любуетесь проносящимися мимо сочными видами и ни о чем не думаете.

Ветер приятно треплет волосы, ласкает грудь, наполняет легкие утренней свежестью. На сотни миль вокруг ни единой души, ни малейшего звука, режущего слух, ни забот, ни проблем, ни печалей. Разве не прелесть?

В последнее время я только об этом и мечтал: остаться один на один с собственным внутренним миром, дать душе, наконец, свободно вздохнуть, отрешиться от всего и вся, потому что дальше могла быть только тьма, ночь тихого ужаса и беспросветности. Но мне, слава Богу, хватило мужества и мудрости вырваться из круговорота собственных проблем, и теперь я, истощенный и опустошенный донельзя, мчался на своем старом, но верном кабриолете в никуда, и это «никуда» пугало меня меньше, чем дикий, бездушный, похожий на марсианский, кроваво-красный ландшафт вокруг.

Вскоре пустыня сменилась бесконечной разнеженной степью, и я почувствовал, что ужасно проголодался. Ну что я проглотил утром: вчерашний сэндвич и прогорклый кофе, — разве этим насытишься? К счастью, вскоре на горизонте показалось небольшое кафе, одно из тех многочисленных придорожных кафе, разбросанных на протяжении сотен миль вдоль трассы, в которых обычно останавливаются либо привыкшие к скудной пище непривередливые дальнбойщики, либо бродяги типа меня, не имеющие в запасе ни завтрака, ни денег.

Когда я притормозил у кафе, меня встретила глухая тишина, взвившаяся на мгновение пыль и прокатившийся мимо седой шар перекати-поля. Ни скрипа, ни лая, ни следов протекторов, — как будто ничего сюда в жизни не заходило, не заезжало, не забредало. Но на дверях кафе я увидел небольшую табличку с надписью «открыто» и сделал вывод, что кто-то все-таки здесь живет, дышит, существует.

Я отворил небольшую стеклянную дверь и вошел внутрь. На удивление всё вокруг чисто и опрятно. Это радовало. Я окликнул кого-нибудь, и кто-нибудь вскоре не замедлил объявиться.

— Здравствуйте, — сказал я, не ожидая увидеть в этом удаленном от цивилизации месте такую красотку.

— Здравствуйте, — ответила она таким чарующим, бархатистым голосом, что я онемел. Ее красота не была броской, она таилась в глубине изумрудных глаз, в легком изгибе тонких бровей и очаровательных небольших ямочках на щеках. Её правильных, резко очерченных черт лица не портил даже носик с небольшой горбинкой, но меня всегда привлекали женщины «с изюминкой», и этот «греческий» носик я в жизни не назвал бы уродливым.

— Вы что-то хотели? — спросила она, и я кивнул в ответ.

— Присаживайтесь, пожалуйста, за любой столик, — сказала она. — К сожалению, они зачастую, как вы видите, свободны.

Казалось, она извинялась.

— А вы? — спросил я, чувствуя, как во мне разгорается желание к флирту. Мне вдруг до одури захотелось вскружить красотке голову. Она мило улыбнулась, и я оказался сражен: Боже, сколько невинности!

Она принесла меню: профессионально набранный на компьютере мелованный лист с цветными вензелями и затейливыми завитушками в левом верхнем углу.

— Увлекаетесь компьютером? — полюбовался я.

— Стараюсь не забыть, что осталось. Что будете заказывать?

Я посмотрел меню, потом поднял глаза.

— Вас как зовут? — спросил.

Она ответила негромко:

— Сара.

— Можно что-нибудь легкое, Сара. На ваше усмотрение.

— Могу предложить традиционный бекон с яйцом.

— Отлично, — сказал я. — И крепкий кофе.

Она пошла на кухню. Я дал высшую оценку её прелестным формам. Жизнь показалась прекрасной.

— Как вы справляетесь здесь со всем одна? — спросил я, остановившись на пороге кухни.

— Я не одна, обычно с мистером Вибером, но он вчера заболел, и мне пришлось сегодня взять всё на себя.

Она стояла у плиты, и я не мог не залюбоваться.

— У вас так много посетителей?

— Не так уж много, как кажется. Наша трасса потихоньку глохнет, потому что в пару милях отсюда открыли другую, более удобную, на север.

— И вы остались не у дел?

— Как вам сказать? Все равно кто-никто, а проезжает мимо. Вот вы, например.

— Ну, я другое дело. Я еду в никуда.

— В никуда?

— Когда решил предпринять эту поездку, я сказал себе: «Бэн, мир везде одинаков, езжай, куда глаза глядят, судьба все равно настигнет тебя, где бы ты ни оказался». И вот я здесь, и думаю, по воле судьбы.

Сара слегка улыбнулась:

— Вы так полагаетесь на судьбу?

— Я фаталист, и этим, мне кажется, всё сказано.

Сара на мгновение задумалась.

— Хотела бы и я вот так свободно и непринужденно уехать куда-нибудь.

— Вас что-то держит? — поинтересовался я.

Сара слегка пожала плечами:

— Вроде ничего.

— Так в чем дело? — заулыбался я. Перспектива катить в обществе прелестной особы показалась мне сногшибательной. От моего нелепого предложения она моментально загорелась, как будто только и ждала. Может, ей просто никто не предлагал это раньше? Сомнительно.

— Тогда два бекона и два яйца! — решительно плюхнула она на сковороду еще один кусок свинины.

Нет, мне определенным образом нравилась эта девица. Какой темперамент, какая решимость!

Мы быстро проглотили немудреный завтрак.

— Гори оно всё пропадом! — необычайно легко воскликнула Сара, когда мы уже стояли у двери. Однако когда я переступил порог, она остановила меня и сказала:

— Нет, так нельзя. Не хочу, чтобы меня считали воровкой.

Она подошла к кассе, вынула из кармана своей кожаной куртки мелочь и положила её в выдвинутую ячейку.

— Погоди, Сара, постой, — я подошел к ней. — Ты позволишь, сегодня я угощу тебя? — Я бросил в кассу пару долларов. Она с легким смешком задвинула ящик с деньгами обратно в кассу.

— Я свободна! Свободна! — кричала она в кабриолете, размахивая в восторге поднятыми вверх руками.

Мне оставалось только удивляться и догадываться о скрытом пока еще прошлом Сары, заставляющем её так радоваться собственному освобождению. Но оно меня, признаться честно, сейчас и не интересовало, я всегда всё пускал на самотек. Когда-то и у меня были сложности, и это так обременительно. А чужие проблемы...

Вдруг я услышал позади знакомый резкий звук полицейской сирены. Нас настигала полицейская машина.

«Неужели мы нарушили правила?» — подумал я, но Сара испуганно схватилась за меня.

— Не останавливайся, Бэн, умоляю, не останавливайся, он не даст нам покоя!

Я возмущен: что значит «не останавливайся», я что — убийца какой или грабитель? В конце концов, мы живем в свободной стране, и я волен поступать, как вздумаю.

— Ты его знаешь? — спросил.

Она кивнула, утопившись с головой в сиденье и сжавшись в комок.

— Он что, проходу тебе не дает?

Она промолчала. Мне показалось, она уже смирилась со всем, что может дальше произойти, но я всё кипел: да хоть он и сраный полицейский, это не дает ему права распоряжаться чужими судьбами!

Я притормозил и съехал на обочину. Сара насупилась. Я стал ждать развития дальнейших событий.

Белый с синими полосами на боках «шевроле» подкатил к нам через несколько секунд и остановился чуть позади. На дорогу выбрался атлетически сложенный увалень в полицейской форме и с наглым взглядом.

«Этого так просто не возьмешь», — подумал я, окидывая его в зеркале заднего вида. Если б кто знал, как я не переваривал подобной крайней надменности представителей закона, переходящей и в жизнь. Не был бы он полицейским, я бы с ним поговорил по-другому, но, к сожалению, яркая бляха на груди защищала не только его самого, но и

все его недостатки. Мне оставалось только дать развиваться событиям как Бог на душу положит.

Он подошел неторопливой, вальяжной походкой. Остановился возле переднего стекла, скользнул равнодушно по Саре; так, будто и не знает, потом перевел взгляд на меня.

— Далеко направляетесь? — спросил, отошел, вытащил из заднего кармана блокнот и списал номер моей машины. Возвратившись, снова спросил:

— Так я не слышу? Вы поняли вопрос?

Я молчал, собираясь с мыслями. Что мне нужно было сказать, что я еду, куда глаза глядят? Это стало бы поводом для дальнейших придировок. А потом, кому какое дело, куда кто едет? Но я ничего не успел сказать, сказала Сара. В словах её было столько горечи и злобы, что мне стало не по себе.

— Чего ты кобенишься, Дэни? Он же ничего не нарушал. Тебе нужна я, так и скажи!

— Заткнись, сучка, с тобой я потом разберусь, сейчас я выясняю, с кем имею дело.

— Послушайте, шериф или как вас там ещё. Сара права, если у вас есть что-нибудь ко мне, так и скажите. Если нет, то извините, нас ждут дела.

Я сам не ожидал от себя такого мужества, но копа, видно, заело упоминание имени Сары. Он взбеленился:

— Я спрашиваю вас еще раз: куда вы направляетесь?

— Дэни, может, хватит, — не сдержалась, в конце концов, Сара. — Не разыгрывай комедию, я выхожу. — Она решительно поднялась с места и выбралась из машины.

Я ничего не предпринял, чтобы остановить её. Может, я поступал и неправильно, но мне отчего-то стало вдруг все равно. Да пусть она катится ко всем чертям вместе со своим ублюдком-полицейским! Я не затем оставил одни проблемы, чтобы наживать другие. Однако коп, видно, думал иначе. Он совсем не желал отставать от меня. Снова спросил, куда я направляюсь, что с собой везу, и потребовал предъявить водительское удостоверение.

Сара подошла к нему и дернула за руку:

— Поехали, Дэни, оставь его в покое.

Но тот грубо отбил её руку и, злобно зыркнув на нее, бросил:

— Сядь в машину, сучка, я тебя не спрашиваю.

— Вы так невежливы с дамой, — кинул я небрежно. Черт меня дернул это произнести! Коп тут же фамильярно осадил меня:

— Не твое дело!

Но Сара не послушала копа, умоляюще произнесла:

— Дэни, оставь его, пожалуйста, не заводись.

Однако Дэни заводить не надо было. Он давно был на взводе.

— Заткнись, шлюха! — крикнул и хлестко ударил её наотмашь. Сара, не ожидая подобной реакции, резко отшатнулась, подалась назад, споткнулась и упала. Дэни тут же подскочил к ней, схватил за руку, с недюжинной силой поднял с земли и грубо толкнул в направлении своей машины.

— Сядь, я сказал!

— Эй, эй, эй, шериф! — крикнул я, не вынося подобного обращения со слабым полом. — Может, девушку-то в покое оставите?

Но слова мои были, что горох о стенку.

— А ты не вмешивайся, слышишь, не вмешивайся! Я с ней сам разберусь!

Он снова схватил Сару за предплечье и силой потянул к машине. Втиснув её на переднее сиденье, резко захлопнул переднюю дверцу. Потом, вытащив из кобуры пистолет, вернулся ко мне.

— Выйдите из машины, сэр, — приказал холодно.

Я недоуменно уставился на него.

— Я сказал, выйдите из машины!

— Не понимаю, шериф, — я попытался прикинуться дураком, но коп реагировал на всё более резко. Он снял пистолет с предохранителя и поднес его к самому моему лицу:

— Выполнять, я сказал!

— О-кей, о-кей! — не стал я выводить придурка из себя и замахал руками, соглашаясь на все условия: — Выхожу.

Вылез из машины. Дэни, не сводя с меня пистолета, приказал развернуться и положить руки на капот. Я выполнил и это. Он обыскал меня, потом ткнул пистолетом под ребра:

— Пошли, — указав на свой «шевроле».

— Не понимаю, — сказал я.

— Я сказал «пошли»! — грубо бросил он и снова ткнул меня.

Он ловко втиснул меня на заднее сиденье, потом сам забрался за руль. Мы развернулись и поехали обратно.

Я думал, что он везет меня в полицейский участок для установления личности, однако о чем бы я не спросил, он ничего не отвечал, давил на газ молча.

Сара еще раз попыталась уговорить его отпустить меня, но коп рявкнул на неё раздраженно, и она замолчала. Что оставалось мне? Тоже замолчать и ждать последующих событий.

А дальнейшие события стали разворачиваться с невероятной скоростью.

Мы вернулись в кафе.

— Дэни, — умоляюще пролепетала Сара.

— Я сказал, заткнись! — в который раз повторил он и вытащил её с переднего сиденья. Они ненадолго скрылись в кафе. Буквально через несколько минут полицейский вернулся за мной.

— Выходи! — наставил он на меня свою пушку и открыл мою дверцу. — И не вздумай чудить, прибью, как муху!

Я посмеялся про себя: это я-то собираюсь чудить!

Он усадил меня за один из столиков. Сам сел напротив.

— Знаешь что, — сказал он чуть погодя. — Мне плевать, чем ты тут занимался с этой шлюшкой. Мало того, хочешь, я подарю её тебе, хочешь?

— Не понимаю.

— Чего тут понимать? — ухмыльнулся он и откинулся на спинку стула, не сводя с меня дула пистолета. — Я предлагаю тебе жизнь и Сару. Представляешь: ты получаешь не только жизнь, но и Сару — лакомый кусочек.

Я всё еще не понимал, что ему нужно. Мы абсолютно незнакомы, нас ничего не связывает. Если он надеется, что я буду откупаться, то глубоко заблуждается: у меня в кармане ни шиша.

Я решил спросить без обиняков:

— Что тебе нужно?

— Тебе жизнь и Сара. Мне...

Он не договорил, вытащил откуда-то револьвер и положил перед собой на стол.

— Здесь один патрон. В нем заключена твоя жизнь и жизнь Сары. Выбирай. Или я прикончу тебя за попытку оказать сопротивление стражу порядка, или мы с тобой испытаем Судьбу. Не правда ли, выбор стоит того?

Он уставился прямо на меня. В его глазах я увидел безумную решимость сделать это. Но ладно я. Я рисковал в надежде получить жизнь, но какой ему был интерес стреляться?

Я вдруг подумал, а может, он просто ненормальный? И Сара лишь предлог сделать то, что наедине он сделать был не в состоянии? Он хотел совершить всё это именно у неё на глазах. И пусть она сейчас при-

кована наручниками где-то там, на кухне, все равно слышит обо всем, что здесь происходит, знает, что здесь творится.

Тем временем Дэни сам подзуживал себя:

— Что, — боишься? Боишься! Это же так просто: крутанул барабан, нажал на курок, — хоп! Смотри, смотри, идиот!

Он резко провернул барабан, поднес револьвер к своему виску, широко улыбнулся в каком-то диком восторге и плавно нажал на курок. Раздался оглушительный выстрел и вслед за ним истошный крик Сары. Самоуверенный полицейский как сноп повалился набок к моим ногам с разможенными мозгами.

Я онемел. Со стороны всё выглядело кошмарным сном. Нет, так не бывает в жизни! Это какое-то безумие! Я сижу в кафе, а у моих ног мертвый коп. Абсурд! Нонсенс! Что я делаю здесь?

А если бы он первым делом сунул пистолет мне? Я бы тоже нажал на курок, и может быть, на полу лежал мой труп. Неужели меня спасла Судьба? Я всё еще не мог поверить в это. Но и от шока сразу отойти не мог. В голове всё закрутилось вихрем, всё перемешалось: что делать? Что делать?! Я думал, голова моя расколется, но я и не предполагал, что за этим последует.

Я еще окончательно не пришел в себя, когда в кафе неожиданно ворвался он, мордатый рыжеволосый детина с полицейской звездой на черной кожаной куртке. Сначала он не заметил труп, лежащий возле моего столика, только выставил вперед свой «магнум» и, мгновенно окинув профессиональным взглядом кафе, крикнул:

— Сара, где ты, Сара? Я слышал выстрел!

Он, вероятно, только что подъехал, но мне это не доставило радости. Я мог бы давно быть за сотни миль отсюда, но из-за своего равнодушия к собственной судьбе оказался по самые уши в дерьме. А может быть, из-за своей неистощимой склонности к слабому полу. В этом, однако, я не виноват, но разве объяснишь что-либо толково перепуганному насмерть шерифу, который несколько минут назад услышал пистолетный выстрел, ворвался в кафе и вдруг обнаружил в нем другого полицейского мертвым? Что бы вы на его месте сделали? В лучшем случае превратили бы предполагаемого убийцу в мишень, в худшем — в решето, пусть даже тот и бровью не повел и не сорвался с места. А уж если убитый вдобавок ваш брат!.. Но об этом позже. А пока я еще не очнулся от перенапряжения и смотрел на все туманными глазами. Мой мозг еще слабо реагировал на окружающее. Иное дело твердолобая дыня шерифа. Когда он, сжатый, как пружина, продолжая стискивать свой ствол, медленно приблизился ко мне и увидел на полу разгово-

ченную башку другого копа, оказавшуюся, как я потом узнал, его родным братом, у него тоже съехала крыша; губы мелко затряслись, лицо побагровело, глаза вылезли из орбит и изо рта вырвалось отчаянное:

— Дэни, Дэни, братишка!

И вслед за этим его выпученные серые глаза острыми иглами вонзились в меня:

— Что здесь произошло? Что здесь произошло, тебя спрашиваю?!

Он схватил меня за грудки и стал неистово трепать, ожидая, наверное, что из моей взболтанной утробы вырвется что-нибудь членораздельное. Но я молчал, потому что еще пребывал в трансе. Однако кроме меня никто ничего не мог ему поведать, потому что кафе было пусто, как оно часто бывает пусто в такое время года: вокруг сплошная душная степь, в кафе у дороги останавливаются только редкие проезжие. Сегодня таким проезжающим оказался я. И вляпался дальше некуда.

— Так что скажешь? — не сводил с меня обыченных глаз шериф. — Что скажешь такого, чтобы я тебе поверил?

Он еще пытался сохранить самообладание, но мне было все равно, поверит или не поверит мне шериф, как было все равно еще час назад, когда я ехал в никуда, когда готов был хоть в пропасть сорваться, хоть в смерч угодить. Жизнь давно перестала интересовать меня, и потому я равнодушно сказал Саре: «Хочешь, поехали» и потом ее настырному ухажеру: «Если хочешь — давай!» Но как объяснить это человеку, ошоренному непередаваемым горем? Он слеп, глух, жажда мести обуревает его. И ему все едино, кого метить тавром убийцы. Вдобавок его выводила из себя моя уверенность в том, что я ни в чем не виноват. Как же не виноват, если в кафе были только его брат и я? Только я и его брат! Кто же во всем виноват?

— Послушайте, шериф, — пытался я облагоразумить его, — я признаю, что отчасти в смерти вашего брата есть доля моей вины, потому что если бы я не зашел в это кафе, если бы не поддался на уговоры Сары...

Упоминание Сары словно подлило масла в огонь.

— Так вот в чем дело! — тут же взревел шериф. — Значит, вы с этой сучкой заодно?!

Я понял, что сморозил глупость. Это была уже неизвестно какая по счету глупость, которую я совершил сегодня. Ладно, остановился в придорожном кафе, ладно, оказался очарованным обаянием Сары, но зачем сначала согласился увезти ее, потом не послушался и скатил на обочину, чтобы выслушать полицейского, который оказался ее ревни-

вым ухажером? А потом?.. Все так стремительно завертелось, так нелепо переросло в безумие, в котором совсем неясно было, кто больше безумен: я, отстраненно-безмятежный в своем равнодушии к собственной участи, или он, по жилам которого разгоряченным потоком заструилась ревность и взорвала мозг. Но если мозг ухажера Сары разъедала ревность, то мозг шерифа одурманивали ярость и месть. Он готов был разорвать меня на куски голыми руками. Но тут из кухни закричала Сара:

— Пит, Питер, он не виноват, не трогай его, Пит!

Шериф прищелкнул меня наручниками к батарее отопления и пошел на зов. Вскоре он ввел в зал Сару. Увидев Дэни, она вскрикнула и в ужасе закрыла ладонями глаза.

— Что, сучка, неприглядная картинка? Смотри, смотри до чего ты довела моего Дэни, — стал раздирать ей ладони Пит, но Сара начала отбиваться, и он, рассвирепев, ударил ее наотмашь. — Это все из-за тебя, из-за тебя, дрянь! Говорил ему: не путайся с этой шлюхой, добра не будет, но он никогда меня не слушал, никогда...

Сара от сильного удара упала на пол, но поднялась, села, опершись спиной о стойку бара.

— Пит, он сам, он все сам, ты же знаешь...

Рыдая, она еще пыталась что-то объяснить шерифу, но вряд ли тот что-либо воспринимал.

— Заткнись, шлюха! — бросил он и вернулся ко мне. — А теперь я послушаю твою байку, красавчик.

Я в упор посмотрел в его налитые кровью глаза и вдруг меня как осенило: а ведь он если не знал, то на девяносто девять процентов догадывался, чем занимался со мной его брат! Значит, я был не первым, кого Дэни ловил при попытке бегства с Сарой и заставлял играть в русскую рулетку! Значит, Пит был во всем в курсе. Тогда где же те «счастливики», которым «повезло» так же, как сегодня «повезло» Дэни? И где окажусь я, если на триста с лишком миль вокруг власть принадлежит этому рыжеволосому разъяренному шерифу, поймавшему с поличным убийцу его брата и полицейского в одном лице?!

Признаться честно, в этот раз я струхнул. В мгновение с меня слетела спесь моей вселенской апатии. Я вдруг непередаваемо захотел жить. Неописуемо вдруг осознал, как очаровательна жизнь и как неподражаемо сладостно каждое ее мгновение, которое мы в своей неудержимой гонке за призрачным счастьем не замечаем. И я всячески начал бороться за то, чтобы еще хоть на миг, хоть на час продлить ее очарование.

Несмотря на скепсис шерифа, я рассказал все как было на самом деле. Как подъехал к кафе, как сел за один из столиков, как потерял голову при виде Сары, разговорился с ней и, узнав, что она давно мечтает вырваться из этой глуши, предложил отправиться вместе со мной, и как она согласилась, и мы поехали.

В моих словах не было ни капли лжи. В огромном желании жить, мне нечего было лгать. К тому же я надеялся, что разум шерифа возобладает над его чувствами, а буква закона, которой он обязан следовать, вразумит. Но в глазах его пока не наблюдалось никаких проблесков. Лишь ехидное коварство кривило уголки его мясистых губ. Но я продолжил дальше, рассказал, как, отъехав мили три-четыре, нас настиг «шевроле» Дэни. Он просигналил остановиться, и я, вопреки угворам Сары, свернул на обочину. Тогда он набросился на Сару, потом на меня, когда я попытался за нее заступиться. Он, угрожая пистолетом, заставил меня сесть на заднее сиденье его машины, а Сару затолкал на переднее. Потом мы вернулись в кафе, и тут Дэни предложил сыграть в русскую рулетку. Ставка — жизнь и Сара. Меня уже не интересовало ни то, ни другое, поэтому я согласился на этот безумный шаг. Что произошло дальше, вы видите сами.

Я замолчал. Шериф продолжал смотреть на меня, но я отчего-то стал уверен, что он давно разобрался во всем. И все же в нем еще бродила месть. И я еще не знаю, что было страшнее: растревоженная ревность или распаленная до предела месть.

Вдруг шериф оторвался от меня, подошел к убитому брату и взял из его похолодевшей руки револьвер.

— Значит, говоришь, вы разыграли русскую рулетку? Ну-ка, красавчик, покажи, как ты это делал?

Он вытащил из патронташа брата один патрон, вставил в барабан, внутренней стороной ладони прокрутил его и протянул револьвер мне:

— Ну-ка покажи...

С Дэни я смотрел в глаза смерти открыто. Мне, повторяю, тогда было все равно. Теперь же, когда как никогда хотелось жить, смерть явилась во всем своем ужасающем облике. Теперь я только и думал о том, что она засела в этом барабане, и барабан, превратившийся для меня в огромное чрево обитания смерти, был в каких-то долях фута от моей головы. А когда я закрыл глаза, она вообще чуть ли не поцеловала меня в висок.

Я нажал курок, но выстрела не последовало. Щелчок курка эхом отозвался в сердце. Я раскрыл глаза. Шериф злорадно ухмылялся:

— Ты такой же дурак, как и Дэни. Зря не проехал мимо. А теперь знаешь, что получилось? Ты беглый псих, сразу видно. Ты остановился в этом кафе, начал приставать к шлюшке Саре, но на твою беду нагрянул полицейский. Естественно, вмешался, как вмешался бы любой джентльмен, когда на его глазах пристают к женщине. И ты убил его. Да, да, ты — маньяк — убил его, а затем убил Сару (не оставлять же ее в живых как свидетельницу) и сам покончил с собой: ты же псих, с тобой все ясно. Как тебе? Нравится такой расклад? А теперь доставь мне, пожалуйста, удовольствие, нажми еще раз на курок, а то я подумаю, что ты в рубашке родился. Может, я ошибаюсь?

Он с силой приставил к моему виску пистолет, придушил свободной рукой за горло. Скованный с другой стороны наручниками, я и двинуться не мог. Что мне оставалось? Только снова закрыть глаза. И я закрыл их. Он больно надавил мне на указательный палец, и тут раздался выстрел. Но, кажется, я остался жив. Когда открыл глаза, шериф, распластавшись, валялся у моих ног, а напротив возле стойки бара наперевес с ружьем стояла Сара. Волосы взлохмачены, на правой скуле ссадина, с уголка нижней губы сочилась кровь, но как она была прекрасна! Как тот закат, который мы встречали спустя несколько часов в Калифорнии.



Anna Raven

Челябинск

ИГЛА

— Зашейте мне сны! — у гостьи мягкие черты лица и тихий, напуганный ночными кошмарами голос. Да и сама она какая-то вся тихая, робкая, и такая тоненькая, что даже я, наверное, её смогу поднять безо всякой магии, по-людски.

— А что в этих снах? — я это уже вижу и знаю. По глазам читаю бесконечные кошмары, из которых никак моей несчастной гостье не выбраться, а она старалась — «Святой покой» на ночь читала, нити красные из шерсти в изголовье повязывала, ивовый настой принимала.

Но не уходят сны. И не уйдут — посланы они самой жизнью, на урок и предвестие даны, но людям того не объяснишь, да и не я объяснять-то должна. Я волю исполняю. Волю той силы, что меня на границе

Яви и Нави оставила, наказала стеречь и людям помогать как умею. Про объяснения и отговоры речь не шла, да и не могла пойти — не дано мне мудрости замысел высший, промысли Володыки познать и объять, а вот помочь, с напастью мелкой справиться могу.

— Там...— гостя мнётся, всё внутри дрожит у неё, память нервная, но строго держит всё, что ночью зрела. — Там вода.

Знаю, милая, знаю. Вода — она и жизнь даёт, и смерть являет. Из воды вся жизнь вышла, в воду она вернётся, и там сгинет, кода закипит Великий Океан. Но не увидать тебе того, дитя, да и мне тоже. Я долго живу, а вода ещё древнее будет.

Но тонет моя гостя в этой воде каждую ночь, задыхается так натурально, что даже криком ночь распугав, вскакивает, а сердце и мысль тревожатся: не тонет ли наяву?

Предостережение это. Остерёг от неба. Страшно оно предупреждает, но для чего? Не прописана судьба твоя, милая, есть развилка, одна в Явь, другая в Навь, впрочем, чего я маюсь-то?

— А ты хочешь?

— Без снов, совсем без снов, — она качает головой, и мне кажется, что голова держится на её тонкой шее чуть ли не чудом. — Зашей их, ведунья, зашей, я золота не пожалею!

Да на что мне золото? Впрочем, если не брать ничего — обида будет. От силы и будет.

— Зашить недолго, — я не отговариваю и не объясняю, — да только нужно ли? Ну сон, кошмар, понимаю, да только недолго ведь будет — противные видения не цепляются навсегда.

— Надоело! Воды бояться стала! В ванную пора залезать, а я медлю. Вода остывает, служанки переглядываются...

Гостя мрачнеет, но губы её продолжает растягивать нервная улыбка.

— Зашей мои сны! — просит она снова, точно я забыть её просьбу могла.

— Ну будет по-твоему, милая, — не моё это дело отговаривать. Небо дало ей видение, а распорядиться им, как и всяким даром да проклятием, самому человеку. Хочет — зашьёт, хочет — забудет, у каждого развилка своя, свой меч, свой выбор.

Игла у меня серебряная, да только серебро то зачаровано древней, первой силой и от одной ведуньи к другой передаётся со смертью. Думает игла, сама шитьё знает, сама стежки кладёт. Мне, главное, рукою махнуть над макушкой гостыи — разрывается полотно между мирами, само трещит, а оттуда и сны лезут в реальность. Но я не пушу.

Игла сшивает крепко, сама в руке моей ходит, а нить её — сила моя, да слова, что на земле не звучат. Я рукой покоряюсь, игла сама бегаёт...

У гости глаза закрыты, её потряхивает. Мне мешать не надо — лучше спи, милая, я разбужу как закончу. Не надо тебе случайно видеть ни иглы моей, ни нити, ни то, как остатки снов — уже чистых и светлых, к кошмарам отношения не имеющие, тянутся, а я их рублю или обратно загоняю.

Если зашить сны кошмары, светлые тоже исчезнут. Жизнь ведь двурогая зараза. С одного рога её молоко стекает, с другого кровь. Так и живём, существуем понемногу. Без кошмаров яркие сны не жди, без ужасов не познаешь и света. Но выбор не мой, а объяснять я не смею — не наделена этим высшей волей.

Стежок за стежком, бегают нитка, серебрится иголка, сила из меня сама перетекает в иглу, но игла ведёт, не я. Игла лучше знает. Но вижу — сшивается над головою гости пространство меж мирами, и нету дверцы. Теперь не жди ничего, а насчёт воды сама думай — видение было, а принять или нет — твоя воля!

Ну всё-всё, вроде крепко? Проверяю рукою тонкий шов — заметен он лишь колдовским взором, а людскому такого горя не дано, чтобы видеть зашитые кусочки душ и междумирья. Ничего, сделано ровно, крепко, теперь каким-то волнением не прошибёшь!

— Просыпайся, милая, — касаюсь руки гости, та вздрагивает, тут же открывает глаза.

Взгляд её уже не тот. Только зашила ей сны, ещё и не спала она ночью, а душа уж почуяла, что её истончило. Душа-то подпитывается от снов, впечатлениями полнится. Но не моя то воля, не мой то выбор — я объяснять не смею, я здесь не для того живу, я волю исполняю высшую — желаньям людским помогаю. Кому-то спасение, а кому-то, как этой, баловство.

Но я и не судья.

— Всё? — она не верит. — Я...что же? я спала?

— Спала, милая, а теперь кошмаров нет.

Ничего яркого тоже нет, но про это речь не шла.

— Я что, могу идти? — её тонкость теперь кажется болезненной. Так всегда бывает, когда душа чувствует обман. Из миниатюрности в болезненность, из наивности в откровенную раздражающую глупость, из твёрдости в жестокость — душа, когда знает что её обманули, всегда становится чуть-чуть другой, ожесточается и то вытаскивает, что прежде прятала.

— Можешь, милая, — улыбаюсь, провожаю, даже кошель принимаю, но так, по весу, интереса во мне нет. Она мне не верит, не верит в то, что всё так просто и легко, но уходит.

Ничего, не мой то выбор.

— Зашей мне горе, ведьма, — напротив меня славный воин. Но у славного воина, ровно как и у самого дурного труса есть душа. Только разная душа-то, и у воина славного плакать она может. — Не могу я больше!

Не можешь, милый, конечно же, не можешь, но как быть, если надо? Надо быть! И горе твоё — горе утраты любимой — тебе как щит, как вера, как отравка одновременно. Не просто так горе дано, не для развлечения Володыки, а для того, чтобы ты с пути своего сошёл. У тебя сгинула твоя любовь, а сколько невинных ты сгубил? Не спрячешь от меня, воин! Ты славу свою не только на подвигах построил, но и на невинной крови. Одно ведь дело, когда армии сходятся, а другое, когда приходишь ты с людьми своими в деревню беззащитную, да там колешь и режешь!

Не всем посылается этот путь, а тебя высшие силы просят — сойди, воин, ты познал боль, так иди за нею. Но выбор не мой и я зашью твоё горе, как ты и просишь — я помогу тебе выполнить твоё желание, только легче не станет. Горе, милый, знаешь какое полезное? Оно напоминает тебе о том, что ты жив ещё. А не будет горя, думаешь, вместо него радость придёт или забвение? А вот нет. Пустота придёт. И если с горем жить можно, то с пустотой уж никак — она поглощает, пустота-то.

Но выбор не мой, моя лишь игла. А та своё дело знает. Стежок за стежком — шить надо у сердца. Ты, главное, спи, не мешайся, не надо тебе видеть, как я твоё сердце тебе раскраиваю, да как шью по-живому рану. Там кровит, в сердце-то, а теперь не будет. Высохнет сердце.

Но выбор не мой. Не на отговор и объяснение я поставлена, а на то, чтобы воли ваши исполнять. А зачем? Да кто же замысел высший ведаёт? Может быть испытание это, а может и просто выбором идёт...

— Ступай, воин...

Хмурится он, мрачнеет. В груди не болит, но ноет иначе — тоскою ноет, ею давится всё, травится. Но то лишь начало — тоска душу изъедает на манер червя. Даже родилась тоска в ту ночь, что червивой зовётся, да и облик имеет схожий — длинная, тягучая, и жрёт на пути своём всё. Но выбор не мой, я лишь шью.

— Зашей мою память...

У этой женщины никого не осталось на свете — сплелись так судьбы. Осталось горе. И память, осколками в сердце и душу впившаяся. Было ведь иначе, было! А теперь она осталась помнить. Несправедливо.

Но Володыка и не был справедлив. Он был милосерден всегда. И в этом милосердии явилась та воля, что здесь, между Явью и Навью меня оставила.

— Я зашью твою память...

Я не лгу. Мне достать иголку недолго — серебрится она в руках моих, точно свет звёзд вобрала, а может и вобрала — не знаю. Не всегда я же одна была, но время уходит, и теперь я в числе последних.

Я не лгу. Я зашью твою память, но горе, знаешь, оно не в памяти живёт, а в сердце. Ты не будешь помнить причины, но будешь остаток дней несчастна. Ты знаешь это? В твоих глазах равнодушие — это ничего, дескать, главное, чтобы не помнить их, а то жизнь невыносима!

Твоя воля не мой выбор! Иголка блестит у меня в руках, сама знает свой ход, угодничает, поблескивая гладкими боками. Дело спорится. Ты спишь, а по твоей голове, да по твоим мыслям нить моей силы сшивает негодные участки. Стежок за стежком, шаг за шагом, и дело кончено.

— Просыпайся, милая, всё уже кончено, нет больше памяти.

Осталась скорбь. И лицо твоё — потемневшее от слёз, каменное от разбитости мыслей, эту скорбь отражает.

— Снимите швы, пожалуйста... хочу, чтоб было больно.

Запрос редкий, но и такое бывает. Мы с этим человеком уже встречались. Он так странно чувствовал мир, говорил, что любая несправедливость ему делает больно где-то в груди, холодит в нём что-то. Чувствительный молодой человек. От переизбытка этой боли в поэты подался. Но понял, что и того не выносит, что не интересуют толпу стихи о великом и вечном, пришёл ко мне...

А теперь, стало быть, швы снимаем? Я ему боль зашила, а он чего?

— Я эпиграммы стал писать, да всякие памфлеты, — объясняет гость, — популярность пошла. Я без стихов не мог, а без боли только такое и получалось — людям нравилось.

— Ну так и что дурного? — не знаю даже зачем Володыка создал поэтов, они ведь вечная помесь ромашки с крапивой — вроде красивые, а лучше не трогать, они себе на уме.

— Да не та эта популярность! — поэт даже злится на мою несообразительность. — Я про королеву — толпа довольна, я про казнокрадов

из министерства — толпа аплодирует, я про придворные дела — а та хохочет...

Володыка, зачем всё же, а? Ну была же радуга, бабочки были, и крапива эта всякая с сорняками тоже была, эти-то зачем?..

— А теперь меня хотят повесить за то, что писал, я в бегах, а толпа меня и не помнит. Вчера они ещё мне хлопали, говорили, что я ловко их всех, а сегодня делают вид, что не знают. В убежище отказ, во всём отказ.

— Мне жаль, — мне, конечно, не жаль, я людей понимаю. Если повесить — это недовольство короны. А недовольство — это уже серьёзно, и какой, скажите мне, дурак, пойдёт заступаться за поэта, которыми запружены городские площади?

— Но не в этом дело! — мой гость раздражён, — я тут подумал, что я скоро умру, а я так ничего и не написал. Настоящего. Боли-то нет. А без боли в искренности быть нельзя — ни любви нет, ни сострадания. Одно равнодушие. Сними швы, а?

Дожили. То зашей, то сними то, что зашила...

Но выбор не мой, моя тут только служба.

— Будь по-твоему!

Спи, поэт, спи. Моя игла сейчас даже обидится, что я её не зову, не извлекаю из глубин серебра, но это ничего. У меня есть тонкое длинное лезвие, оно снимает мои нити. Резать по своей же силе надо аккуратно — не ровный срез и потекла сила из меня сегодняшней. Но ничего, руки мои не дрожат, и лопаются стежок за стежком, и хлещет боль, прорываясь рекой через порушенную преграду.

— Иди отсюда, только дорогу забудь, а то с тобой не разберёшься! — я пытаюсь быть суровой на прощание, но выходит неубедительно. Забавны люди, Володыка, забавны!

Лучшее они из всего, что ты создал!

— Зашей моё имя, — просит очередное явление несчастья. Точно в имени проблема, в родовом происхождении, а не в сути. И в семье последних мерзавцев можно остаться в себе, можно! А у тебя и не мерзавцы даже. Просто не хочешь ты знаться с ними, хочешь себя отделить. Но дерево без корней не живёт, а имя — те же корни. Свои пустишь? Ну сколько же времени пройдёт? Сколько бурь да ветров? Сколько засухи...

Впрочем, воля твоя, выбор не мой, моя лишь игла. Я зашью твоё имя, но легче-то тебе не станет. Кровь не вода — не разбавишь. Всегда тень твоего имени за тобою следует. А страх-то напрасный! Над именем можно встать, над страхом возвыситься, но воля твоя, конечно.

Ты спи только, спи, не надо тебе видеть, как я твоё имя, выжженное на душе, стираю, как зашиваю по самому краюшку, чуть-чуть кале-ча твою душу, а там и память зацепится, и сердце на беспокойство...

Игла, иди сюда! Капризничаешь? Ну прости — не всегда ты нужна, иногда и полежать нужно. Давай, не лукавь!

Не лукавит. До труда истосковалась и ведёт мои пальцы по душе, зашивая её края, чтобы имя больше не виднелось. Не поможет, ой не поможет, только душу свою тоньше и меньше сделаешь.

Но выбор твой, мы с иглой не при деле! Мы только шьём — она направляет, я делаю стежки.

— Ступай, всё кончено.

Меняются лица, меняются души, а голоса как будто бы одинаковы в просьбах своих и слезах. Каждый думает о том, что горе его уникально, а просьба необычна, но каждый из них ошибается.

— Зашей мою совесть! Сил нет терпеть!

Нет, и не будет. Совесть зашить просто — я зашиваю на три грубых стежка меньше, чем за минуту.

— Иди, дело кончено.

— Зашей мою любовь!

Зашью, да только не любовь это — то, что ты за неё принимаешь — обман. Любовь впереди, но выбор твой, слова твои, и ответственность твоя. Я-то сделаю, на то я здесь и обитаю, между мирами оставлена, чтобы ваши желанья исполнять, а вот выбирать не мне. Зашить любовь? Зашью. Только не удивляйся потом пустому усталому стуку сердца.

— Иди, дело сделано!

Благодарности, неловкие кивки и попытки заплатить. Я принимаю — нельзя не брать — сила обидится, мол, я что, впустую тружусь?

К слову о силе!

— Зашей мою силу.

Зашью, только то, что ты за неё принимаешь — от страха ведь идёт. А самой силы в тебе немного. К твоим годам уж понимать бы надо. Но нет, возгордился! Силы в нём много, укоряется, придумал оправдание: ничего не получается от того, что я слишком сильный человек, всё могу, всё проломлю...

Нет, не от того не получается. От чего-то другого. От гордыни, например, от наглой самонадеянности. Но воля твоя — сила так сила.

Серебрится игла, стежок за стежком ступает так лихо, словно танцует, а может это и есть танец — танец силы и серебра, танец ваших

решений и моего покорства. Вы ведёте, вы озвучиваете, мы с иглой исполняем.

— Дело сделано, иди.

Уходят — другие лица, другие взгляды, даже походка другая. Душа уже чует подвохи, разум уже возмущается, пустеют сердца — свершено едва поправимое, нет, при желании, конечно, поправимое, только вот нет того желания — это же за собой ошибку признать! А страшно, страшно...

Первый раз приходящие они все лихие. А дальше всё робче. Вон, сидит передо мной деваха — молодая, крепкая, кровь с молоком. Только вот приходит она не в первый раз — сначала горе зашивала, потом тоску пыталась, да только тоску латать надо всё время, она полнеет, ширится, протекает потом через тонкие части сути, вот, в третий пришла...

— Скучно мне, тошно.

Ну и жизнь не площадь скоморохов! Но воля твоя. Только зашитие скуки тебе веселья не принесёт — напротив, без скуки цена веселью ломаный медяк!

Какая ценность в том, что не имеет отражения перевёрнутого?

Стежок за стежком, трудится игла, у меня к вечеру всегда пальцы распухают от её гладких боков, да и потрескивает в пальцах огоньками боли — привыкнуть надо к труду, да каждый день через себя нить силы выдавать, да шить без конца и края, да чтобы ещё крепко было и ладно, да чтобы ещё красивый шов был — это, знаете ли, тяжеловато.

— Зашей мне вину!

Без вины жить — ошибок своих не знать. Но выбор за тобой, ответ тебе держать. Мы зашьём, мы привычные! Серебрится игла, шьёт ловко, легко. Ей-то легко, она не видит, только шьёт и помнит.

А я?

А я на то и поставлена...

— Зашей мне ехидство и колючесть.

Зашить-то зашью, да только суть у тебя такая, что тут не переделывать. Зашить слова злые можно, но эта колкость во взгляд перейдёт, да руки станут ледяными, как могильным холодом овезаны, к чему не притронешься — всё не то. Людей близ тебя это не прибавит, да милее для них ты не станешь. Людей в этом деле не проведёшь — не сделать из репейника фиалку! Лучше уж будь репейником, но честно будь...

Впрочем, воля твоя, спи — мы зашьём.

— Зашей мне наивность и доверие.

Легко. Но без доверия жить тяжело. Всем нам хочется верить — в себя, в ближнего, да хоть в Володыку. Интересно, а сам он во что верит?

Впрочем — воля твоя, игла моя. Я зашью, но пеняй на себя.

Иссякает сегодняшний путь, исходит день, а я стою у зеркала, смотрю на себя, и вижу на себе отпечаток этого дня и бессилия.

День умирает, ночь уже близка, выползает понемногу из своего укрытия, тянется, хочет разлиться, и спать уж пора, да только осталось одно...

На сути моей тысячи швов — по числу тех дней, что я живу. Иные швы наслаиваются друг на друга, иные насквозь друг друга идут. Что делать — много дней я живу, много дней шью, и каждый такой день на меня приходится так же, как и на них, только они по одиночке, а я их всех ведь вижу.

Иголка знает своё дело, и сама прыгает мне в руку, едва я касаюсь её. Она знает стежки и знает как надо шить.

— Зашей этот день, — прошу я, и рука моя, иглой подталкиваемая, выводит стежки. Самой себе шить это сложно только поначалу — непривычно у зеркала, а потом ничего, рутина — как и всё, что остаётся после нового шва.

Стежок за стежком, чуть-чуть подцепить, чтобы завтрашний день ещё можно было на чём-нибудь написать...

Всё, справляется игла быстро и ныряет в серебряный сон, а я перехватываю лентой волосы и закрываю зеркало чёрной тканью — видеть себя настоящую, без морока и без магии, с тысячами швов — мне невыносимо.

Но это мой выбор. И игла моя. Да и воля тоже. И отговоров мне не надо — служба у меня такая, и я могу выносить её только так, а иначе счёт дней был бы сильно меньше, а разочарование больше. А так — ничего. Новый шов, да кто его увидит? А меня игла не выдаст — покорная...

ОБ ОДНОМ ПОДВАЛЕ

Агнешка не выдержала первой. Но так и должно было быть — она всегда и во всём была первой, неважно даже, шла речь об успехе или

горе, ответе на загадку или выступлении — просто первая во всём. Она и родилась первой — на целых две минуты опередила меня.

Я, как всегда, во всём второй. Но я привыкший — мне необидно. Тем более, Агнешка никогда не относилась ко мне свысока. Она всегда была настоящей в своей первости и от того не задирила носа, не кичилась достижениями, а оборачивалась ко мне и спрашивала чем может помочь, а то и вовсе помогала, не спрашивая.

— Ты как? — вопрос был глупым. Она стояла, прислонившись к стене теперь уже нашего с ней дома, прикрыв глаза. Солнце касалось её мягкими лучами, но Агнешку всё равно трясло. Что ж, не могу её винить — потряхивало и меня.

— Тошнит, — призналась она.

Меня тоже тошнило. От затхлости подвала, от сырости, и от того, что там ещё оставалось.

— Дыши глубже, — мой совет прозвучал пусто и глупо. Ну что, Агнешка сама не знает, как справляться с приступом? Она всегда была умнее, разберётся! Но я должен был сказать, должен был что-то сделать.

Хотя бы сделать вид, что я что-то могу решить.

— Ага, — слабо отозвалась Агнешка и действительно шумно задышала.

Помолчали. Меня морозило — солнечный свет, скользивший по стене и двору, совершенно не мог согреть замёрзших душ и окоченевших от ужаса пальцев. Не мог он внести теплоту и покой в желудок, бунтовавший против того, что осталось теперь в памяти.

— Там много книг, — сказала Агнешка. Молчать было невозможно, но говорить? о чём? Я не находил, а она нашла. Она всегда была сильнее.

Да, книг было много — собранные без разбора в стопки, перехваченные простыми верёвками. Тут были и наши с Агнешкой старые учебники, и буквари, и многочисленные словари, на моей памяти ни разу никому не пригодившиеся, и книги с рецептами, которые, похоже, тоже не были никому нужны, и художественная литература...

— Мама любила читать, помнишь же? — я и сам не знал зачем напомнил об очевидном. Едва ли Агнешка забыла о том, что наша мама души не чаяла в книгах. Во всяком случае, в их собирательстве. Она всегда посещала книжные развалы, скупала всё подряд по дешёвке, а потом тащила, тащила в тяжёлых коробках, а то и вовсе в руках, прижимая к себе, новые и новые книги. Что-то ей нравилось, и она оставляла себе, наверху, в самом доме, забывая хрипло дышащий, измучен-

ный годами шкаф. Но большая часть отправлялась в подвал. А из него — никуда. Мама перехватывала книги веревками. Сгружала их стопками, вроде бы аккуратно. Но на деле она совершенно не берегла эти книги. В подвале часто сырело по стенам, во время сильных дождей от земляного, кое-как закрытого пола, поднималась влага и в подвале по-настоящему парило.

Книгам это не нравилось.

— Помню. Никакого телевизора, зато книги, — хмыкнула Агнешка и смешок её был нервным. — Я вот о чём думаю — может там не всё отсырело? Может что-то ещё в нормальном состоянии? Ну или не сильно в размокшем?

Я пожал плечами — в такой момент думать о каких-то книгах? Впрочем, о чём нам ещё думать, чтобы не сойти с ума? А так дела. Агнешка права. Всегда права.

— Может удастся сдать на те же развалы. Всё грошик, — Агнешка закончила свою мысль и замолчала. Мысли её вернулись в подвал, к этим ненужным, оставленным на отсырение и медленное поедание плесенью книгам.

— Вполне неплохая мысль, — я потащил мысли Агнешки из подвала, перенимая её предложение отвлечься, — а вещи? Может тоже что-то ещё в нормальном состоянии?

Чего я никогда не мог понять в маме, так это то, что она всегда дурно одевалась. Всегда говорила о своей бедности, о том, что ей нечего больше носить...

В детстве, когда мы с Агнешкой были маленькими. Я в это верил. Но потом я увидел, что и тётя Стефа — через два дома жившая от нас, и родная сестра нашей мамы — тётя Рута, каждый раз, приходя к нам в гости, тащат пакеты с вещами. И для нас, и для мамы. Если нам мама через раз разрешала выбирать что-то, что мы с Агнешкой делали с особенным рвением, то о себе мама всегда говорила одно:

— Я слишком бедна для этого.

И отказывала, отказывала...

— Пропало всё! — отмахнулась Агнешка с досадой и замолчала.

Я знал о чём она думает. После того, как кончились годы учёбы, как кончилась школа, куда мы с Агнешкой чуть ли не рвались каждый день, никогда не пропуская занятия, мы подались в город и наши пути разошлись. Я поступил не примериваясь, абы на кого, лишь бы получить комнату и возможность не быть больше в нашем забитом вещами, всеми вещами, но только не нужными, в затхлости погрязшем доме.

Агнешка не поступила — провалилась, но пошла работу и вскоре смогла снимать не угол, а квартиру. Но она оказалась पहले меня — она смогла возвращаться домой, к матери, ездить в гости, привозить ей из города гостинцы и вещи, уговаривать, просить начать жить по-людски, просить расхламить хоть немного места.

Я не мог. Я просто пересылал ей деньги, а после выслушивал от расстроенной Агнешки последние новости:

— Она купила в дом семь сковородок. Обошла весь район в поисках одной и той же распродажи. Тадди, ей их даже складывать некуда!

Это я и сам знал. Мама покупала и покупала, складировала и складировала, но не пользовалась, заявляя о том, что бедна для вещей. И пропадали сковородки, книги, вещи. Впрочем, это ещё было не самым страшным.

Экономить воду, не открывая её тоньше, чем перебивчивой струйкой, чтобы понемногу скопить в таз для того, чтобы в нём помыть посуду, а после использовать для смыва — это ничего, можно привыкнуть. Агнешка морщилась, ругалась с матерью и в детстве, и позже:

— Не так уж это и дорого! Ну не купишь ты лишнего хлама, зато хоть раз тарелки помоем нормально!

— Не учи меня, — отзывалась мать, — мы слишком бедные, чтобы быть транжирами.

О том, что можно не покупать семнадцатую по счёту мыльницу (в которой всё равно никогда не было ничего, кроме жалких, сплюснутых вместе обмылков), или не тащить в дом лишний таз, или ковш, или ещё что-то из разряда тех вещей, которые нужны и хороши только в одном, ну в двух экземплярах — речи не шло.

Агнешка ругалась, всегда пыталась поспорить, выторговать право отсрочить или отменить ненужную покупку, и всегда проигрывала.

— Мы слишком бедные, — возражала мать спокойно.

Она никогда не кричала за такие выпады. Она оставалась непоколебима в своей вере и говорила равнодушно и холодно.

— Богаче от этого мы не станем! — бесилась Агнешка, — а так живём непонятно как...как на складе!

Я был согласен. Да и склады я примерно также себе и представлял: повсюду горы непонятно чего, шкафы чуть не разваливаются под тяжестью вещей внутри и проседают от вещей сверху, а проходы между комнатами, коридоры и просто пол — завалены коробками, ящиками, пакетами, мешками...

— Мы бедные, мы должны экономить, должны обходиться тем, что есть, что можем позволить.

— У нас пособие. У тебя пенсия. Твоя сестра нам помогает! — Агнешка каждый раз одинаково закипала, а затем хватала что-то с пола. — Но вместо нормальных вещей у нас это... что это?

— Набор пластиковых кружек, — отвечала мать спокойно, не реагируя на предыдущее возмущение. — Очень хороший.

— Прекрасно! — бушевала Агнешка. — Давай заменим наши на пластик. Пусть хоть какая-то польза будет!

— Не трожь, — глаза матери сверкали при малейшей попытке Агнешки применить что-то, хоть как-то приспособить к нужному, — нам они пригодятся.

— Когда? Когда они нам пригодятся?

— Когда-нибудь.

— А сейчас они здесь зачем?

Ответа не следовало. Или следовало напоминание о бедноте. У Агнешки сдавали нервы, а я оттаскивал её в сторону и просил:

— Ну не лезь ты, не цепляйся. Ну что ты, в самом деле? В первый раз? Потерпи. Это же не навсегда.

И всё пропало. Теперь мамы нет и мы расхламляем этот чёртов дом. И столько всего находим! Но, как правило, часть из найденного уже вышла из всех сроков годности или потеряла возможность к использованию.

Агнешка приехала раньше. Она расчистила целую кладовую от обуви — там много чего было: и туфли разных цветов и даже размеров, и сапоги, и кроссовки, и тапочки... мама просто скупала, но не носила. Складировала, не заботясь о нужности.

— Ты посмотри, — показала мне Агнешка утром целую грудку коробок, которая три раза повторяла мой рост, — посмотри сколько всего! Часть погрызена мышами, часть просто подтоплена, видимо, протекла труба, ещё часть просто уже разохлась!

Она не переставала возмущаться. А ведь так было во всём. Обувь ещё не сильно пострадала, а вот вещи — платяные шкафы, шубы, которых, как оказалось, было аж две — всё это имело вид куда более ужасный. Изначально перехваченное на развалах и распродажах, оно не хранилось в должном виде. От шубы Агнешка и вовсе отпрянула с воплем ужаса и отвращения — шуба натурально дышала от того, что в ней развелось.

Хуже было только с продуктами. Мама с самого нашего детства всё закупала впрок и по дешёвке — подтухшее, подпорченное, прогорклое — всё, что мы ели, было примерно таким.

— Мы бедные и не можем позволить себе другого, — объясняла мать, когда Агнешка жаловалась на боль в животе.

Агнешка бы поспорила — её взгляд уже красноречиво выхватил из груды новых покупок три подноса с веселенькими котятками, но живот болел сильнее и Агнешка не стала тратить силы, а ткнулась в кашу.

Вставать из-за краешка заваленного всем, чем можно и нельзя стола было не позволено пока не съешь свою порцию.

— Это грех — переводить продукты, — всегда напоминалось нам.

Зато теперь её дети выгребли из необъятных шкафов столько просроченного и порченого... пожалуй, не было крупы, где не было жучков или плесени. Консервы, так и вовсе, выкидывали не глядя — часть банок даже вздулась от залежалости.

— Ненавижу, — прошелестела Агнешка, когда под руку ей попалась вздутая банка с яблочным джемом. — Ты помнишь? А?

Я помнил. Мы хотели есть. Когда не было школы, где к нам относились тепло и сочувственно, и где Агнешка училась с особенным рвением, с удовольствием хватаясь за внеклассную деятельность вроде стенгазет и выступлений, и не было в гостях тёти Стефы или тёти Руты, дома было плохо. Есть полагалось три раза в день и о качестве пищи лучше бы и вовсе не заикаться. Ну и взбрело в голову!

— В конце концов, банок много! — уговаривал я, наткнувшись на коробку с консервами, — давай одну откроем. Мама и не заметит.

Заметила. Мы, глупцы, не догадались спрятать вскрытую банку за пределы нашего скудного мусорного бака. Мать отходила нас всем, чем попало ей под руку, но не кричала, только выговаривала:

— Это из-за вас, из-за вас я живу в бедности! Это ваш отец нас бросил! Это ваш папаша не помогает нам!

Агнешке досталось сильнее, потому что она, прикрывая лицо от ударов, всё-таки выкрикнула:

— Да если здесь всё продать, ты богаче Папы Римского будешь! И отец...нам-то он отец, а тебе муж! Ты его выбирала!

Ей досталось сильнее. Позже, я пришёл к ней, не зная как утешить. Спросил только причём тут папа Римский и правда ли он богат?

— Не знаю, — призналась Агнешка, — ничего иного в голову не пришло.

С тех пор про отца мать вспоминала редко и почти перестала ставить его нам в упрёк. Ну хорошо, не нам. Агнешке. А мне продолжала выговаривать, что это мой отец нас бросил и обрёк на нищету, что это он не помогает нам и вынуждает мать жить на одни пособия.

И от года не становилось лучше. Даже когда мы нашли с Агнешкой подработку и принесли домой продукты — свежие! — настоящий пир устроили, с тортом! Мать мрачно на нас смотрела и повторяла:

— Мы слишком бедные для этого.

Пробовать что-либо она отказалась, а на утро поставила ультиматум:

— Все деньги вы отдаёте мне, вы всё равно транжиры, или уходите. Вы живёте в моём доме и едите мою еду.

У меня не нашлось ответа. Ответила Агнешка:

— Ты её покупаешь на наши пособия. Они назначаются нам! На нас! А ты их на всякий хлам...

Ей снова попало. Без криков, но с привычным выговором о бедности. Агнешка покорилась — ей некуда было идти, но приносить домой она стало мало денег.

— Откладываю, — призналась она, — так нельзя больше.

Всё это я помнил, прекрасно помнил, но сказал без колебаний:

— Нет, не помню.

Моя память — моя рана. Мои нервы, мои сомнения, мои кошмары. Моя причина, по которой я боюсь завести семью. Мой подвал, если угодно.

Агнешка посмотрела на меня внимательно, но не стала спорить.

— И я не помню.

Постояли ещё, непомнящие. Солнце уже сошло со двора и стены. Агнешка снова заговорила:

— Знаешь, я даже выдохнула, ну... тогда. Понимаешь?

Я кивнул. Я понимал. Я тоже выдохнул. Её не стало. Она просто рухнула среди своих коробок — сердце не выдержало. Будь кто-то из нас дома или поблизости, быть может, всё сложилось бы и иначе. Но не сложилось, не вышло. Нас уже поставили перед фактом, и я выдохнул.

— Теперь думаю, что я виновата, — призналась Агнешка. — Мы поругались в последнюю встречу. Я ей сказала, что больше не приеду, что ноги моей не будет в той помойке, которую она назвала своим домом. Да, именно своим, ведь для нас тут места никогда не было.

— Ну мы же не с распродажи, — теперь пришла моя очередь нервно усмехаться, — мы бесплатные.

— Ага, бонус папаши-предателя. И всё же не понимаю, почему мы ей не угодили? Берёшь один товар — второй в подарок. Любимый её расклад!

— Видел я этот расклад в количестве девяти керамических цветочных горшков.

— А я в количестве восьми ящиков с шампунем.

— А как же три телефона?

— А шесть комплектов постельного белья?

— Всего шесть? Это немного.

— Да, Тадди, немного, если это не шесть одинаковых комплектов белья с бабочками. Убийственного розового цвета. А бабочки жёлтые.

— Фу. Ну это куда лучше, чем сорок одна прихватка из старых тряпок.

— Сорок две. Я одной мышью мёртвую вытащила.

Я выругался. Мыши были всегда. И не только мыши, но и тараканы, и муравьи, и какие-то длинные извивающиеся золотистые гусенички ползали. Всё в разное время. Тут им рай — старый дом, сырой подвал, много хламья, много старья...

— Кстати, я видел тут штук десять мышеловок. Может есть смысл поставить?

— Под поддонами? — Агнешка задумалась, прикидывая, наверное, где могут быть мышинные ходы в незнавшем никогда ремонта доме.

— Чего?

— Под поддонами духовыми видел?

— Э... — я засомневался. Сказать что и где я тут находил было сложно. Как тут вообще можно было ориентироваться я не знаю. Но мама, по словам Агнешки, всегда сразу называла где и что лежит, когда Агнешка предпринимала новые и новые попытки расхламления.

— Не трогай, это нужная ваза.

— Пластик же! — возмущалась Агнешка. — Я тебе красивую привезу, стеклянную.

Но отказ был неумолимым. Агнешке повторно выдвигалось требование поставить все на место.

— Нет, под щётками, — наконец я вспомнил. — Там щётки были. Для пола или что-то такое.

— Значит. Я видела другие, — вздохнула Агнешка. — Куда всё это девать? На продажу? Да кому всё это нужно? У каждого своё хламье есть. А если и нет...

— Может по каким-нибудь приютам? Собачьим может? — она увиливала и я тоже.

Но вечно так длиться не могло. Агнешка кивнула:

— Хорошая, кстати, идея, у меня есть подруга одна, как раз занимается помощью приютам. Думаю, если у неё...

— Агнеш...— я перебил её поток увиливаний. Больше было нельзя тянуть. Мы оба видели нутро подвала. Не хламьё, которое можно выкинуть из подвала и забыть, а настоящий кошмар, который поселился в подвал памяти и не уйдёт уже от туда.

— Да знаю, знаю! — она поняла о чём я хочу поговорить. — Без тебя знаю! Я тоже видела! И что теперь? Мама была больна. Мы это знаем. Мы взрослые люди, ведь так?

— Не знаю, я чувствую себя ребёнком, — признался я. — Мне всё ещё страшно.

— Ну и везёт, — буркнула Агнешка, — мне уже не страшно. Мне тошно. И паршиво. Постоянно паршиво.

— Может это и значит «повзрослеть»?

— Мама была больна, — повторила Агнешка, — это факт. Теперь её нет. Это тоже факт. А мы с тобой наследники огромной горы мусора, изъеденного жучком и плесенью домишки вдали от здравого смысла, и...

Она хотела договорить, но махнула рукой.

— Короче, какой смысл в этом всё? Нам-то теперь какой? Предлагаю так: тряпье на помойку, что можно спасти по приютам. Дом на снос. Всё равно тут всё прогнило, особенно трубы. Мама же не ремонтировала, заклеивала и заклеивала. Поставим тут беседку. Место неплохое, далековато, конечно, но что поделаешь? Зато от шума городское далеко. А может снести и продать? а, Тедди?

Я не сдержал раздражения.

— Агнешка, тебе не кажется, что тебя понесло?

— Нет, это тебя понесло! — обозлилась она. — Ну вот что ты предлагаешь? Я предлагаю стереть всю эту дрянь. Наша жизнь всегда была...ну как под камнем. Теперь его не будет. Ничего не будет.

— А отец? — тихо спросил я.

Агнешка осеклась, её бойкость медленно угасала.

— Что ж, — признала она, — по крайней мере, по прошествии стольких лет, мы точно знаем, что он нас не бросил.

Ага, он не бросил. Он просто лежал в нашем же подвале. Земляной пол, сверху доски, а сверху десятки ящиков чёрт знает с чем. Запах ушёл в землю, ушёл с сыростью, да и мощные чистящие средства помогли ему с этим справиться. И потом — это же подвал со старьём, как тут ещё может пахнуть, кроме как сыростью и гнилью?

Мы и узнали-то его только по документам, которые нашли в разлагающееся, вьёвшейся в землю ткани. Пластик и бумага надёжнее бу-

дут! Узнали, и Агнешка не выдержала, пошла, покачиваясь, наверх, не выдержала.

— Надо вызвать полицию, — предложил я.

Но Агнешка уже явно подумала об этом и спросила:

— И что мы им скажем? Все знали, что наша мать больна...да чего уж таиться? Безумная она была! Все знали и никто ничего не сделал. Даже тётя Рут в опеку не сообщила. А тут...Тадди, если выясниться, что мы годы провели с трупом нашего отца в подвале — думаешь, от этого кому-то будет легче? полиция будет нас трепать, не веря, что мы не знали, соседи набегут, добродетельно-белопальтовые, ведь задним числом это удобно! А если журналисты? Они любят такие истории, такие тайны, такие подвалы. И плевать им...

Она осеклась. Запал её пропал. Беспомощная, несчастная, больная желудком с самого детства, нервная. Я сочувствовал ей, жалел её и жалел о том, что решил поднять эти чёртовы доски, чтобы оценить глубину их разложения. И о том, что увидел странную неровность в земле, хоть и сплюсненную тяжестью. И о том, что полюбопытствовал дальше.

— Сгорело бы всё это, — прошептала Агнешка, — А? с памятью. Весь подвал. И не было бы...

— Но оно было, а в памяти останется, — возразил я, нашаривая в кармане зажигалку. — Впрочем, мы ведь наследники, что хотим, то и делаем. Наше же!

В город возвращались молча. Агнешка пыталась прикидываться спящей, я пытался ей верить. Но она так подорвалась уже у своего дома, что всё притворство сошло на нет.

— Ни слова, — промолвила она, её голос дрожал.

— Разумеется.

Она вышла из машины, постояла немного, придерживая дверь, наконец, вздохнула:

— Можно было бы так и с памятью! как стало бы просто жить! Ну да ладно...завтра позвоню в страховую, скажу, что отказываемся от страховки и потом уж разберем. Как вывезем что осталось, что ещё можно пользоваться, так и сделаем.

— Ни слова, — подтвердил я.

— Тадди, а у тебя всё в порядке? — вдруг спросила Агнешка и её голос мне не понравился. Взгляд, впрочем, тоже.

— Всё хорошо, просто устал, — и я сам потянулся, закрывая дверь машины. Нечего стоять, впускать холод. Да и ехать мне пора — мага-

зин на Северицкой сегодня объявил день распродаж, а я и без того потерял большую часть дня непонятно на что. Ещё и бензин промотал. Надеюсь, в магазине осталось что-то полезное и дешёвое — в прошлый раз мне удалось удачно отхватить там четыре матраса. Правда, все четыре были с небольшим браком, но мне-то что? Неважно это, а таких скидок могло больше не быть.

Наверное, я болен. Наверное, безумие матери отозвалось и во мне. Но у меня нет подвала — только тот, что в моей памяти. И трупов там нет. Так что я всё-таки ещё гораздо лучше. Я не безнадежен.

А может я не безумен. Может никто из нас не безумен. ну, кроме Агнешки — ей вот что-то вечно неймётся, нет покоя человеку!

ОБ ОДНОМ ЛИЦЕ

Твёрдость походки уже предала её, но она всё ещё пыталась делать вид, что это не так, и что она по-прежнему крепко стоит на твёрдом полу, как и всегда. И вообще — всё в мире её крепко и стабильно, и всё по-старому, и руки её — ныне дрожащие и непослушные, всё ещё крепко и твёрдо успевают по хозяйству.

— Мам? — когда я заговариваю с нею, мой голос всегда дрожит, хотя я каждый раз обещаю себе, что больше этой дрожи не будет.

Но голос всё равно каждый раз предаёт меня. да и лицо начинает неистово чесаться, что сил терпеть нет и хочется разодрать его в кровавые ошметки, лишь бы...

— Сыно-ок, — у мамы голос слезливый, и я отчётливо знаю, что это значит: она пьяна.

В другое время она меня «сынок» не зовёт. Она вообще смотрит сквозь меня. А иногда, если взгляд её касается всё же моего лица, она смотрит с нежностью, от которой моё сердце каждый раз хочет ей поверить. Но нежность длится не долго, она вспоминает, что я не её любимый Михаэль, я не он. Я всего лишь второй сын. Всего лишь Фредо. И то, что у меня то же лицо, это кара для неё и для меня. Это пытка.

Она вспоминает, и нежности нет. Есть лишь отвращение, а если она пьяна — ярость. Сначала её было немного, лишь в раздражённом взгляде плескалось, напоминало: я Фредо, а не Михаэль! Потом было грубое:

— Чего смотришь?

Потом подзатыльник. Я не должен забывать, как виноват в том, что я не тот сын.

— Дора, — осторожно звал отец, — опомнись!

— А что он смотрит? — мама плакала. Потом перестала плакать, стыда в ней оставалось всё меньше, а ярость вытесняла. Я жил, а Михаэль нет. Должно было быть наоборот.

Но сейчас моё сердце пропускает удар. Эта женщина едва-едва стоит на ногах, но зовёт меня. Нет, не меня, конечно, а Михаэля во мне, в моём лице, которое снова зудит. И всё же я откликаюсь:

— Мам... мамочка?

Я не зову её так давно. Не знаю даже — звал ли вообще. Михаэль звал. Он всегда к ней ластился, всегда обнимал и всегда говорил о том, как любит маму и папу. Но я не умел так. Слова казались мне нелепыми и чужими, и пока звучал голос Михаэля, в них не было смысла. Теперь, кажется, был. Но оставалась проблема — мой голос был им не нужен.

— Я люблю тебя, мама, — однажды выдал я, и мама вздрогнула, замерла, не замечая, как опасно наклонилась чашка в её руках. Я выжидал минуту, чтобы не отвлечь её, чтобы не разорвать её дела, её мыслей и всё равно оказался не прав.

Она смотрела на меня с ужасом, будто бы я сказал, что убил соседского кота, не меньше, а после дрожащим голосом ответила:

— Иди...иди в свою комнату.

Потом она плакала, а я зарёкся говорить чужие, нелепые слова.

Но сейчас-то, сейчас?..

— Сынок! Сынок мой родной! — она тяжело падает рядом со мной, я чувствую, как от неё несёт алкоголем. Но сейчас я люблю этот запах. И её люблю. Несмотря на всё. Вопреки всему.

Она обнимает меня. Её руки совсем не те, какие были прежде. Они дрожат и ещё почему-то кажутся мне старыми. Но плевать — терплю. Ради этого стоило выдержать долгие часы в коридоре, таясь от бесконечных их гостей.

— Что же ты на пороге-то? — у мамы заботливый голос. Моё сердце пропускает новый удар. Я знаю, что нельзя поддаваться и нельзя верить этим её приступам любви, потому что они не мне, а Михаэлю! Но я поддаюсь и даже лицо успокаивается, не чешется и не идёт волдырями, природу которых не объяснил пока ни педиатр, ни аллерголог, и с которыми не справились ни мази, ни таблетки, которые мне покупает отец.

— Замерз? Голоден? — она отнимает меня от объятий и мне кажется, что я тону без её тепла. Сейчас по моему лицу уже нет самых отвратительных волдырей, остались лишь по чуть-чуть на подбородке и на

щеке, но я знаю — опять пойдут. Потому что это не моё лицо. Это лицо Михаэля. И так будет.

И я ненавижу его в себе.

Взгляд у мамы тяжелеет, я даже не успеваю ответить. Проходит муть хмельного поила, сменяется ожесточением, а я с ужасом понимаю, что опять попался! Я обещал себе, что больше не поддамся ей, не поведу на её ласку, потому что она не для меня, но всё-таки опять, опять!

— Ты-ы-ы...— она как-то особенно выделяет это проклятое «ы», и лицо её меняется, словно бы оплавляється. Каждая чёрточка словно бы провисает и почему-то напоминает мне оплавленную свечу.

Я пытаюсь вырваться из её рук, вскакиваю, но что-то задеваю в полумраке коридора, грохочет...

— Ты! — она зла. Не знаю на кого больше — на меня или на себя. Но мне неинтересно. Я знаю, что виноват.

Всегда буду виноват в том, что я не он. Не тот сын.

— Дора! — отец здесь. От него когда-то была ещё защита, была ещё надежда, но теперь он не сражается больше. Всё, что он может делать — это следить за тем, чтобы у меня была одежда и учебники, а ещё таблетки. Я не люблю школу, но она лучше дома, хотя и там я чувствую, что я Михаэль.

Или Фредо.

Иногда я сам не знаю, кто из нас двоих точно утонул в тот день, а кто остался доживать. Мы были похожи, всегда похожи внешне, но на этом всё сходство кончалось. Для мамы уж точно. И теперь оставалось одно лицо, одно проклятое зудящее лицо...

Чтобы уйти к себе, забиться в свою комнату и спрятаться, мне надо было обойти маму. Я думал, что мне удастся, но всё же не удалось.

— Как ты смеешь?! — её вопль беспощаден и особенно громок. Мне кажется, что моя голова лопнет от её вопля и придёт долгожданное облегчение всем моим страданиям. Но нет, не приходит этого облегчения и вообще ничего уже не приходит.

Даже ощущение жжения в шее, когда она хватает меня за горло, притупляется.

— Дора! — голос отца блекнет в шуме. Мне всё равно. Мне уже навсегда всё равно. Если мама меня сейчас задушит — это тоже будет неплохо, она потеряет отличие между сыновьями — они оба лягут в могилу и ей больше не надо будет нас различать. Мы снова сделаемся похожи.

Мне и самому приходила эта мысль в голову. Я и сам подумывал о том, как всё исправить, как всё изменить.

Но страх останавливал. Страх того, что Михаэль, встретив меня там, спросит:

— Как ты мог? Мы же братья! Как ты мог меня утопить?

Бабушка говорила, что бог видит всё. Если это так, то всё, что со мной происходит, справедливо. Я хотел, очень хотел, чтобы мама меня любила. Я не мог говорить как Михаэль, не мог выдавать себя за него, но решил, что если его не станет...

Но она возненавидела меня, возненавидел наше с ним лицо. Моё лицо, похожее на лицо Михаэля, закреплённое на лице Фредо. Всего лишь Фредо. Не того сына.

— Дора! Дора! — серая пелена расступается вопреки моему желанию, расходится, точно разрывает её кто, и чьи-то руки (запоздало соображаю, что руки моего отца), дёргают меня вверх, испуганно помогают встать. — Ну же, ну? Ну, пожалуйста? Дора, уймись!

Мама рыдает, сидя на полу. Её лицо закрыто её же ладонями. Я различаю её в пелене разорванной серости, но ничего не могу сделать. Я ничего не хочу сделать. Мне нравится как она плачет. Я знаю, что это неправильно, но мне нравится. Шея болит. Шея не даёт мне её пожать.

— Иди, иди к себе...— шепчет отец и прячет от меня взгляд. — Мама просто выпила. Много выпила.

— Он не заслуживает...— мама подаёт голос, я знаю, что эти слова она давно в себе копила, готовила, чтобы выплеснуть. В дни бодрости, когда ещё можно было справляться, она носила их в себе, гнала их от себя, но дни бодрости проходят быстро, а в последнее время их всё меньше. — Это всё он, он!

— Дора! — отец повышает голос. Он не знает, что ещё ей сказать и только пытается заставить её замолчать. Пусть молчит и носит в себе тюрьму. Но молчит!

Мне становится обидно за неё. Да, она схватила меня, да, шея ещё спорит с моим милосердием, но он должен понять, как ей тяжело видеть меня.

— Я не сержусь, мама, — тихо говорю я и понимаю, что я не лгу. Я правда не лгу. Я не злюсь. Её ярость — это меньшее из того, что я заслуживаю, потому что именно я лишил её сына. Любимого сына. И пусть этого никто кроме нас с Михаэлем не знает, я не злюсь. У неё есть все права поступать так со мной.

Она вздрагивает, когда я называю её «мамой», и на какой-то дурацкий миг мне кажется, что сейчас всё изменится, она встанет, и будет счастливо смеяться. Но она только качает головой:

— Да мне всё равно.

Её взгляд пуст. Сейчас она видит чужое лицо, не лицо Михаэля.

— Дора, тебе пора спать, ты пьяна. Прости маму, — отец пытается исправить ситуацию. Он давно бессилён, но он всё ещё пытается что-то сделать.

Я молчу. В молчании куда больше смысла, чем в словах.

— Я пойду, — соглашается мама и отпихивает его руку, — но это ничего не изменит. На его месте должен был быть ты!

Она тычет в меня пальцем — неаккуратным, шершавым, дрожащим пальцем. Но она не сообщает мне ничего нового. Я и сам знаю, что я должен был быть на месте Михаэля. В конце концов, он лучше — он бы меня никогда не утопил.

— Пошёл ты! — она отпихивает отца снова, когда он силится ей помочь, при этом чуть не падает, но всё же идёт, идёт по коридору, словно она ещё может идти прямо и твёрдо, словно её жизнь стабильна и полна всего прежнего и устойчивого.

Отец смотрит на меня, ищет поддержки.

— Всё образуется, сынок, — говорит он неуверенно. — Да? Всё же хорошо?

Я не отвечаю. Я иду прочь, к себе. Я не пытаюсь сделать вид, что иду твёрдо и прямо, я иду слабо и дрожу, дыхание всё ещё не может восстановиться. Но я хотя бы иду. И это точно я. У Михаэля была другая походка.

Он барахтался долго. Он был сильнее, и мне казалось, что он никогда уже не утонет. Но понемногу его взгляд становился беззащитным, а движения всё слабее. Кто придумал, что человек, который тонет, способен кричать? Это не так. Человек, который тонет, ни на что не способен. Он не может кричать — он вообще забывает про то, что есть такое слово как «крик».

Михаэль тонул очень долго — так мне казалось. И всё во мне рвалось, не имея силы определиться — хочу я, чтобы он утонул, или не хочу?

Я хотел. Но чтобы он утонул не навсегда. Но ведь так не бывает и смерть, приходящая раз, остаётся с человеком навсегда.

Я выбрал тогда. А теперь в наказание за этот выбор, за самую суть преступления мне осталось наше общее лицо.

Лицо, которое моя мать ненавидит и любит.

Лицо, которое я не заслужил.

Лицо, которое я осквернил тем, что к нему прилагается от меня.

Всё дело в нём, я это знаю точно. Я никогда не была так в чём-то уверен, как в этом. Поэтому я встаю с кровати — меня качает от ужаса, но это ничего. Ужас поглощается ужасом.

Я долго смотрю на нас с Михаэлем в зеркало. Оно мутное, мама раньше ругалась, когда мы так его запускали, но сейчас ей плевать и зеркалу, как мне кажется, так лучше и удобнее избегать моего взгляда.

Или не ему моего. А мне его. То есть своего, то есть...

Я трогаю своё лицо и не узнаю его. Вот мой нос, вот мои губы, вот мои воспалённые щёки. Я знаю, почему у меня всё время зудится и чешется кожа, почему идёт волдырями. Я знаю это, хотя не заканчивал университетов. Просто это не моё лицо. Вот и вся история.

Это не моё лицо. И я не имею права его носить. Оно принадлежит другому, нужному и правильному сыну. Михаэлю. Так мы все это знали уже давно, так это нас связало общей тайной. И если не будет этого лица, мама не будет видеть во мне Михаэля.

Я не тот сын. Но у меня его лицо. Это ли не повод для того, чтобы меня ненавидеть?

Я не тот сын и пытался взять не своё. Меня не любила мама так, как Михаэля, а я не понял и попытался забрать, попытался стать одним. И теперь я должен вернуть всё так как должно бы и быть.

Я иду по комнате. Шаги мои, но движения вроде бы нет. Выхожу в коридор. В одной из комнат всё ещё идёт веселье. Я слышу отца — в отсутствии матери он всегда становится веселее и разговорчивее, значит, мама так и ушла к себе.

Наверное, плачет, не зная, что сейчас я всё закончу для нас с нею, что всё верну на свои места.

Пройти коридор — это быстро, если тебя на выходе ждёт что-то хорошее. Но он кажется мне очень длинным, потому что я знаю — будет больно. Но я заслужил эту боль. Я всё это заслужил, просто потому что я Фредо. Фредо, не Михаэль!

Я иду на кухню, тут как всегда в дни печали грязно. Я уже и не помню нашей светлой кухоньки, где мы так все весело казались друг другу счастливой и дружной семьёй, где нас было двое и где мама старалась нас не разделять друг от друга в своих мыслях.

Хотя не получалось. Я пытался винить её за это, и не смог. Потом пытался винить отца, за то, что он не полюбил меня — ненужного и не сгладил углы, не стёр различий, не заштопал пропасти.

И тоже не смог. Мой отец никого не любил. Даже себя, иначе бы не вливал в себя всего дешевого пойла, чтобы сделать вид, что ему весело.

Нож сам скользит в руку. Мой взгляд находит его движение ещё до того, как мысль сообразит, что это и есть нож! Он грязный, как, наверное, и всё в этой кухоньке, он липкий. И даже мне противно держать его в руках.

Я ополаскиваю лезвие, дрожащими пальцами, точно так дрожат руки и у моей матери, проверяю лезвие. Для тела грубовато, но для лица? Авось сойдёт. Я хочу надеяться на это.

Самое сложное начать. В замыленном от рук и закопченном от грязи чайнике я вижу мутное своё отражение и со смехом успеваю себе напомнить, что оно не моё. Я его не заслужил. Я не тот сын.

Отражение согласно. В грязи чайника оно особенно уродливо и соблазн разодрать его всё выше.

— Я не Михаэль, — напоминаю я себе, собираясь с духом.

Они должны будут простить меня. Я ведь осознаю, что это не он, а всего лишь я, всего лишь не тот сын! Они должны простить меня, хотя не знают, что прощения мне нет, что я сам уменьшил два наших лица, перекроив их в одно — общее и чужое.

Ненавистное и любимое для матери.

Я не Михаэль, и я должен быть наказан за это. я не он. Я утопил своего брата за то, что он был другим, за то, что его любили больше, и за то, что меня самого любили меньше. Это чувствовалось. Это всегда лежало между нами и ширилось с каждым годом.

Михаэль лучший ученик класса, активный участник общественной жизни школы, он поёт в хоре и занимает первое место в городском соревновании по бегу. У него есть мечты и он гордо говорит со взрослыми, пока мама с любовью освобождает ему под будущие награды полочку.

А я Фредо. Троечник, без чётких планов, не попавший ни то что в школьный хор, но даже в школьную библиотеку меня не сразу записали за учебные долги. я не умею быстро бегать. Я вообще, если подумать, ничего не умею.

И от того я отчётливо не заслуживаю носить этого лица. Оно стало прилипчивой маской и зудит так, словно его посадили на железные скобы, и скобы эти загнили.

Взять нож всегда страшно. Даже для братоубийцы это страшно, но я беру крепко. Через пару минут я не только его возьму, я себе и срежу всё то, что было нашим, а стало чужим.

Первый порез идёт криво и больно, но хотя бы идёт, и, хотя рука дрожит, в мутном чайнике я вижу кровь на не своём лице. Это ничего — я заслуживаю, честно. Я вытерплю. Мой брат захлебнулся, а я-то остаюсь жить. Просто отделяю последнюю нашу общую часть от себя.

Руки дрожат, я смотрю на них — они почему-то краснеют, но не от крови, а от жара, который приливает к ним. Надо продолжать, надо.

Позади меня движение. Мама. Пришла, стоит, смотрит на меня безумно и дико, словно впервые видит. Ничего, я смогу ей объяснить, что она больше не увидит во мне Михаэля, что я...

Она делает неуверенный шаг ко мне, её ноги подкашиваются, она тяжело и грубо падает на колени, протягивает ко мне руки и чужим, не своим звонким голосом зовёт:

— Фредо!



ИСТОРИЯ

Виктор Королев
Екатеринбург

ПАКО И ПОЛО

Действующие лица:

Франсиско Франко (1892–1975) — каудильо Испании (1939–1975), генералиссимус.

Кармен Поло (1900–1988) — супруга испанского диктатора Франко.

Альфонсо XIII (1886–1941) — король Испании (до 1931 года).

Виктория Евгения Эна (1887–1969) — принцесса Баттенбергская, супруга Альфонсо XIII, бабушка испанского короля Хуана Карла I.

Место действия — Испания.

Время действия — начало XX века.

Автор (из-за кулис): Испания не воевала в Первой мировой войне. Уже 7 августа 1914 года король Альфонсо XIII подписал декрет, который обязал всех подданных соблюдать строгий нейтралитет. Но это совсем не означает, что в Испании не происходило событий, достойных внимания. Пусть не на военном фронте, а на личном — но их было немало в эти годы...

ПОЛНЫЙ титул испанского короля Альфонсо XIII включал в себя около полусотни корон дальних и близких родственников. Одних только королевских больше двадцати, да ещё герцогские, княжеские и прочие. В нём объединились две древнейшие династии — Бурбоны и Габсбурги, он был самым родовитым человеком на планете, в фамильном древе его отметились все монархи Европы за тысячу лет.

Близкое родство с принцессами любого царственного двора в Европе помешало ему в будущем иметь здоровых детей (двое сыновей из четырёх страдали гемофилией, а один родился глухонемым), но в семье его сразу прописались любовь и счастье. Так получилось, что поехал он в Англию делать предложение той, которая дома была выбрана матерью, а на балу вдруг увидел другую — ту, от которой забилося сердце.

Виктория Евгения (близкие звали её по третьему имени — Эна), принцесса из рода Баттенбергов, жила в Лондоне, считалась любимой внучкой и личным секретарём английской королевы Виктории. Эна была без пяти минут обручена: двоюродный брат русского царя Николая II, великий князь Борис Владимирович сделал ей предложение и получил согласие. Но тут началась русско-японская война, и он уехал на Дальний Восток. Она ждала, а он, как потом стало известно, начал обольщать княгиню Гагарину, которая работала там сестрой милосердия в госпитале. Ухаживал бесцеремонно, по-солдатски, за что получил пощёчину от княгини.

Гагарина пожаловалась ещё и главнокомандующему. Генерал Куропаткин вызвал донжуана и сделал ему замечание. Тот обиделся:

— Вы забываете, генерал, что говорите с великим князем!

Куропаткин взорвался:

— Молчать, руки по швам!

А царственный родственник выхватил револьвер и выстрелил в командующего. Попал в руку. Куропаткин запросил государя, как поступить. Николай II ответил кратко: «Поступить по закону». Следовало расстрелять, но составили комиссию, признали ненормальным, отправили в столицу...

Узнав об этой некрасивой истории, принцесса Баттенбергская тотчас отказала великому князю. А испанскому королю Альфонсо XIII дала согласие. Свадьбу назначили на конец мая 1906 года.

Ему только-только исполнилось двадцать. Король пишет в своём дневнике: «Мне досталась страна, разоренная прошедшими войнами, войско с отсталой организацией, флот без кораблей, поруганные знамена, губернаторы и алькальды, которые не исполняют закона». Он полон сил и энергии. Он пытается поднять страну, несмотря на захват Америкой вчерашних испанских колоний. И каждый новый его указ испанцы встречают с радостью и надеждой. Любовь к королю растёт ни по дням, а по часам. И вот наступил этот день, 29 мая.

Тысячи гостей со всего света съехались на свадебную церемонию. Весь Мадрид был украшен цветами и флагами. После венчания кортеж из сотен экипажей двинулся к королевскому дворцу. В центре длинной кавалькады двигалась белая карета новобрачных. На тротуарах, из окон домов им кричали здравицы радостные люди. Никто не обратил внимания на молодого человека, бросившего с балкона огромный букет цветов.

Букет летел прямо в середину королевского экипажа, но зацепился внизу за провод, кувыркнулся и упал на мостовую рядом с каретой. Раздался оглушительный взрыв. Гвардейцев охраны, мирных зевак, гостей и друзей разметало, разорвало. Бомба чудовищной силы убила двадцать шесть человек, изувечила более ста.

Новобрачные остались целы, только подвенечное платье восемнадцатилетней королевы было густо залито чьей-то кровью. Она сидела бледная, но спокойная. Альфонсо наклонился спросить, всё ли с ней в порядке.

— Я не ранена, не беспокойтесь обо мне! — чётко прошептала она. — Я знаю, как должна себя вести королева. Пожалуйста, позаботьтесь о раненых...

Потом Эна напишет в письме подруге: «Наша свадьба — это полный кошмар, до сих пор содрогаюсь, вспоминая о том дне. В первый момент мне даже не было страшно. Осознала весь ужас происходящего, только когда переходила в другую карету и увидела пострадавших, тогда я поняла, в какой мы были опасности. Мой бедный муж видел своего лучшего друга, молодого офицера, мертвым и искалеченным. Сейчас, когда мы вместе в старом дворце в горах, всё это кажется нам дурным сном...»

Взрывом сорвало с Альфонсо парадную фуражку, украшенную перьями. Какой-то мальчишка в кадетском мундире поднял фуражку,

протянул королю. Мундир у парня тоже весь забрызган кровью, но ранен он не был. Лицо мальчика, его большие глаза и оттопыренные уши, король запомнил...

Мальчика звали Франсиско — в Испании всех мальчиков с таким именем издавна называют ласково Пако. Он заканчивал военно-морскую школу, собирался и дальше следовать семейной традиции — стать известным морским офицером: дед и отец его дослужились до интендант-генералов.

Маленький рост мешал Пако лишь в одном: у сверстников уже были знакомые девушки на примете, а у него нет. Кто-то из друзей сказал, что на флоте найти невесту сложнее, чем в инфантерии, и звания там быстрее дают, и в море надолго уходить не надо. Так Франсиско Франко оказался в пехотной академии в Толедо. Окровавленный кадетский мундир, тщательно отстиранный матерью, остался дома.

Спустя три года 17-летний младший лейтенант Франко был направлен в захолустный полк на самую крайнюю точку северо-запада страны. Это на берегу, можно сапоги в океане мочить хоть каждый день. Но перспектив — никаких. Поэтому через год Пако добровольно вступает в колониальные войска и попадает в Испанское Марокко. Вскоре получает лейтенантские погоны и первую награду — «Военный крест за заслуги».

На новогоднем балу сестра знакомит его со своей подругой, и он тут же влюбляется по уши. Она — аристократка, дочь полковника и племянница генерала, выгоднее партии невозможно придумать. Лейтенант шлёт ей записки, но девушка не отвечает. Он всё настойчивее, она всё откровеннее:

— Пако, ты хороший человек. Но молчаливый и слишком серьёзный. Вдобавок не умеешь танцевать. Так что оставь меня в покое!..

Расстроенный юноша рвётся в бой, туда, где опаснее. В Европе полыхает война, Испания в ней не участвует, но желающие всегда найдут такое место, где можно геройски погибнуть. Звание капитана он получает заслуженно, пули пока обходят его стороной. Но бесконечно так продолжаться не может.

Летом 1916-го он поднял своих рослых марокканцев в атаку, но тут же получил огнестрельное ранение в живот. Медики не решились отправлять его в тыл, настолько серьёзной казалась ситуация. Выживет ли офицер, сказать они не могли, о чём и доложили командованию. Там решили просто: представили храбреца к внеочередному званию. В столице засомневались, но в конце концов утвердили. Когда герой пришёл в себя, сказали, что ходатайствовал за него сам король. Пако

сразу пошёл на поправку. Так 24-летний Франсиско Франко стал самым молодым майором в испанской армии.

В Овьедо, куда его отправили для поправки здоровья, друзей себе не обнаружил: все местные офицеры были старше чуть ли не вдвое, обзывали его за глаза выскочкой и коротышкой. Но он старался не обращать на это внимания, тем более что на местном празднике увидел интересную девушку.

Красотой она не отличалась, зато чем-то походила на его мать. А главное — Кармен Поло была дочерью богатых родителей, предки её происходили из так называемых «индианос» и сколотили солидное состояние в Америке. Девушке не исполнилось ещё семнадцати, и замуж она не собиралась. Родители и вовсе ошетинились, когда он появился возле их дома: слишком низенький, слишком бедненький. Прогнать совсем не смели — мешали боевые награды на его груди.

Сестры шептали Кармен: «Опять твой воробышек прискакал». И она подходила к открытому окну, напевала:

— «У любви, как у пташки, крылья, её нельзя никак поймать...»

Дразнила майора. А тот продолжал настойчиво ухаживать. Посылал ей открытки с амурами, нашёл добровольцев, согласившихся за плату стать почтальонами, они приносили ей любовные записки под лентами своих шляп. Однажды даже вручили ему ответ — краткий, ничего не значащий и не обещающий ничего.

Отпуск по ранению подходил к концу, крепость Кармен Поло так и не пала. Устав от безнадёги, расстроенный Пако уехал в Эдь-Ферроль, где начиналась его военная служба, там случайно попал на городской праздник — шёл конкурс красоты — и мгновенно влюбился в победительницу. Подошёл к ней, представился.

— Пако был сама концентрированная серьёзность, — спустя годы писала местная красавица. — Имел таинственный вид, говорил мало. Ещё помню, что руки у него всегда были холодные...

Больше ей запомнилась тяжёлая рука папы.

— Лишь только начал складываться этот скоротечный роман, как отец увидел нас, увёл меня домой и вlepил такую пощёчину, какую я никогда больше не получала...

Кругом облом. Не выходит сватовство майора. Ну, скажите, что делать ему? Не ждать же, когда королевские дочери подрастут! Может, всё-таки попробовать ещё раз с этой недоступницей Кармен Поло?

Он вернулся в Овьедо. На последние деньги купил саврасого коня, отмыл его добела и наутро в парадной форме отправился верхом к дому «индианос».

А вот это сработало! Пока ехал, слышал, что сзади шепчутся прохожие:

— Кто это? Вице-король Индии? Неужели?!

Первый раз его пустили за порог (без коня, разумеется). В заготовленной и перед зеркалом отрепетированной речи был он велеречив и перспективен. Пако не забыл упомянуть, что знаком с королём с кадетских лет, что Его Величество лично ходатайствовал о досрочном присвоении ему майорского звания. Слушали с нескрываемым интересом, имя всенародно любимого Альфонсо XIII перевесило чашу сомнений. Визит можно считать обручением, Пако официально признан женихом Поло.

Но назначенное на осень бракосочетание пришлось отложить: майор Франко снова выезжает в Марокко, теперь уже как офицер Иностранного легиона. «Свадьба подождёт, там всё улажено, пташка поймана, — успокаивает он сам себя. — А на фронте ещё есть возможность отличиться...»

Первая мировая война год как закончилась. Но в Африке то тут то там вспыхивают очаги, никак не хочет «чёрный континент» быть колониальным. И армия должна показать, что она сила. Командирской рукой майор Франко наводит жёсткий порядок:

— Я не потерплю здесь ни баб, ни попоек, ни сборищ!

Довольно долго длилась та военная кампания. Вырвавшись на время в Овьедо, он предлагает быстро обвенчаться, но в богатом доме «индианос» потребовали вдруг ответа:

— Обещано нам было много, а что изменилось за два года? И сколько можно ждать? Невеста уже плачет...

Потребовали доказать, что он не фантазёр и знакомство с королём не липовое. И майор Франко пишет письмо в столицу, во дворец. Так, мол, и так — «безумно рад, что много лет назад Господь на Вашей свадьбе сохранил Вам и супруге жизнь, а стране — любимого короля с любимой королевой. Я, помнится, тогда Вам шляпу подал, всю в крови». И дальше всё в таком же духе: «Теперь мечтаю сам жениться и на коленах Вас прошу посажённым стать отцом на нашей свадьбе...»

И подписался со всеми регалиями, не забыв упомянуть, что стал майором досрочно, с благословения Его Величества.

Ответ пришёл довольно быстро. Ура-а-а! Король согласился быть посажённым отцом! С этим фантастическим известием Пако помчался к Поло — и всё мгновенно закрутилось.

Город был поражён размахом столькой шикарной свадьбы. Толпы людей встречали молодых цветами и аплодисментами на всех улицах,

по которым проезжал свадебный кортеж. Белую карету новобрачных окружали стайки ребятишек, радостно кричащих:

— Пако и Поло, счастье намололо, тили-тили тесто, жених и невеста!

Гордый жених бросал им монеты и конфеты. Поражённая и счастливая Кармен потом напишет в своих воспоминаниях: «Мне казалось, что я вижу фантастический сон или читаю прекрасный роман о себе!»

Король сам не присутствовал — не исключено, что напоминание о жутком взрыве на собственной свадьбе не слишком его порадовало. На торжественной церемонии Его Величество представлял местный генерал-губернатор. А подарки жених получил поистине царские: 40-дневный отпуск, приглашение на приём во дворце, звание придворного камергера и... воинский чин подполковника, оформленный задним числом.

Франсиско Франко счастливо улыбался. Он догадывался, что очень скоро станет генералом, самым молодым в Испании. Это действительно случится через три года. А ещё через десять лет он присвоит сам себе звание генералиссимуса — выше уже только Господь.

Автор (*из-за кулис*): После победы над республиканцами Франко объявит себя каудильо — «пожизненным верховным правителем Испании, ответственным только перед Богом и историей». Он восстановил монархию, но сам «пошёл в другую сторону» и останется в истории диктатором. Кармен переживёт его на тринадцать лет, до конца скрывая, что любовь к мужу у неё так и не проснулась. А король Альфонсо XIII умер в изгнании. Мало кто знает, что он — единственный монарх, предложивший политическое убежище российскому императору Николаю II с семьёй. Новая власть согласилась обсудить условия: что, как, где и почём. Весной 1918 года представительная делегация испанского короля прибыла в Москву. Переговоры шли до осени. Послов убеждали, что вот-вот всё решится, хотя на самом деле русский царь с семейством уже давно был расстрелян. Обманули...

ЖИЗНЬ

Андрей Мансуров

Ташкент



ДОГОВОР

Все имена, названия, и события вымышлены. Любые совпадения являются случайными.

— Нет, базара нет, Анатолий Борисович, я тебя уважаю. Ты молодец, раскрутился чётко, хватка есть, деньги зарабатываешь конкретно и стабильно... На хлеб с маслом и чёрной икрой хватает. Но тут, мне кажется, ты всё-таки дал маху! — мрачно хмурящийся «коллега» по бизнесу, а, точнее говоря — закоренелый конкурент и «типа — друг» Анатолия, Михаил Давидович, невежливо ткнул пальцем в наполовину построенное здание. Монтируемое из расставленных вокруг стройплощадки отдельных частей. Тщательно пронумерованных при разборе, и сейчас не менее тщательно и аккуратно собираемое обратно, словно пазл, или огромное лего, бригадой тех самых высококвалифицированных рабочих и инженеров, которые его до этого и разобрали.

С пригорка, на котором стояли «боссы», открывалась вполне конкретная картина: всё организовано чётко и грамотно, логистика продумана: везде — подъездные асфальтированные дороги, ни пыли, ни слякоти. Под навесами — штабеля строевого леса, станки для резки и обработки камня и кирпича, верстаки для резки стекла. Всё жужжит, постукивает, шумит, грохочет — это только что привезли самосвал с гравием: для портативной бетономешалки, размещённой, как и мешки с цементом, в огороженном закутке под ещё одним навесом...

На пригорке же мирно жужжали пчёлки, и звенела мошкара, так что приходилось отмахиваться. Над головой, вероятно, чирикали птички — впрочем, почему — вероятно? — их было отлично слышно, когда распиловочный станок выключали.

Мужчины казались так увлечены «производственным, хорошо организованным процессом», что даже не оглядывались на свои шикарные авто, стоявшие позади, на обочине подъездной дороги: у Михаила Давидовича — тюнингованный «Бентли» с затенёнными стёклами, у Анатолия Борисовича — «Альфа-Ромео» трёхлетнего выпуска.

Михаилу Давидовичу было далеко за пятьдесят, и он считал, что может сказать прямо в лицо сорокадвухлетнему «коллеге» то, что реально думает. А не то, что талдычили тому все более-менее от Анатолия зависящие, и не желающие портить отношения, подчинённые и просто — коллеги-бизнесмены. И так называемые «друзья».

Аккуратно, по-армейски, стриженные смоляные (Анатолий был склонен верить злым языкам, утверждавшим, что проступившую седину его визави тщательно красит!) волосы Михаила Давидовича на майском ветерке не колыхались: были слишком коротки. Ну а Анатолий вообще брил голову а ля Вин Дизель, и сейчас его гладкую и круглую макушку приятно холодило этим самым ветерком. Возможно, он считал, что бритый череп придаёт ему «брутальности», особенно в комплекте с накачанной спортивной фигурой, но спросить почему-то до сих пор никто так и не отважился.

— Согласен, выглядеть это может глупо. И непрактично. По «пацански». Как было в лихие девяностые. Но! — Анатолий повернул лицо к Михаилу Давидовичу, весело и открыто улыбнувшись, — Ни вы, Михаил Давидович, ни наш босс, — так по старой памяти Анатолий называл принятого сейчас на работу в «самые» верха, поскольку доказал делом, что прекрасно разбирается в специфике работы, и теперь в звании министра заправлявшего целой отраслью промышленности, ещё более старшего коллегу — Леонида Сергеевича, — не знаете, для чего мне это нужно *на самом деле!* — лицо Анатолия Борисовича снова стало вполне серьёзным.

Михаил Давидович позволил себе фыркнуть:

— Господь с тобой, Анатоль! Чего тут может быть непонятного?! Решил ты пустить людям пыль в глаза! Проще говоря — выпендриться! Доказать, что уже настолько богат, что можешь прикупить в ...раных Франциях-Швейцариях древний фамильный замок, и перевезти его целиком сюда, в Подмосковье. — Михаил Давидович позволил себе теперь хохотнуть, — На твой так называемый «дачный» участок. Поскольку жить там, в заграницах, наслаждаясь роскошью всяких разных Ривьер, Канн, Монако, и прочих, нашему брату *теперь* проблематично!

Небось, одна перевозка-разборка и теперешняя сборка обошлись тебе дороже, чем сам чёртов «фамильный»!

— Да уж недёшево, недёшево. А если учесть и *специфическую* доработку!.. Хо-хо! — Анатолий позволил себе скупое и ироничное хохотнуть, — Однако ты, разумеется, прав. В том, что решил я *в том числе* — и пыль в глаза пустить. Но основная цель всё же — не в этом!

— Просветишь? — Михаил Давидович мог позволить себе спросить и в лоб, поскольку никак материально, и в плане бизнеса от Анатолия не зависел, — Или... Коммерческая тайна?

— Да нет, теперь-то, в-принципе, не такая уж и тайна. Можно начинать рекламировать. — Михаилу Давидовичу кровь бросилась в лицо: он прекрасно знал, что за его спиной Анатолий так его и преподносит: «нельзя в его присутствии сказать, что собираешься закупить эшелон туалетной бумаги, чтоб завтра она повсеместно не подорожала!» — Всё просто. Если набрать в чёртовом Гугл-е про этот самый «Шато-д-Суар-он-Луара-ле-пон», появляется куча его фоток. И — его история. Возведения и, так сказать, «эксплуатации». И сразу видим то, что могло бы привлечь массу туристов — красивые старинные, вот именно, интерьеры. И экстерьеры. Фотки комнат внутри, и всего средневекового убранства. Плюс клумбы роскошного цветника.

И, разумеется, история. Предания. Легенды. Жуткие и кровавые!

Правда, когда я сам подъехал на место, удивился. Неприятно.

«Товарный» вид вовсе не соответствовал. Фоткам. Поскольку его владельцы настолько обнищали, и доход от туристов был настолько мал — сооружение было далековато от больших дорог! — что не могли содержать всё в надлежащем виде.

Цветником с клумбами и не пахло. Сам замок — позорище. Крыша начала сильно течь, и проваливаться, уникальная черепица поза-поза-прошлого века попадала и поразбивалась, новую, «идентичную эпохе», никто, конечно, не стелил. Вода потекла. Стропила погнили. Стены — начали растрескиваться, штукатурка — обваливаться, проплешины — плесневеть, перекрытия этажей, и подвалы — проседать.

Да и всё стало портиться. От, как раз, постоянно текущих по стенам потокам дождя. От снегов и морозов. И отсутствия систематического «ухода».

Ну, ты же знаешь: я как раз — профи.

Вначале прошёлся по всей «недвижимости» с мощным фонарём, в перчатках, всё щупал, нюхал... Убил часа четыре, зато сунул нос везде! В самую потаённую лазейку! Заставил отпереть всё то, что было «стыдливо» заперто, и якобы «ключи утеряны!». Заставил найти. Или уж — высадить. Раз *Я* покупаю — имею право и должен знать — всё!

Ну а в процессе, и, особенно, закончив — хмурился, делал вид, что крайне недоволен обманом. И состоянием. Выставленного на продажу основного, распиаренного и ценоопределяющего, строения. И всей усадьбы — там при замке имелись, конечно, дорожки, но вот от клумб

остались лишь заросшие бурьяном проплешины. Двор с хоз. постройками, тоже — обветшавшими, вообще выглядел — жуть!

Словом — купил в два раза дешевле, чем они просили изначально.

— Но ты так и не сказал — на ...рена!

— Нет, сказал. История! А, точнее, та её часть, где говорилось о том, что в подвалах замка второй владелец, сын строителя, имел обыкновение совершать кровавые преступления. Питать врагов. (Этакий Дракула регионального масштаба!) Мучить, «вразумляя», провинившихся вассалов и не выполнивших барщину крестьян. И...

Насиловать девушек.

Тех, кто имел глупость при выполнении этим сюзереном права первой ночи, воротить от Хозяина нос. Морщась. Или даже вообще — рыдать, или — упаси Бог! — сопротивляться. А он — вот ведь извращенец! — любил, когда от него все вот прямо стонали от наслаждения! Типа — самый он первый мачо и крутой трахатель на деревне!

Что мне при осмотре понравилось, (Но о чём я, есс-но, не заикнулся! — что в подвалах даже сохранились эти самые станки и козлы — к которым он велел таких не потрефивших его капризам гордечек привязывать. После чего их имел не только он, но и вся его челядь: а было холуёв-лакеев-стременных-ординарцев и прочего такого у него — немало! Ну а если упёртая жертва и после этого пыжилась и «выступала» — по стенам имелось и много клещей, кнутов, прутьев для каления на огне, пирамиды для насаживания, дыба, и прочие «милые» средневековые приспособления и орудия. Для усмирения норовистых и непокорных. Ну, или уж — для выявления ведьм! (Всё это, кстати, я тоже перевёз! И где нужно было — подреставрировал!)

Так вот. Я наконец подхожу к главному.

По версии историков, магов, и всяких там экстрасенсов, сильные эмоции и предсмертные муки запечатлеваются в камнях и кирпичках. Ну, такая «память стен». Тени всех этих замученных, убитых, и изнасилованных поэтому как раз там, в подвалах, и водятся. Якобы.

А поскольку ты видел, что и ориентировал я замок по сторонам света, как изначально, и котлован вырыл огромный, и основу-подушку из железобетона отлил капитально, и все камни оригинального фундамента уложены так, как было, есть все основания надеяться. Что и стоять это сооружение здесь, у нас, будет веками. И что все те призраки, которые там водились, сохранятся.

И будут выходить по ночам!

Чем не экзотика?

Михаил Давидович, почесав повидавший виды горбатый нос, с торчащими из ноздрей чёрными — из принципа не брил! — волосками, впрочем, незаметными на фоне чёрных же усов, и покачав головой, сплюнул в сердцах:

— Анатолий! Ну что за ...ерня?! Ты за кого меня принимаешь?! За лоха? Или — восторженно-мечтательную гимназистку?! Какие, на ...ер, «призраки»?! «Память стен»? Ха!

Здание на рекламных фотках, согласен, выглядит красиво. Помпезно даже. Но покупать его, и перевозить сюда — только из-за «истории» и призраков — полная ...ерня! А, может, тебе понравились сами комнаты? И жить вам с Мариной и детьми в них будет удобно?

— Нет. Комнаты там *очень* неудобные для проживания. Я не вру: даже в старых добрых хрущёвках жить комфортней! Старая мебель выглядит, конечно, экзотично и эксклюзивно. Пока её не трогаешь руками! Тогда она и скрипит, и не желает открываться. А если уж открывается — то так, что потом не закроешь! (Её, кстати, почти не реставрировал. Хотел сохранить «дух»!) А гобелены вылиняли и выгорели. И — тонкие, как бумага. Коридоры — узкие, и тёмные: потому что вместо окон, которые обращены наружу — бойницы. Сквозняки к тому же постоянные, из-за чёртовых каминов. Так что жить там ни я, ни моя семья — не планируем.

А планируем мы сделать из этого замка — Аттракцион.

И называться он будет — «Ночь в замке с призраками».

И тот, кто захочет попробовать: действительно насладиться «экстримом», то есть — провести там ночь, в одиночестве, и без электрического освещения, при свечах — заплатит немалые деньги!

Чем не выгодное «вложение»? И — недвижимость, красивая, древняя, и престижная, и — доход?

Михаил Давидович довольно долго глядел в невинные и честные глаза «друга»-конкурента. Он действительно пытался *понять*. Говорит ли тот правду, или просто — прикалывается. Осталось понять — зачем?!

Однако глаза Анатолия мог бы запросто попросить в аренду какой-нибудь высокопрофессиональный игрок в покер — ничего в них не отражалось.

Михаил Давидович снова сплюнул, в очередной раз тихо матюкнувшись:

— Уважаю. Умеешь ты навесить лапшу на уши. Так сразу и не скажешь, в чём здесь подвох.

— А нет здесь подвоха, уважаемый Михаил Давидович.

Я действительно планирую месяца через два, когда эти... э-э... Хм. Занудно-педантичные бедолаги закончат, и будет расширена подъездная дорога, провести широкую рекламную кампанию. С видео-экскурсиями, мини-роликами, и комментариями от лучших историков, и телеведущих, типа Сергея Дали с РЕН-ТВ. О том, как я, новый русский бизнесмен, приобрёл и для собственного развлечения, и для организации как музея, так и нового экстремального «Шоу», вроде «Форта Байярд», или — «Павильона ужаса» из Диснейленда, древний замок четырнадцатого века. Разобрал-перевёз-собрал. *Оборудовал.*

И за жизнь и психическое здоровье тех, кто решится «поучаствовать», то есть — действительно, переночевать — не отвечаю. О чём и буду брать с них расписку. Нотариально заверенную.

Нет, правда: я буду брать расписки со всех, кто решится, что за последствия они несут ответственность — сами. Имея в виду всякие там инфаркты, инсульты, «скоропостижные», и т.д. А если они за всю ночь *не* увидят ни разу этих самых призраков — я верну деньги!

И — главное! — у меня там везде, в каждой комнате и коридоре, будут десятки видеокамер с ночным видением, чтоб вести прямой репортаж! Права на трансляцию которого я тоже продам: хотя бы тому же каналу ТНТ. Или СТС. Они такого рода шоу, и про всякие там битвы экстрасенсов, с большим удовольствием показывают. Это сейчас модно: всякого рода экстрим!

В замке же будет дежурить бригада спасателей, пожарных, и медиков — чтоб вмешаться в случае крайней необходимости. И команда диспетчеров будет дежурить у мониторов всю ночь.

И если после этого у меня не будет очередь из желающих переночевать расписана на пару-тройку лет вперёд, или я не подпишу хотя бы годичный контракт с тем же ТНТ — я съем шляпу!

На этот раз Михаил Давидович смотрел в глаза Анатолия ещё дольше. Наконец решил, что тот и не думает шутить. Поскольку сугубо прагматичный и хваткий бизнесмен. А план, вроде, и правда — вполне реальный. С учётом действительно — популярности в последнее время такого рода телепередач. Поскольку спортом и политикой аудитория пресытилась.

Наконец Михаил Давидович сказал:

— Когда твой чёртов замок будет готов — дай знать. И запиши меня — первым в очередь.

Уж больно хочется взглянуть на «призраков». Которых ты — меня не надуришь! — решишь для этого дела соорудить. Или построить. Поскольку голограмму, виртуального призрака, механоида, или ещё чего

такого сейчас сделать — не проблема. Ну, или уж, по-старинке — нарядить кого. Хотя, зная тебя — вряд ли. Ты приверженец «передовых технологий». И новаций.

Ну, или уж потребовать деньги назад, если «расколю» твои хохмы!

— Михаил Давилович. — теперь Анатолий не без интереса смотрел в глаза Михаилу Давидовичу, правда, примерно с тем же результатом, — С каких это пор вы стали завзятым «охотником на привидений»?

— Да вот прямо с этого момента.

— Не хочу вас обманывать. Я кое-чего действительно готовлю. Необычного. Эксклюзивного. Инновационного. Пугающего! А вы — чего греха таить! — не молоды. Не боитесь?

— Боюсь, конечно. Ты — парень ушлый. И изобретательный. Вот и проверю. Насколько.

— Ну, по рукам! — Анатолий протянул ладонь, улыбаясь, словно только что сожрал килограмм этой самой чёрной икры, причём — задаром.

Михаил Давидович крепко руку пожал.

Понимая задним умом, что как-то очень быстро и просто позволил себя...

Подловить!

На простую, в-принципе, чисто «пацанскую» уловку: «А слабо?!»

Спустя пусть не два, а три месяца, «халупа», как невежливо называл её по телефону в беседах с Хозяином Михаил Давидович, была полностью готова. Подъездные временные дороги ликвидировали. Профессиональные ландшафтные дизайнеры сделали аккуратные песчано-гравийные дорожки между шикарными удобренными клумбами причудливой формы, с цветами — словно в настоящем старинном Французском королевском, или, на худой конец — графском, парке. С фонтанами: со всякими сатирами-нимфами. Подъездную асфальтовую дорогу расширили, сделав двухполосной, и теперь усадьба оказалась легкодоступна для туристов со своими машинами. Для туристов же, желающих осмотреть её днём, без «экстрима», чисто как «музей», и не имевших персонального транспорта, из ближайшего райцентра ходил ежечасный автобус.

И нужно признать: теперь усадьба действительно напоминала старинный французский Шато с окружающим его парком. Удачно вписался в интерьер и лес, пусть и из берёзок, на который выходил задний фасад трёхэтажного здания, с двумя крыльями-ответвлениями, и четырьмя башнями. Дворовые хозяйственные постройки «в стиле», и даже

груды валежника у задней стены кухни, смотрелись в интерьере очень органично: реально — четырнадцатый-пятнадцатый век. Эпоха без электричества и газа. Дамы — в кринолинах, мужчины — в лосинах, как это дело обозначил Анатолий Борисович. Словом — «тёмные и «классические» средние века»!

Разумеется, не подкачал и подвал, где теперь выставили все те станки и приспособления, которыми щедро оснастил его сынок строителя. И впечатление они — Михаил Давидович лично убедился! — производили должное. На некоторых даже сохранились потёки чего-то тёмного... И пусть Михаил Давидович и был уверен, что это — морилка, морозец по коже невольно всё равно — !..

Да, посмотреть теперь было на что, и визитёры и посетители начали «экскурсии» ещё до официального открытия. (Анатолий, предвидя такое развитие событий, озаботился нанять несколько профи — для проведения экскурсий.) Контракт же с телевидением, правда, с каналом СТС, он подписал ещё месяц назад.

Михаил Давидович, понимавший, как никто, что если его соперник-конкурент озвучил присутствие призраков и прочих «сюрпризов» по ночам, и поднаторел в пиаре и технических и инновационных моментах, что всё заявленное там будет, тем не менее от своей «идиотской», как её назвала жена Михаила Давидовича, почтенная и сильно располневшая после рождения троих мальчишек, Софико, не отказался. Престиж-с! Назвался груздем — полезай в кузов!

Хотя годы, конечно, брали своё: начала появляться одышка при восхождении даже на третий этаж, и потел он теперь так, что даже иногда приходилось переодевать после работы, или важных совещаний, майку и рубашку.

Так что угрозу действительно — испытать сильный стресс и испуг, когда проявятся подготовленные ухмыляющимся теперь откровенно плотоядно, конкурентом, «призраки», Михаил Давидович более не считал блефом. Но на попятный пойти уже не мог: «Ноблесс облидж». Положение обязывает! Никто ведь за язык не тянул.

Вот и сейчас, когда Анатолий лично сопровождал его в экскурсии по усадьбе, проводимой пожилым и очень солидным экскурсоводом, (Доцентом кафедры истории западной философии, как ещё до её начала просветил радушный Хозяин!) Михаил Давидович улавливал лишь отдельные фрагменты из интересного, нужно признать, и содержательного и колоритного рассказа: мучили думы.

Вот чуяла его расчётливая и прагматичная задница, что подвохи будут!

А самая страшная мысль была: не подстроил ли всё это, начиная с ознакомительного, произошедшего как бы экспромтом, первого представления, его главный конкурент — с одной целью. А именно — действительно напугать, или ещё как-то воздействовать на него, чтоб просто — умер! С перепугу.

Ну, или хотя бы словил инфаркт.

Чтоб технично и спокойно прибрать к загребушим и беспринципным молодым деловым ручкам бизнес одного из главных конкурентов... Потому что Софико вести все эти реально сложные и требующие огромного личного опыта дела — точно не сможет. А мальчишки разъехали, дав отцу однозначно понять: после своих Йелей и Кембриджей они сюда — не вернуться. Давно натурализовались. Приняли гражданство. А старший так и вообще — уже женился...

Отрезанные ломти.

Значит, остаётся только сунуть голову в петлю, и красиво осклабиться. Чего Анатолий и ждёт. Не без вожделения. Знает, что «слово» Михаила Давидовича — «крепче скал Кавказского хребта»!..

В закатном свете стены чёртова Шато выглядели, нужно признать, и солидно, и весьма зловеще. Впрочем, возможно это подсознание Михаила Давидовича делало их таковыми. А так — стены и стены. Кое-где уже даже заботливо укрытые плющом.

Михаил Давидович, всё это время пытавшийся показывать интерес к любезно предоставленной ему бесплатной экскурсии, и изо всех сил пытаясь складно отвечать на вопросы Хозяина, вздохнул с облегчением (Относительным, конечно!) только когда они вошли в малый обеденный Зал, где для них уже был сервирован помпезный ужин при свечах. Настоящих, белого воска. Горевших в чудовищно массивных и высоких канделябрах. Установленных вокруг огромного длинного стола с белоснежной скатертью. И — в светильниках, развешанных по стенам. Ну а электричества, как Анатолий и обещал, не имелось! Даже на «всякий пожарный случай!» Спасатели и врачи должны были в случае чего — бежать с фонарями и ручными прожекторами, а пожарные — ну, свечи же! — с налобными фонарями и ручными и ранцевыми огнетушителями...

— Прошу простить меня за некое... э-э... самоуправство, уважаемый Михаил Давидович. За то, что я взял на себя смелость заказать вам на ужин всё то, что, как я знаю, вы любите. И всегда заказываете у Максима. — ещё б тебе не знать, сволочь такая, подумал Михаил Давидович: ведь ты бывал там со мной раз двадцать! На банкетах по поводу дней рождений, успешных сделок, Нового Года, и прочих Празднова-

ний. Да и желудок с хроническим панкреатитом не позволяет теперь есть ни острого ни жареного.

Повар Анатолия между тем действительно доказал, что прекрасно знаком и со вкусами Михаила Давидовича, и с методикой приготовления блюд «во французском стиле», и, главное — дизайне их расположения на тарелках, так, что запросто получил бы, открой он своё кафе, минимум — три Мишленовских звезды. На замечание сотрапезника, Анатолий, с явным аппетитом поглощавший те же блюда, словоохотливо ответил, что и правда: повара пригласил для сегодняшнего ужина специально — из Канн, и что ресторан, где тот командует на кухне, действительно имеет три звезды.

Вина, разумеется, доставлены оттуда же.

Их качество Михаил Давидович заценил: действительно, самых престижных сортов. И год^{ов}.

Как он прикинул, по самым скромным раскладкам, учитывая «доставку» и оплату работы повара, подвоз ингредиентов для ужина, и всю прочую «требуху», вроде серебряных столовых приборов явно «дореволюционного» производства, персональных лакеев в настоящих livreeх а-ля Людовик Четырнадцатый, стоявших за спиной ужинавших, отлично вышколенных, и бесшумно подносивших-наливавших-убиравших, обошлось это дело его любимому конкуренту под добрую сотню тысяч. И — уж не рублей...

Как говорится, чего не сделаешь, чтоб «закадычный» конкурент отправился к праотцам наилучшим образом «удовлетворённый».

Поэтому, убирая с брюк аккуратно подстеленную туда салфеточку, Михаил Давидович позволил себе заметить:

— Роскошно. Без дураков: потрафил ты, Анатолий Борисович, самым моим изысканным гастрономическим мечтам! Отдельное спасибо повару. Превзошёл всё, что только можно превзойти!

— Рад, что всё удалось. А вот салфеточку пока лучше бы вернуть назад. — по виду Анатолия Борисовича можно было бы сказать, что он действительно доволен произведённым впечатлением, если б только Михаил Давидович не знал, что у того наверняка ещё туз в рукаве, — Потому что теперь — десерт. Штрудель!

Штрудель не уступал всему тому великолепию, что уже услаждало «вкусовые сосочки» Михаила Давидовича. Откинувшись на спинку роскошно-помпезного стула, аналога тех, что имелись в кабинете самого Президента, Михаил Давидович попивал из прозрачной фарфоровой чашки явно из древнего Китая, любимый чай Каркаде, и уже не так скованно, как вначале, осматривал потолки: плафон, где имелась сце-

на охоты: какая-то древне-греческая богиня, вроде Дианы, неслась вслед стаду изящных тонконогих антилоп сквозь лесной пейзаж кисти явно старых фламандских мастеров.

— Прекрасно. Неужели и фреска, — Михаил Давидович кивнул вверх, — оттуда же?

— Нет, разумеется. — Анатолий Борисович чуть хохотнул, — Это мне уже здесь восстановили. Точнее — воспроизвели оригинал. По новой штукатурке. Но уж я позаботился, чтоб работали лучшие специалисты. Те, что занимаются реставрацией шедевров там, в Третьяковке.

Уважение Михаила Давидовича к хозяину возросло бы ещё больше, если б только и так не достигло своего максимума ещё в самом начале, когда радушный Хозяин водил его с экскурсией по зданию.

— Ну а сейчас перейдём-ка мы, если, конечно, вы, уважаемый клиент и гость, не возражаете, в библиотеку. Уж больно мне не терпится «просветить» вас по поводу предстоящей ночи.

— С удовольствием. — всё удовольствие Михаила Давидовича, если честно, сразу пропало, поскольку настороженный до дрожи наблюдатель в его мозгу, не смыкавший глаз ни на минуту, только что не завopil. Что сейчас начнётся главное!

В библиотеке, где действительно имелась пара массивных шкафов с книгами-инкунабулами за стёклами, Анатолий Борисович расположил гостя-клиента на куда более удобном и мягком, чем в обеденном зале, кресле, по другую сторону журнального столика, на котором уже был сервирован чай для гостя, и кофе — для хозяина. После чего Анатолий действительно начал:

— Ну, как вы уже, наверное, догадались, уважаемый «клиент», никого другого я таким ужином угощать не собираюсь.

«Ха! Ещё бы! — подумал про себя Михаил Давидович, — А то никакими деньгами за «шоу» это не компенсировалось бы!..»

— Как и подмешивать что-либо психотропное, или галлюциногенное никому не планирую. Да, в программке, — Анатолий ткнул пальцем в красочный буклет, лежащий на столике перед ними, — обозначен «Ужин при свечах». Для «более глубокого проникновения в атмосферу». Но хоть лакеи и будут прислуживать, но блюда будут самые обычные. Стандартные. Привозные из ближайшего ресторана. Выбранные клиентом заранее по ресторанному же меню. Но!

Тут всегда можно нарваться на принципиального человека. Который как раз, как вначале вы, уважаемый Михаил Давидович, может по-

считать, что мы что-нибудь подмешаем ему в пищу или напитки. Тако-го, чтоб он — соответственно! «Словил глюки». И поест дома.

Михаил Давидович попробовал было возразить, но Анатолий под-нял руку:

— Нет-нет, Михаил Давидович. Вы мужчина вежливый и... Реалист до корней мозгов. Если даже и подумали о чём-то таком — никогда не скажете. Как и не признаетесь в том, что сверкнула у вас такая мысль. Но я даже и не думаю обижаться: ведь этот первое, что приходит в го-лову, когда в проспекте, — снова кивок головой, — указано. Что при-зраки — это наша «фишка». Ну а *как* ещё вызвать галлюцинации?

Ну так вот: нет и ещё раз нет. Мы с командой понимали, что это — наиболее опасный и спорный момент. Потому что полученные таким образом видения будут у каждого — свои. И ещё не факт — что прием-лемые, и нужные *нам*. Поэтому и не планировали что-то действительно — добавлять. Ни в пищу, ни в напитки. Тем более — напитки все по-ставляются в заводской таре: в бутылках.

Да в этом и нет нужды: вы сами скоро убедитесь!

Пока они беседовали, любясь поздним закатом, имевшимся в стрельчато-высоченными окнами, Михаил Давидович не мог не рассматри-вать картину, висевшую в простенке. Вскоре, когда стало совсем уж темно, и кто-то, бесшумно подойдя, зажёл свет: пару канделябров за их спинами, она стала видна куда лучше. И рисунок на ней выступил вполне отчётливо: злобная старая карга, ухмыляющаяся плотоядной ухмылочкой, в лохмотьях, и даже, кажется, при ступе! Ни дать ни взять — баба Яга!

Однако присмотревшись, и склонив голову под другим углом, Миха-ил Давидович обнаружил, что на самом-то деле на картине имеется ми-лая и молодая сравнительно женщина, с букетом полевых цветов, и не-сколько отстранённым от действительности взором: словно погружён-ная в свои мысли.

Он встал.

Подошёл поближе. Склонил голову на одну, затем — на другую сто-рону. Прищурил один глаз, второй...

Старуха никак не желала возвращаться — теперь видна была толь-ко женщина с цветами! Да ещё и «сексуально озабоченная» — как на картинах Грёза!

— А, Михаил Давидович, похоже, на вас тоже — произвело впечат-ление?

— Да. Старуха была омерзительнейшая! Но... Как ты этого добил-ся?!

— Отвечу честно. Никак. Я ничего не добивался. Эта картина — оригинал. То есть — она украшала стены этого замка минимум четырёхста лет. И написал её неизвестный мастер. С хозяйки замка. Дочери одного из многочисленных потомков строителя. И она, пока не вышла замуж, очень даже успешно вела хозяйство, и управляла усадьбой и окружающими её деревнями с вассалами-крестьянами. Но потом вышла замуж, родила наследника, и... Утопилась. В Луаре.

— Хм-м... Неужели муж — бил?

— Нет. Муж был очень достойный рыцарь. Ушёл на войну после рождения первенца, и там его убили.

— А кто же тогда воспитывал наследника?

— Насколько я запомнил пояснения нашего доцента-экскурсовода, сестра хозяйки. И она же была и опекуншей, пока воспитанник не вошёл в возраст и права владения. И управления.

После чего свою тётку приказал замуровать заживо в одном из подземелий. Там сохранилась даже часть кладки этой клетушки, оставшаяся после того, как один из наследников уже этого «доблестного рыцаря» велел расчистить подвалы, и повыбрасывать, или захоронить скелеты. Я приказал всё воспроизвести один в один. Ну, подвалы же вы помните! Как и рассказ нашего друга доцента.

Михаил Давидович, если честно, рассказ слушал вполуха, но признаться в этом!..

Ни за что.

Поэтому он позволил себе вежливо и многозначительно кивнуть.

— Словом, всё то, что воображение в своё время подсказывало уважаемому Алану По, базировалось на вполне реальном материале. Эти старые французские сеньоры... Горазды были на всякие такие штуки. Гестапо отдыхает. Да и Стивен Кинг тоже.

Однако! Никто никого, разумеется, ни пытаться, ни замуровывать не будет! В нашем проспекте сказано, что мы гарантируем клиентам «отсутствие непосредственного контакта». То есть — даже если призрак будет казаться реальным, и материальным, дотронуться до него будет невозможно. Как, впрочем, невозможно будет и избежать — как раз визуального контакта. Ну, вы знаете — иначе мы... Однако, — Анатолий Борисович снова хохотнул, — клиент не имеет права сидеть всё время с закрытыми глазами!

— Да уж. Естественно, нужно быть идиотом, чтоб заплатить деньги, и немалые, и потом сидеть с повязкой на глазах... И там, в проспекте, который я внимательно изучал всю эту неделю, — Михаил Давидович тоже ткнул пальцем в красочный буклет, — в четырёх местах это ого-

ворено. Что если заплативший деньги ничего не увидит, вы вернёте деньги! Эта мысль понятна, Анатолий Борисович. Но вот — ночь, можно сказать, настаёт. И летом она в наших подмосковных широтах — не больше четырёх часов. Примерно с двенадцати до четырёх утра. И как же клиент получит — «полное погружение»?!

— Михаил Давидович. Вы как будто не верите в силу современных технологий. И изобретательность моих специалистов по — простите за тавтологию! — спецэффектам! Уж поверьте: четырёх часов тьмы за окнами будет... э-э... Вполне достаточно!

— Хм-м... Верю. Поэтому и согласился. Уж если кто и гарантирует выполнение всех пунктов Контракта — так это ты.

— Стараемся, Михаил Давидович. Определённое реноме трудно создать. Но ещё труднее — поддерживать!

(Михаил Давидович про себя подумал, что Анатолий прав. А вот потерять репутацию и марку — можно мгновенно... Но уж кто-кто, а «любимый» конкурент такого не допустит!)

Анатолий между тем продолжил мысль:

— Вот. Кстати, о Контракте. Не хотел напоминать, но! У Вас даже *сейчас*, пока не начался «сеанс», есть возможность отказаться! Если вдруг передумали. И я ни в коем случае не посчитаю, что вы, скажем, испугались, или засомневались. Нет.

Мало ли какие причины не бывают у любого человека! Отказ ни в коей мере не унизит вас в моих глазах.

— Ну уж нет, Анатолий Борисович, ни за что. — Михаил Давидович покачал головой, вспоминая о том, что согласно тому же Контракту деньги ему уже не вернут, и дай он хоть малейший шанс, уж Анатолий-то не упустит случая раззвонить об этом факте всем их общим знакомым, — Тем более, ты так всё солидно обставил: подписание Контракта — в нотариальной конторе Н-ска, в присутствии четырёх свидетелей и государственного нотариуса... Да и зачем бы мне отказываться, если я действительно хочу посмотреть на то, что ты, и твои спецы по спецэффектам — приготовили?! Интересно же!

— Ну замечательно. Я, кстати говоря, очень рад, что первыми будете именно вы, Михаил Давидович. Мне ваше мнение как эксперта, и реально здравомыслящего и прагматичного человека, очень важно. Надеюсь, не откажетесь потом черкнуть пару строк в нашей книге отзывов? — Анатолий показал пальцем на книгу в золотой подставке, имевшуюся на небольшом столике под одним из стрельчатых окон, — Конечно, этого нет в Контракте, но тут уж я рассчитываю на нашу... дружбу!

Показалось Михаилу Давидовичу, или перед словом «дружба» Анатолий сделал маленькую заминку?

Неважно. А важно теперь действительно — не наложить в штаны со страху! Ну, или вообще — не откинуть копыта.

— Разумеется, Анатолий Борисович. Непримяну черкануть. Но вначале — призраки!

— Конечно, конечно. И, думаю, вам будет приятно узнать, что поскольку вы — наш первый клиент, я лично буду контролировать в диспетчерской ваше... Приключение!

Потому что сколько бы не было «тестовых» квестов и проверок, но реал — совершенно другое дело!

Комната, куда Анатолий привёл «клиента», особо пышным убранством не поражала. Нет, разумеется, у дальней её стены имелась двуспальная роскошно-помпезная кровать с балдахином и позолоченными изящно резными столбиками, и на потолке плафон — с очередной фривольной и пасторально-наивной сценой из жизни нимф и фавнов, и картины на стенах. Оклеенных не какими-то обоями, а затянутыми настоящим «классическим» ситцем с готическими узорами и вензелями. Выдержанными в светло— и тёмно-зелёной цветовой гамме. Смотрелось, без дураков, благородно. Если это — оригинальный интерьер, то у декоратора был отменный вкус. Имелся и туалетный столик, с резными ножками. И с зеркалами-трюмо, словно тут будет гримироваться какой-нибудь артист. И тумбочка возле кровати, и даже пара стульев — тоже старинных. Про которые Анатолий ещё во время экскурсии сказал, что лучше на них не сидеть: «скрипят — жутко!» И пружины врезаются в задницу, поскольку поролона тогда не было, а войлок истончился.

Михаила Давидовича покорило: а почему же не реставрировали так, чтоб сидеть всё же можно было? Или это — фишка такая: всё — как в семнадцатом веке? К которому, как он помнил из лекции, и относится почти вся здешняя мебель — более ранняя сгорела при пожаре замка в начале как раз семнадцатого.

— Ну вот, Михаил Давидович. Она — в полном вашем распоряжении. Как, впрочем, и весь замок! Желаете — ходите, бродите везде. Проникайтесь, так сказать, средневековой атмосферой. И духом Франции. Не желаете — просто мирно ложитесь почитать. Ну а мы, как в проспекте и указывалось, уж позаботимся о том, что призраков вы в любом случае... встретили! Или — увидели.

Хозяин сделал «генеральную» паузу, возможно, собираясь сказать что-то ещё. Важное. Но закончил вполне прозаически:

— Вы, неверное, помните: пижамы — в стенном шкафу, халаты — там же. Ну а если вдруг вспотеете — майки и трусы вашего размера — вон в той тумбочке при кровати. Может быть, приказать принести чай? Или соки? Или ещё чего — попить-поесть-перекусить-почитать на ночь?

— Н-нет, благодарю. Того, что здесь есть, вполне достаточно. И вполне доверяя тому, что написано в твоём проспекте, я и правда даже не брал нижнего белья и халата. Так что — переоденусь без проблем.

— Ну, в таком случае, уважаемый клиент, позвольте ещё раз позвать вашу мужественную руку, и пожелать...

Приятного и нескучного времяпрепровождения!

— Благодарю. — Михаил Давидович не без скребущих на сердце кошек крепко пожал протянутую руку, и проводил взглядом удалившегося и закрывшего за собой дверь Хозяина «всего этого безобразия».

После чего глубоко вздохнул. И ещё раз обвёл внимательным взором предоставленные апартаменты.

Всё верно: вон они, глазки видеокамер во всех четырёх углах.

Каждый его шаг будет отслеживаться пятью операторами-диспетчерами, расположившимися в сарайчике-кладовой, она же и диспетчерская, оборудованной, впрочем, по последнему слову техники, и даже с кондиционером: Анатолий любезно завёл «первого клиента» и туда, объяснив, что такая привилегия — только для «избранных». Обычным же клиентам в аппаратной делать нечего.

Видимость на мониторах была тогда отменная. Вечер: почти дневное освещение. Но и сейчас, несмотря на то, что комната освещена всего-то четырьмя свечами, горящими в вычурном «рококовском» канделябре на стене, и ещё тремя — в подсвечнике на туалетном столике в углу, это только ему приходится щуриться на них. А у операторов есть и светофильтры, и компьютерная обработка изображения. А ещё Михаил Давидович отлично знал, что камеры ночного видения чётко и качественно показывают всё происходящее даже в *абсолютной* темноте. Просто изображение будет чёрно-белым...

Ну и ладно.

С другой стороны, спать пока не слишком-то хотелось.

Так что почему бы ему действительно, в целях «лучшего усвоения хорошей пищи» — не побродить, уже спокойно, и без помех, по чёртовой замку? Тем более, он по нему уже ходил с экскурсоводом и Хозяином, и планировку примерно знает. Ну а в пижаму влезть, и прилечь на

вполне комфортабельную — он руками промял, проверив, матрац! — постель, он успеет, когда «набродится».

Коридор, в который вела дверь из его спальни, хорошо освещённым назвал бы только совсем уж оптимист: бойницы-окна располагались редко, и отличались узостью. А ещё — капитальными решётками. Похоже, хмыкнул про себя Михаил Давидович, чтоб «клиенты» ни при каких условиях не разбежались! Небось, и входная дверь заперта!

С другой стороны, сейчас почти двенадцать. Скоро последние лучики вечерней зари исчезнут за берёзовой рощей, и тогда «экскурсия» превратится в блуждание на ощупь по малознакомому сооружению.

Ха! А у него же есть...

Михаил Давидович вернулся в комнату, и взял в руку подсвечник, имевшийся на туалетном столике. Тяжёленький. Свечи... Нормальные. В-смысле — новые. И, кажется, без подвохов. Вроде тех, что были описаны в книгах Мориса Дрюона, о том, как в них можно подсыпать всяких ядов. Или галлюциногенов. Хотя Анатолий, вроде, сказал, что этим его команда «Не занималась. Принципиально». Но это теперь — *бизнес*.

Сказать можно что угодно, но это не значит, что всему сказанному нужно верить.

Так что держа увесистый позолоченный подсвечник, украшенный весьма приятными взору завитками и листочками — акант это, кажется, называется! — Михаил Давидович отправился в странствие по замку, держа «осветительный прибор» подалеже от лица — так, чтоб уж точно не нюхать дым от свечей, и не обжечься.

Когда вернулся в коридор — оказался неприятно поражён: свет, а точнее — его отблески, всё же имевшиеся до этого в окнах-бойницах, пропали совсем. Покачав головой, Михаил Давидович попенял сам себе: если стёкла — с титановым напылением во внутреннем слое, организовать их «потемнение» с помощью пропускания небольшого тока, ничего не стоит! И уж конечно «спецы» Анатолия знают о такой возможности! А стёкла такие — не так уж дорого стоят.

Так что хорошо, что он при свечах. И при кое-чём ещё. Хе-хе...

Первая комнатка, соседняя с его спальней, оказалась практически такой же спальней. Только — в розовых тонах. Ах, вот оно как. То есть — Анатолий планирует, чтоб могли участвовать, и с комфортом размещаться — и дамы. А таковых дур, дочерей, или балованных жён-содержанок разных новых олигархов, наверняка понабежит...

Чтоб быть, как это сейчас обозначают, «в тренде». То есть — всё отнять на мобильник, по...здеть с подругами по видеосвязи, накоря-бать свои малограмотные комментарии, и выставить в соцсети. «Квест»!..

Впрочем, Анатолий отказался назвать ему как число, так и фамилии тех, кто застолбил ночи после него: «коммерческая тайна!».

В третьей комнате явно раньше жила прислуга: тут имелся и ящик для дров — весьма объёмный, если честно! — и скамейки, простые, потемневшие от времени, и столы — явно рабочие, и табуретки: всё верно, чтоб не рассиживались, откинувшись. Комнатёнка была маленькая, и закрыв снаружи её дверь, Михаил Давидович подумал, что она — действительно для слуг: вон: лестница совсем рядом!

Лестница с помпезно-резными балясинами вела и наверх — на третий! — и вниз — на первый. Логично, конечно. Михаил Давидович смутно помнил из лекции, что престижные спальни, и комнаты владельцев и гостей находились на втором, чтоб дворянам не мешали запахи и звуки из обширной кухни в полуподвале. И чтоб было потеплей: все каминные располагались на втором же этаже. А вот сами комнатки казались странно маленькими. А расстояние между дверьми, вроде... А, всё верно: где-то же должны находиться помещения для размещения «сюрпризов»! А где это делать, как не в подозрительно толстых стенах между гостевыми, с потаёнными каморками?!

Памятуя и о том, что на первом действительно остались помещения вроде «технических», разные лакейские, каптёрки, и кладовки, Михаил Давидович решил пройти ещё раз по третьему этажу. Тот, как он помнил, предназначался для не слишком высоко ценимых, но многочисленных гостей хозяев Шато. Ну, и для всяких там гувернанток, горничных, лакеев, поваров, камердинеров, и прочей obsługi.

Всё верно: никакого такого красивого или оригинального интерьера у здешнего коридора не имелось: всё строго, функционально. Без картин или гобеленов. Да и комнатки ни размером, ни убранством не поражали: маленькие, низкопотолочные... Даже без обоев: простая штукатурка! Пусть и крашенная в приятные пастельные цвета. Мебель — строго функциональна: кровати узкие, стулья — простые...

Однако он обратил внимание, что камеры в четырёх углах каждой из пяти здешних комнат, и коридора, имелись везде и здесь.

Ну, слава Господу! А то он уж начал было беспокоиться, что его «вояж» пройдёт незамеченным.

Нет, конечно, Михаил Давидович понимал, что раз Анатолий обещал «проследить лично», то именно так, скорее всего, и сделает. Но

пока Хозяину «порадовать» гостя нечем: ни одного, даже самого «задрипанного» призрака, не попало! Так что свирепо взглянув в объектив ближайшей камеры, Михаил Давидович проследовал к лестнице. По которой, собственно, они сюда и пришли из библиотеки, находившейся, как и обеденный зал, на первом, в центральном корпусе.

Спуститься он решил сразу в подвал. Пыточный. Помнил, что тот как раз под соседним, тоже жилым, крылом, и располагался.

В центральной же, длинной и высокой, части замка имелись залы для торжеств и официальных приёмов: огромные обеденные, и на втором этаже — залы для танцев. Там под потолком имелись даже антресоли: для музыкантов. И, конечно, огромные окна, почти до пола, и гигантские зеркала в противоположных стенах: вероятно, чтоб вальсирующие, или «минуэтирующие» дамы могли «в процессе» изучить себя «со стороны», и внимательно: всё ли в порядке с навороченной причёской, или — с чудовищно пышным кринолином, или изящно выгнутой затянутой в узкий корсет талии... Да и румяна: не слишком ли толстым слоем наложены?

Фыркнув, и поняв, что сердится без причины, Михаил Давидович проследовал по длинному залу к противоположному выходу: помнил, что там, за дверью, имеется проход в другое боковое крыло. То, под которым как раз — пыточный подвал. Пока шёл мимо абсолютно чёрных сейчас окон, и зеркал, отражавших его недовольную физиономию с пылающими рядом тремя свечами, вздыхал: одиноко, да. Пустынно, да. Тихо. Но — вовсе не страшно! Скорее, тоскливо.

Но...

Показалось?!

Пришлось вернуться на три шага, и снова взглянуть в одно из огромных зеркал.

Нет — точно показалось! Что там, за гладкой стеклянной поверхностью стоит, скрестив волосатые мускулистые руки на обнажённой груди, человек в кожаных штанах и сапогах, и красной маске палача!

Нету там никого! Но...

Михаил Давидович снова фыркнул: а здорово Анатолий это придумал! Если там — просто стекло, за ним ничего не стоит действительно — поставить мужика в костюме средневекового пыточных дел мастера, а когда клиент вернётся — снова дать ток, или выключить свет в комнатёнке, и стекло превратится в обычное зеркало! Или вообще — поместить там фото. Или голографическую проекцию. Просто и эффективно!

Наконец он заставил себя перестать пялиться в своё отражение, и двинуться, куда наметил. В оставшиеся зеркала просто не смотрел.

Когда вышел из зала, до него донёлся словно отдалённый и истеричный смех: кажется, экскурсовод упоминал спятившую Изабеллу, жену четвёртого хозяина? Дурацкий и истерический смех которой люди, вроде, слышат, но вот её саму никто не видел никогда!..

Лестница в подвал, где содержались особо досадившие хозяевам замка узники, и где пытали тех, из кого нужно было добыть какие-то сведения, была узкая, только-только пройти одному, камни, из которых слагались стены и ступеньки — выкрошившиеся, почерневшая известь из щелей кое-где повыпала. Михаил Давидович подумал, что «профи», монтировавшие тут всё, поработали на совесть: действительно: словно кладке лет шестьсот. Но вот сорок две ступени и закончились.

Теперь остаётся отвалить многопудовую и здоровенную дубовую дверь, трёхдюймовые доски которой скреплены, как водится, толстыми медными полосами с надраенными медными же петлями и заклёпками, и войти.

Чтоб справиться с нагло застрявшей на полдороге дверью, Михаилу Давидовичу пришлось поставить подсвечник в двух шагах за спиной: чтоб не мешал. Но и с помощью обеих рук отворить упрямую створку удалось с трудом, пыхтя и приподнимая: просела монументальная «мебель» от времени. Недосмотр? Монтировщиков? Или — «план»? Анатолия?

Э-э, не так это важно. А вот взглянуть на всё это дело, развешенное по стенам, и стоящее посередине на каменных плитах низкого помещения, одному, и — при свечах, интересно. А заодно хотелось и проверить: произведёт ли оно более гнетущее впечатление, чем вечером? При фонарях и лампах экскурсовода и Анатолия.

Произвело. Более того — теперь, когда вокруг царила буквально звенящая тишина, сверху давил потолок, расположенный, как он знал, на глубине пятнадцати метров ниже уровня земли, и с ним рядом никого не было, Михаил Давидович невольно ощущал холодок в паху, осматривая уже вблизи, трогая, и не торопясь, медленно двигаясь вдоль стен и верстаков, всё то, что крушило, ломало, дробило, растягивало, и всячески истязало плоть десятков и сотен людей, прошедших через эти подвалы!

Вот теперь он как-то совсем по-иному воспринимал слова Хозяина о том, что тот прикупил эту недвижимость из-за «памяти стен»!

Да, *такое* запросто... Могло запечатлеться!

Все эти крики, вопли, вой, и проклятья, обращённые на голову и хозяев, и их подручных-палачей, наверняка создавали здесь ту ещё «ауру»!

Раздался скрип и скрежет.

Михаил Давидович невольно вздрогнул. И поспешно обернулся: поздно!!!

Дверь в подвал оказалась снова плотно закрыта.

Не скрывая одышки и постанывая от возбуждения и вдруг возникшего — ещё замуруют! — страха, он двинулся к двери. Несколько запоздало подумав, что поступил глупо: нужно было хотя бы взять запасную свечку! Или хотя бы спички. А если эти «случайно» задует возникшим сквозняком — он в полной ...опе!

Ну, может, конечно, и не в полной, но... Напрягает.

Пришлось снова поставить в двух шагах позади себя чёртов подсвечник. К счастью, свечи, хоть и моргали, и пламя колебалось, но не потухла ни одна! Однако когда Михаил Давидович с кряхтением и стоном отворил обратно упрямую дверь, вздохнуть с облегчением не получилось.

За дверью оказался... Всё тот же пыточный подвал!

Ну, или точная его копия!

Михаил Давидович, наслышанный про цирковых фокусников, или даже знаменитого Дэвида Копперфильда трюки, с зеркалами, в первую очередь подумал именно о них.

Однако когда кинул в пространство за дверью толстенную плётку-семихвостку, с кусочками свинца, вставленными в каждый «хвостик», убедился, что ничто не загремело и не разбилось. Плётка просто пролетела до середины нового подвала, и шмякнулась, проехав по полу, о каменные плиты... Остановилась. И — всё!

Стоп! Так не пойдёт! Он... Что — он? Напуган?

Нет. Просто... Немного растерялся. Потому что не ждал!

Ну так на это и рассчитано!

И что теперь делать? Вернуться назад? В «первый» пыточный подвал?

Так он из него пока и не выходил — он стоит перед порогом. А, может, войти во «второй»?

Но как тогда он из него — попадёт назад? В «своё» крыло, на «свой» этаж, и в «свою» комнату?! Ведь — нету «прихожей» комнатёнки, в которую его привела лестница, и нет и самой лестницы!

А, может, это «спецэффекты» Анатолия — голограмма стен, и на самом деле если ощупать их — он проход на лестницу и найдёт?

Вдохнув-выдохнув поглубже, Михаил Давидович снял со стены ещё одно приспособление-орудие: что-то вроде намордника-маски с винтами по периметру. Подложил под дверь. (Чтоб уж не закрылась!) И двинулся через порог в «новый» пыточный подвал.

Никакого «прохода» на лестницу там, где он его помнил, не оказалось: стена и стена... Значит — остаётся исследовать. Что дали.

Ну и при детальном изучении оказалось, что не был подвал точной, «зеркальной», копией того, что остался позади. Да, орудия по стенам висели. Да, станки-верстаки на полу стояли.

Но были они совсем другими — словно из более поздней, технически «продвинутой», эпохи.

А что самое интересное — в торце этого подвала имелась ещё одна дверь. Дубовая. Массивная. И она, словно магнитом, притягивала взор и устремления Михаила Давидовича.

Поэтому второй подвал он прошёл быстро, практически мельком поглядывая на имевшееся здесь «богатство»: дыба, колодки для пытки испанским сапогом, станок для растяжения, ещё одна пирамида, острый как бритва горизонтальный серп на станине: на такой, он помнил, сажали ведьм, обутых в сапоги из сыромятной кожи. После чего под сапоги подводили жаровню с углями. И сапоги начинали стискивать ножки пытаемых: это вызывает ощущения почище испанского сапога, но костей — не ломает! Аверху-то ножки — не подтянешь: прорежет промежность — до костей таза!..

За дверью оказался... Ну правильно: ещё один пыточный подвал! А в дальнем торце имелась очередная дверь!

Разумеется, Михаил Давидович подвал прошёл, но перед дверью невольно приостановился.

Странно. Если верить своим чувствам и разуму, то он — уже за пределами замка! И там, за дверью, должен быть... Подземный ход? Путь для «экстренной» эвакуации хозяев в случае нападения превосходящих сил противника?

А чего ему терять? Вперёд!

За дверью действительно оказался узкий и тёмный проход: только-только протиснуться. С факелом над головой. Потому что с подсвечником пройти... Трудно. Придётся держать его перед собой. Но тогда из-за отсветов и бликов в глаза почти ни ...рена не видно!

Но вот же он: факел. В держаке на стене. Нужно лишь зажечь его от свечи...

Факел загорелся легко. (Уж Хозяин позаботился!) И свет давал ровный и яркий. Михаил Давидович поставил свой подсвечник прямо на пол, факел поднял над головой. Вперёд! Он парень настырный! Не уйдёт, пока всё тут не осмотрит!

Коридор часто поворачивал, причём — в непредсказуемых направлениях. И Михаил Давидович уже начал было ругаться вслух, что не подписывался на марафон, или прохождение лабиринта, как вдруг... Оказался снова в «предбаннике» первого пыточного подвала!

Когда невольно сделал шаг через порог, выругался, и оглянулся, не обнаружил ни малейшего следа от прохода, которым попал сюда!

Каменная сырая от влаги кладка и на ощупь казалась монолитной и несокрушимой! Ну вот нет входа-выхода — и всё!.. Хотя он только что оттуда прибыл! Да чтоб вас!..

Уважение Михаила Давидовича к команде Анатолия возросло ещё на пару пунктов. Ничего не скажешь: обставлено достоверно.

Но он уже нагулялся. Ноги слегка гудели и одышка не унималась даже при ходьбе по ровному. Да, в его возрасте нужно, конечно, поддерживать «спортивную» форму, бегать трусцой, качаться на тренажёрах, и т.д., но ему... Лень.

Поэтому он и ездил везде на машине. Которую уж водил — сам!

Так что воткнув факел, начавший чадить и прогорать, в держак у двери, он достал «домашнюю заготовку»: фонарик на аккумуляторах, который предусмотрительно сунул в карман, когда собирался в усадьбу. И теперь, освещая путь отличным ярким электрическим лучом, двинулся наверх. Довольно с него подвалов! И ходьбы.

Впрочем, боящихся сквозняков свечек с него тоже — довольно!

Ступеньки он не считал, а как оказалось — зря.

Потому что примерно после пятидесятой начала преследовать сильная одышка, а выхода на первый этаж всё ещё не было!

Михаил Давидович позволил себе прислониться спиной к части стены, казавшейся посуше и почище, и постоять пару минут. Он думал.

Ладно, предположим, с горизонтальными ходами и комнатами ещё можно как-то подстроить так, чтоб клиент заблудился. Лабиринты — любимое развлечение в парках аттракционов. Но с вертикальными лестницами?!.. Притом — вот этот камень с проточкой по диагонали! Он его отлично запомнил. Когда спускался. Потому что подумал, что это — недогляд, или брак, от строителей. И камень был примерно на середине пути вниз. То есть — придётся так и так подниматься ещё.

Ещё через пятьдесят ступеней Михаил Давидович снова стоял у стены, с хрипом и присвистом дышал, вполголоса матерился, и злобно пялился на чёртов «отмеченный» камень!

Тот, впрочем, вполне успешно не подавал виду, что этот взгляд и матюги-проклятья его как-то беспокоят.

Поэтому позволив себе отдохнуть ещё три-четыре минуты, Михаил Давидович пошёл снова — вверх. Двигаясь медленно и размеренно.

Чтоб через ещё сорок семь ступеней снова «встретиться» со «старым знакомым»!

Только теперь, оглядевшись, Михаил Давидович понял, что никаких камер ночного, да и обычного наблюдения, здесь нет! А, стало быть, он — «вне зоны доступа»! И поскольку стены — каменные, сигнал даже от мобильного не пройдёт!

Достав навороченный айфон ...рен-знает-какой-модели, он убедился, что действительно — антенны нет. Значит... Остаётся одно.

Вынув из кармана старый добрый мел, он двинулся по лестнице вниз, чертя по стене хотя бы примерно ровную линию. За «порчу штатного имущества» он не беспокоился: кому надо — потом эту линию сотрут! Или смоят. Им за это деньги платят.

За всё время спуска «любимый» камень встретился ему четыре раза, а вот линии не попалось. Даже следа. Значит — хитрая уловка. Позволившая «купить» его видимостью «закольцованности» маршрута.

Оказавшись снова у пыточных подвалов, Михаил Давидович, уже ощущавший приличную дрожь в ногах, двинулся, выключив и спрятав свой фонарик, снова с подсвечником в руке — сквозь них назад. Благо, проход теперь не скрывался!

В самом первом подвале, за дверью, обнаружил, к счастью, «горячо любимый» предбанник. По его лестнице поднимался не без волнения. Чертил мелом. Камень с полосой, разумеется, попался снова. Но на сорок второй ступеньке он выбрался наконец наверх! Ф-фу-у-у...

Выйдя в почти родной коридор, Михаил Давидович подумал, что не совсем порядочно со стороны Анатолия так «гонять» человека в летах.

Но потом подумал, что никто ведь его в шею и не гнал: сам полез. «Проникнуться» атмосферой, понимаешь, ему захотелось!

Ну вот и проникнулся. Хотя... Это ведь Анатолий ему на это «тонко» намекнул! Прекрасно зная его неуёмный характер.

Хотя только Анатолий, его инженеры, и Господь Бог знают, как они добились такого... Эффекта! Прямо тебе — «заколдованный зеркальный лабиринт». Реально — многоуровневый. И бесконечный!..

По пути назад Михаил Давидович заглянул в библиотеку: благо, дверь была открыта настежь. Как ни странно, но там на столике дымилась чашка чая: каркаде! Ошибиться нельзя: аромат разносится по всей комнате! Можно было подумать, что её только что принесли, словно зная — впрочем, почему — «словно»?! Зная! — о его приходе.

Невольно Михаил Давидович поставил подсвечник на столик, рядом с чашкой и проспектом. Сел в «свое» кресло, и чашку бережно взял в обе руки. Её обжигающее тепло и вкусный глоток ароматного напитка — м-м-м! — сразу вернули ему пусть не отличное, но хотя бы — более бодрое и оптимистичное настроение.

Ну погоди ж ты, хитро...опый Анатолий! Михаил Давидович тебе ещё покажет! И пусть он устал, и коленки немного — да, только немного! — трясутся, сил и выносливости ему ещё не занимать! Да и «условия» Контракта ещё не выполнены! Никого он не видел. А мужик в красной маске, мельком замеченный в зеркале — не считается!..

Однако взглянув снова на картину в простенке, он почувствовал, как улыбочку с лица словно тряпкой стёрли.

Омерзительная старуха снова была тут как тут!

И она Михаилу Давидовичу улыбалась. Однако вовсе не как Мона Лиза, а весьма издевательски! Вот уж — мерзкая тварь во плоти!..

Он постарался взять себя в руки. Достал айфон. Настроил камеру для ночного режима. Приблизить... Есть! Снимок чёткий, и конкретный! Вот она: старая вешалка! А отошлёт-ка он эту фоту себе же, любимому, на второй, да и третий мобильник! Так, ...рен. Снова нету. Теперь уже — сети. Вон: чёрточки-палочки «отправки» крутятся, но фотки ни фига не отправляются.

Да и ладно: главное — в «Галерее» они есть! Но картина...

А если встать и подойти?

Однако и с разных углов, и с расстояния даже метра милая женщина не появилась. И только злобные горящие угольки глаз старой ведьмы пялились на Михаила Давидовича! Словно на знаменитом плакате «Ты — записался добровольцем?!», глядя прямо в глаза, в какой бы бок он не сдвигался.

Пришлось сфотографировать старуху ещё раз — вблизи, и — только изображение. Без рамы.

Ладно, позже, на досуге, он снова её рассмотрит. А пока...

А пока заберёт-ка он свой чай, и двинет на боковую! Тем более, что сейчас уже...

Что за чёрт!

Хронометр на чёртовом айфоне упрямо показывал, что сейчас — двенадцать ноль пять! А именно столько времени было на нём, когда Михаил Давидович покинул комнату, отправившись в «турне по подвалам»!

Это странно. Даже более чем. Потому что воздействовать дистанционно на его мобильник, сдвинув данные о точном времени назад, никто и ничто не смогло бы: нет ещё таких технологий! Или...

Или Анатолий многого, ох, многого, ему не рассказал.

Впрочем — он и не должен был. А то — неинтересно!

Ну а сейчас — интересно. Хотя и не слишком страшно. Но утешает мысль, что «пытать» его на всех тех жутких станках не смогут. Потому что Анатолий обещал. Что «непосредственного» контакта — не будет!

А, может, они всё-таки как-то смогут пытать его так, чтоб на теле не осталось никаких следов?.. А только — «душевные» раны? Вон: смогли же «убрать» проход, по которому он притопал во второй «предбанник»! Закрыв дверной проём иллюзией каменной кладки. Причём — настолько совершенной, что и на ощупь не найти скрытое.

И всё равно — это не вписывается в условия Контракта. Поскольку пытки — это больно, а он подписывал, что будет — только страшно.

Ну а с этим — он фыркнул! — пока — никак.

Не страшно. А только — непонятно! Но...

Удивление и восхищение от «работы» профи — невольно вызывает.

В его комнате ничего не изменилось. Только свечи, вроде, стали поменьше. О! Вот оно! Значит, время всё же — прошло! И немалое.

Но Михаил Давидович, решив, что часы на айфоне выставятся и сами, едва он выйдет из зоны «глушилок» Анатолия, и подключит нормальный интернет, и подумав, и посопев, подошёл к стенному шкафу. Взял халат. Подошёл к припостельной тумбочке. Выдвинул скрипучий ящик. Взял сухую майку и трусы. После чего не без ехидства ухмыльнулся помпезно-роскошной постели. И вышел из комнаты. Даже не оглянувшись на четыре камеры и не погасив свечей в настенном светильнике. «Свой» подсвечник он, разумеется, забрал с собой.

А проследовал он, разумеется, в соседнюю, «розовую», спальню.

Если у Анатолия Борисовича предусмотрена отдельная «программа» для мужчин, и другая — для женщин, посмотрит-ка он как раз на последнюю! Вдруг она — интересней? И — разнообразней?

Посмотреть удалось. Едва Михаил Давидович с удобствами расположился на другом «продвинутом» и вполне современном матраце, и холодящих крахмальных простынях, как из стены напротив задней стенки кровати высунулось лицо. Мертвенно бледное, и с горящими глазами.

О том, что это было лицо давешней старой ведьмы, можно и не упоминать!

Михаил Давидович снова невольно ощутил мурашки, бегающие по спине, и холодок в груди. Но решил пока ничего не предпринимать. А посмотреть, как будут развиваться события: именно за это самое он и заплатил!

Так пусть чёртовы инженеры-техники-программисты Анатолия отработывают свои чёртовы зарплаты!

Но вот ведьма высунулась, как бы — вытекла из стены, и вся! Целиком.

Была она низенькая — не больше метр пятьдесят! — и толстенькая. И, разумеется, скрюченная. Однако по мере того, как она подходила к постели, старуха словно худела, росла, горб пропадал, спина выровнялась, осанка стала царственной, да и лицо...

Да: всё верно. Перед ним та самая женщина, что была на картине!

А красива: без дураков. Пусть и не молода, но очень даже... Возбуждает! А особенно оно, это самое сексуальное «начало» дамы, начало действовать на «естество» Михаила Давидовича, когда тонкий полупрозрачный пеньюар, в который незаметно превратились неопрятные лохмотья, оказался нарочито неторопливым движением скинут к ногам соблазнительницы. Теперь призывно и загадочно улыбающейся. И приподнявшей словно в немом вопросе изящную тонкую бровь.

Михаил Давидович... Сглотнул.

И, хотя понимал, что женщина — только иллюзия, хоть и совершенная, не мог поступить иначе, чем подсказывало воспитание и учти-вость: подвинулся, и откинул одеяло, приглашая...

Ну, женщина и не заставила себя долго упрасивать. Михаил Давидович сразу обратил внимание, что пружины матраца прогнулись под дополнительным весом прилегшей сбоку женщины очень даже материально! Да и осторожное прикосновение тёплой и мягкой женской ручки к его щеке он ощутил...

Как настоящее!!!

Чёртов Анатолий!!! И его чёртовы работнички!!!

Но Михаил Давидович не выскочил из кровати как ошпаренный. А напротив: позволил улыбающейся иллюзии ласкать себя: вначале его

прелестная гостья делала это осторожно и нежно, но, заметив отсутствие неприятия с его стороны, словно взбодрилась.

И вот она и сидит на нём верхом, откинув одеяло! И горячие губы целуют его! А мягкие и явно опытные ладошки, стянувшие с него трусы и оглаживающие живот и чресла, уже...

Приготовили к бою то, что, если честно, не могла «приготовить» в последние годы и любимая Софико! Даже наботксованными слюнявыми губками!..

У Михаила Давидовича мелькнула, конечно, мысль о том, что это может быть «подставой», чтоб заполучить компрометирующие его видеозаписи... Хотя бы — для шантажа! Отснятый материал покажут, например, жене... Или конкурентам. Или вообще — продадут прессе, если он не заплатит столько-то, или не выполнит то-то и то-то...

Но эти мысли очень быстро куда-то исчезли, когда женщина уверенно, не глядя, словно всю жизнь этим и занималась, поглотила своей горячей и влажной «штучкой» его воспрявшие двадцать сэма!

О-о-о!!!

Похоже, здесь творится что-то совсем уж запредельное! В смысле технологий. И физиологии. И психологии.

Потому что такого наслаждения Михаил Давидович не получал уже... Минимум десять лет! И пусть к концу «действия» он и задыхался, и вспотел, словно конь, пробежавший марафон, восторга и наслаждения это не уменьшало! Скорее — наоборот. Хотелось продолжать и продолжать делать эти волшебные и приносящие поистине божественный кайф, движения туда-сюда...

Так приятно чувствовать себя снова молодым. И — «в силах»!..

Но вот они и достигли пика!

Женщина, застонав, откинулась, выгнувшись, назад, позволяя Михаилу Давидовичу насладиться зрелищем её упругих и аккуратных грудей. Глухо закричала. Её «кошечка» несколько раз словно конвульсивно сжалась, добавляя партнёру ещё несколько мгновений наслаждения!

Михаил Давидович схватился разгорячёнными ладонями за тонкий стан и контрастно пышные упругие бёдра, ощущая, как всё у него внутри трепещет от почти забытого ощущения восторга: вышло, выстрелило из него то, что только недавно неторопливо вытекало!..

Но тут вдруг...

Женщина медленно и абсолютно бесшумно... Исчезла!

Она буквально на глазах растворилась в воздухе!!! И вот уже его руки ласкают пустоту!

Что за!..

Если б Михаил Давидович не видел и не испытал этого сам, он никогда бы не поверил, что *такое* возможно!!!

Сволочь Анатолий!!!

Как он *этого* добился?!

Ведь тот, кто владеет такой технологией, может... Может... Да может прибрать к рукам весь сексуальный бизнес!!!

Зачем нужны сутенёры и тысячи девок, которых нужно кормить, одевать, регулярно на вен.заболевания проверять, если содержать бордель — где-то поселять, и заставлять выглядеть «товарно», когда можно насоздавать сотни тысяч таких вот фантомов: ведь выглядеть все они будут бесподобно! А уж «работать»!..

И — никаких «осложнений» не будет у хозяина «штата» таких специалисток! Ни с Законом, ни с клиентами, ни со здоровьем и «критическими днями», ни с обслуживанием!

Однако нашлось кое-что, что всё же не могло Михаила Давидовича не вернуть на нашу грешную землю. В частности — то, что его «естество» всё ещё находилось в состоянии возбуждения. А это — просто так не бывает! А бывает — он знал, поскольку пробовал! — лишь после употребления препаратов типа Виагры. Но ведь он не...

Чай!!

О, Боже! (Прости, что помянул все!) Как элементарно его подловили!

«Набродился» и «угорел» он абсолютно самостоятельно. И, конечно, то, что ему дали для утоления жажды — его любимый чай, воспринял, как нечто само-собой разумеющееся! Как жест «трогательной» заботы со стороны гостеприимного Хозяина!

А оно — вон оно как! *Это* подмешали ему в чай, а когда оно, в комбинации с горячим напитком, подействовало — подсунули фантом! И какой!.. (При воспоминании о волшебных мгновениях у Михаила Давидовича реально начинало биться сильнее сердце!)

Стоп.

Сердце.

Вот на что должен делать упор человек, желающий прибрать к рукам бизнес Михаила Давидовича. На старое и изношенное сердце «друга». А что позволяет довести это сердце почти до инфаркта?

Правильно: секс!!!

Медленно и осторожно, стараясь теперь не делать резких движений, Михаил Давидович сел на постели. Протянул руку. Брюки — на стуле у кровати. В кармане тюбик. С Эринитом.

И пусть ему его и прописали, и пить нужно — регулярно, но он зачастую не делал этого. Надеюсь на «здоровье горца».

А вот теперь — придётся. *Нужно!*

Если он не хочет оставить Софико вдовой, а сыновей и будущих внуков — сиротами. Тут уж не до «пижонства»!

Он выкатил на ладонь две таблетки. Сунул в рот. Одну разжевал сразу, другую принялся старательно сосать. Подумав, добавил ещё одну: всё-таки у него — масса тела под восемьдесят!

Невольно перед мысленным взором возникла воображаемая картина: Анатолий, расположившийся в любимом кресле на колёсиках позади своих «операторов», кривит рот, и злобно ворчит: «Ах ты ж старый ...ер! Предусмотрительно, ничего не скажешь!»

Однако то, что он «подстраховался», ничего не значит. Впереди — вся ночь! И неизвестно... Впрочем, нужно попробовать глянуть ещё раз!

Мобильник, будь он неладен, показывал всё те же двенадцать ноль пять.

Михаил Давидович криво усмехнулся: да, это *должно* впечатлить и напугать более слабых духом клиентов. Ну вот не бывает такого, чтоб время действительно остановилось!

Э-э, ладно. Попробует-ка он пока, для «отдохновения и успокоения» — просто полежать. Может, «культурно-развлекательная программа» на сегодня закончена, и ему позволят просто — уснуть?

Однако, зная Анатолия, надежда на это была весьма слабой.

Спокойно полежать ему дали, по объективным ощущениям, не более пяти минут.

Из-за стены слева вдруг донёсся многоголосый смех и выкрики фривольного характера, а затем через спальню Михаила Давидовича, подпрыгивая и резвясь, пронёсся настоящий «отряд» из полуобнажённых вакханочек, нужно признать: с восхитительными формами, и преследующие их, не то — сатиры, не то уж — черти!

Во всяком случае, существа были мужского пола, с копытами на концах козьих ног, и с... Огромными достоинствами! Причём — в «готовом к бою» состоянии! Не без стыда и зависти Михаил Давидович подумал, что он со своими двадцатью, которыми, если честно, гордился, тут никакой конкуренции не составил бы...

Смех и выкрики преследующих, впрочем, быстро затихли, когда толпа скрылась за противоположной стеной.

Только теперь до Михаила Давидовича дошло, что выглядела иллюзия как-то уж... Слишком достоверно и реально, чтоб принять её, вот именно — за иллюзию! После «посещения» остался даже лёгкий запах лаванды и ещё каких-то цветов, которые имелись в гирляндах, увешивающих шею преследуемых, и в их венках...

Михаил Давидович невольно вздохнул. С облегчением: его не тронули. А не хватало ещё, чтоб его втянули в какие-нибудь «вакханалии», или прочие сексуальные групповые игрища! Несмотря на то, что «естество» всё ещё стояло, он вовсе не ощущал в себе сил на нечто такое же, что совершил десять минут назад!

Он повернулся на бок, и вздохнул. А вот интересно: микрофоны у Анатолия тоже расставлены — везде?

С этой простой мыслью он и... заснул.

Но это только потом он понял, что заснул. Потому что разбудили. И как!

Вокруг него толпилась куча опять-таки: вполне реальных, и воняющих мокрой шерстью, землёй, потом, и серой, монстров и чудовищ: по-другому и не скажешь! Кого только тут не было: и грифоны, и сатиры, и драконы, и русалки, и вообще — мерзкие чудища словно сошли с картин типа «искушения святого Антония»: бр-р-р!

Но самое омерзительное трясло Михаила Давидовича за плечо: — Эй, человек! Просыпайся! Самое интересное пропустишь!

Михаил Давидович только хотел было спросить, чего ж такого он может пропустить, как вдруг его схватили с десятков рук, и очень даже быстро и без усилий понесли, легко пронизывая стены и межэтажные перекрытия, а затем и — землю и камень, вниз, прямоком в крыло, где он только недавно заблудился. И не прошло и десяти секунд, как оказался он, как был, в одних трусах и майке, в давешнем пыточном подвале.

А на станке, прямо перед ним, была распята...

Его Софико!

Михаил Давидович в невольном порыве кинулся было к ней — отвязать, спасти!.. Понимая всё же в глубине души, что ничего этого нет на самом деле! И он в плену очередной, но (Нужно признать!) чертовски реалистичной и до дрожи натуральной, иллюзии!

Но даже этого ему не удалось сделать!

Мягкие и нежные не то — руки, не то — даже щупальца, словно обволакивая, удерживали его руки, ноги и туловище, понадёжней, чем

ремни смирительной рубашки! На краешке сознания мелькнула мысль, что «следов» на его теле от таких захватов точно — не останется! Но понимая, что никто его не освободит, он продолжал пытаться вырваться, крича Софико, что сейчас он её спасёт!..

Но она почему-то молчала. И только смотрела. Словно с укоризной!

Ну правильно: это же его «гонор» затащил их столь далеко!..

Над ухом раздался очень тихий, и очень внятный шёпот:

— Никого ты здесь спасти не сможешь, маленький человечек. Быть может там, на Земле, ты что-то из себя и представляешь. Но здесь, в нашем Мире, ты — никто! Бессильная и эгоистичная букашка!

Так что смотри и наслаждайся. Сейчас мы будем воплощать в жизнь всё то, о чём ты втайне от всех мечтал иногда, особенно после скандалов, сделать со своей женой! И — не переживай. Чтоб предохранить тебя от слишком уж сильных эмоций, мы позаботились сделать так, чтоб вопли, вой и ругань твоей дражайшей половины тебе не досаждали!

Чудище с телом кабана, и руками человека, волосатое, и омерзительное, одетое в красные кожаные штаны, подняло, повернуло голову распятой на станке жертвы. Раздвинуло той челюсти. Михаил Давидович заорал, затем застонал: языка, который он сам столько раз мечтал вырвать, во рту Софико не было!!!

— Только не говори, что ты сам не мечтал сделать это. Особенно — в последнее время! Ха-ха-ха!

Кровь бросилась Михаилу Давидовичу в лицо!

Это — правда! Сколько раз он мечтал помучить, поиздеваться над чёртовой старухой! В молодости её придирки и сварливость ещё как-то можно было перенести, перетерпеть. В надежде на последовавший бы за этим восхитительно азартный и бурный секс! Символ, так сказать, «вечного» примирения... Но под старость...

Да, он самому-то себе мог признаться: мечтал о том, как бы он лично мучил и пытал проклятую сварливую и толстую гадину, если б только не боялся за последствия. И не помнил, что она — мать его детей. И бабушка их внуков... Была бы. Когда те появятся. И она нужна их Семье живая и здоровая.

Но здесь...

Как Анатолий-то узнал о его тайных мечтаниях?! Или...

Или его техники-программисты научились читать мысли?!

Впрочем, в глубине сознания Михаил Давидович прекрасно понимал: не нужно быть семи пядей во лбу, или проф.психоаналитиком, (А Анатолий уж наверняка — нанял!) чтоб вычислить даже под внешней

показной дружелюбностью, нежностью и заботой, пристойностью и респектабельностью — лютую ненависть и презрение, которое большинство давно женатых мужчин испытывают к своим располневшим, вредным, злобным, сварливым, и постоянно к ним придирающимся из-за ничего, увядшим старухам!

Но вот его подвели, точнее — поднесли к станку поближе, и он увидал, как кабан-палач поднёс к левой руке жертвы жаровню с лежащими на её краю гвоздями. Небольшими: сантиметров по шесть. И не толстыми: миллиметров по пять. Но...

Раскалёнными до красно-оранжевого цвета!

Разумеется, с помощью клещей-плоскогубцев, чтоб не обжечься самому, кабан стал неторопливо и с омерзительной ухмылкой на свинячей морде, загонять эти гвозди под ногти Софики!

Михаил Давидович и орал, и матерился, и сыпал проклятьями, и выл, и рыдал в голос. Потому что Софики могла теперь только дёргаться всем надёжно спеленутым телом, и постанывать, и мычать. И ещё смотреть ему прямо в глаза, смотреть...

Но уж в её глазах было — всё!..

А он...

Нет, он всё ещё понимал, что это — иллюзия, пусть и неизвестно как созданная, но...

Но запах горелого мяса, словно от гриля, бил в ноздри, и стук от переступания копыт по каменным плитам пола, как и шипение раскалённой стали, погружаемой в податливую плоть, он слышал отлично. Как и видел крупные капли пота, выступившие на лбу его жены, и обонял и острый мускусно-аммиачный запах пота у неё из-подмышек. Который не могли, если честно, никогда до конца заглушить никакие дезодоранты и духи...

Сволочь Анатолий. Нашёл-таки его Ахиллесову пята. Догадался, что супругу свою, хоть и иногда бесившую и «тупившую», тот до сих пор...

Да, любит.

Самому-то себе он мог в этом признаться. А то — с чего бы он терпел её рядом, в их общем доме, когда мог бы давно уйти: хотя бы к Леночке! Но Анатолий, возможно, о Леночке не знает. Хотя... Вряд ли. Скорее всего — знает.

Но ему он показывает не Леночку, понимая, что она — просто очередная игрушка-содержанка Михаила Давидовича, и примесь чудище пытает её, по-настоящему сильных эмоций у Михаила Давидовича это не вызовет!

Поскольку надоела уже она ему. И он сейчас ищет повод и предлог послать её подальше...

Но чудище между тем перешло на другую сторону — к другой руке! Потому что первая оказалась вся «заполнена» гвоздями: в каждый пальчик влезло аж по пять!..

Михаил Давидович решил попробовать крайние средства:

— Анатолий! Прошу тебя! Ты доказал, что держишь слово. И ты знаешь, что я держу своё. Отпусти Софико, и меня. И я перепишу все свои активы, депозиты, и даже дом — на твою чёртову фирму!

Ничего не произошло.

Разве что кабан-палач вонзил под ноготь первого пальчика другой руки первый гвоздь. Софико, замеревшая было на секунды, снова начала биться, мычать, и извиваться. Но верёвки и ремни держали крепко. Так же крепко и монументально невидимые руки и щупальца держали и Михаила Давидовича. И он, как ни бился, не мог не то, что вырваться, а и — пошевелиться. И даже когда его перетасили на новое место — поближе к другой руке — ничего не мог противопоставить нерушимым захватам! Но теперь, не то — от усилий, не то от переживаний, стало как-то жарко в груди...

Помня, что по версии доктора Мясникова это — признаки надвигающегося инфаркта, он приказал себе прекратить биться, и успокоиться! Всё это — мираж! Фантом! Чёртова галлюцинация! Нужно втемяшить в свою упрямую башку, что всё это — не на самом деле!!!

Но что-то как-то плохо оно «успокаивалось» и втемяшивалось...

Хотя теперь он мог стоять почти спокойно, но глядеть в умоляющие и полные слёз глаза жены всё равно было выше его сил. Но когда попробовал опустить голову к полу, кто-то ретивый и мерзко хихикавший, поднял её за подбородок обратно. И даже его закрытые веки мягко, но непреодолимо приподняли — смотри, человечиска!..

После того, как закончились гвозди, палач достал из жаровни раскалённые клещи. Вначале прижёт соски вялых и отросших почти до пупа, а сейчас — завалившихся под мышки, грудей. Затем — раскалёнными прутьями пронзал их, оставляя внутри, и делая груди похожими на странных сюрреалистических ежей... Софико стала биться особенно сильно, но так ничего и не смогла объяснить или сказать. И только глядела, глядела...

Михаил Давидович понял, что долго не протянет. И снова попробовал:

— Анатолий! Клянусь мамой, и всем, чем хочешь, что у тебя есть святого: отдам тебе всё! Всё!

Ответа снова не последовало, и теперь кабан с напарником — мерзкой помесью козла и бегемота! — занялись ножками Софики. Их они раздвинули насколько могли сильно, привязав верёвками за щиколотки к кольцам, вделанным в стены. Однако широкий пояс, удерживавший талию жертвы сквозь отверстия в станке, не позволял той сдвинуться с ложа. Часть которого — со стороны промежности! — убрали.

Теперь в дело вступил третий палач. Грифон. Умеющий, оказывается, стоять на задних лапах. Когда он подошёл к станку, Михаил Давидович понял, какой будет новая пытка: «достоинство» грифона имело в длину добрых сорок сантиметров, а в толщину... Со стакан!

Понимая, чем закончится новая экзекуция, Михаил Давидович попробовал вырваться снова, дёргаясь и вопя изо всех сил!

Но закончилось это плохо.

Всё вдруг завертелось вокруг него, в уши ударил дикий вой, и рёв, и грохот, подвал превратился в ревущую вращающуюся бездну, куда его втягивало, втягивало... И вот он уже летит сквозь неизведанные пространства и вселенные куда-то к маленькой белой точке... Вскоре превратившейся в серый тоннель с ярким пятном выхода.

Знал он, куда ведёт этот тоннель.

Анатолий встал, разочарованно проворчав:

— Похоже, он-таки уснул. Что там — с показателями?

— В-принципе — практически в норме. — в голосе его старшего диспетчера, Владимира Львовича, мужчины сорока семи лет, сквозило тоже разочарование, — Давление сто тридцать на восемьдесят, пульс, правда, немного повышен: семьдесят три. Температура — тридцать семь и две, но понижается. Мозговая активность... Минимальна. То есть — энцефалограмма говорит о том, что он и правда — спит! Вот что значит — устойчивая психика! Слово никуда и не ходило! И ничего не видел. И не слышал. А уж ребята так старались, так старались!..

— Да. — Анатолий вздохнул. — Хорошо. Ладно, раз такое дело, пойду-ка я к себе. И тоже вздремну. Если что-то экстраординарное — вы знаете, что делать.

— Да, босс. Так видеозаписи можно больше не включать?

— Можно не включать. Он свою долю получил.

Выйдя из бункера-сарайчика, где остались пятеро «недрёманных», но сейчас, когда Босс уходит, явно собиравшихся расслабиться, диспетчеров, Анатолий, однако, в свой мезонин со спальней не пошёл. А двинулся к малозаметному из дома и сарая, навесу.

Здесь он зашёл за «занавес невидимости», как он про себя называл маскировочную сеть, отражавшую свет и то, что было перед ней. За сетью имелся крытый, как в блиндаже, наклонный вход в другой, подземный, бункер. Верхнюю дверь он отпер ключом. Спустившись на уровень второго подземного, Анатолий открыл замок во второй двери другим ключом. Повернул ручку и вошёл.

Ещё одна диспетчерская. Отлично кондиционированный воздух.

За пультом перед десятком экранов — один человек. И изображения на экранах светятся не привычным чёрно-белым или голубым или зеленоватым цветом, а — фиолетовым. Ну — так! «Спецприбор»!

— Привет, Василий Петрович.

— Здравствуйте, шеф. — ехидства в голосе «дежурного оператора» не уловил бы только глухой, — Вы вовремя. Он как раз откидывает копыта.

— Расскажи. — Анатолий пододвинул кресло на колёсиках, и расположился слева за спиной Василия. На монитор смотрел внимательно. Совсем не так, как там, в верхней аппаратной.

— В-общем, всё, как вы и планировали. Составляя сценарий для него. Ребята в первой аппаратной сделали, что могли. И указания нашим «друзьям» вы дали — точнее некуда! Сработало всё. И блуждание по подвалам, сильно его утомившее, и «необузданный секс» с женщиной, подпадающей под его понятие «идеальной», и иллюзия того, как он съел фантом таблеток от сердца. Так что был уверен. Что не скопытится после выматывающих «молодёжных упражнений». И новых «страстей».

Верно вы вычислили и то, что пытаться нужно не Леночку, а его старуху.

Выдержал он чуть больше десяти минут. Трахнуло его только на сцене изнасилования — «мастиф» даже не успел приступить. Ну, а если б не сработало сразу — сработало бы, когда он порвал ей всё до пупа! И кровь залила бы весь пол.

Анатолий молча смотрел на изображение на центральном, большом, мониторе, иногда косясь на то, что показывали и другие камеры подвала. Там, на руках монстров и чудовищ висел обвисшей тряпкой его «закадычный» враг и конкурент: Миша, будь ты неладен. Точнее — фантом Михаила Давидовича: его «нетленная», и, как выяснилось, вполне «отделимая» от тела, «душа». Перенесённая «особенными» «работниками» Анатолия сквозь камни и почву.

На станке же имелся другой фантом — весьма неприглядный в своей свинячей упитанности! Обнажённое, словно расплывшееся, упло-

щившееся, тело, не могло спрятать ни целлюлита, ни «спасательных кругов» жира на том, что раньше гордо именовалось талией. Жиденькие волосы на голове растрепались и слиплись от пота — этикие неопрятные висюльки... Пальцы нематериальных рук сплошь были утыканы гвоздями. Разумеется — тоже нематериальными.

— Хорошо. Сколько времени назад он сдох?

— Семь минут.

— Продолжай удерживать типовые нормальные показания на мониторах и приборах в верхней аппаратной ещё... Скажем, пятнадцать минут. Нам ведь не нужно, чтоб наши борзые реаниматоры, мечтающие оправдать свои нехилые зарплаты, действительно — оживили его этим чёртовым прибором с электрошоком, и порцией адреналина — в сердце.

— Да, «сэр»!

— Хватит мне «сэркать». И дай, будь добр, ещё раз наш экземпляр Договора. Хочу всё-таки посмотреть: не упустили ли мы чего... В любом случае с нашими «друзьями» нужно держать ухо востро.

— Да, Хозяин. (Так лучше?)

Анатолий, криво ухмыльнувшись, кивнул. Василий Петрович вытащил из одного из ящиков, имевшихся в столе под клавиатурой, две машинописные странички, скреплённые скобой степлера.

— Пожалуйста.

Анатолий, нахмутив брови, углубился в текст. Тот, впрочем, отличался лаконичностью и конкретностью:

«Трудовой договор (Контракт) № 174/202...

Подписан 3 августа 202...года.

ООО «Кристалл» в лице директора, Анатолия Борисовича Харченко, именуемое в дальнейшем «Работодатель», и коллектив нематериальных сущностей замка Шато-д-Суар-он-Луара-ле-пон, именуемый в дальнейшем «Работник», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Работник принимается на работу на должности Призраков и Привидений с обязательством приступить к работе 03. 08.202...г.

2. Договор является договором по Основной работе.

3. Вид Договора: на неопределённый срок.

4. Срок испытания — без срока испытания.

5. Обязанности сторон.

5.1. Обязанности Работодателя.

5.1.1. Организовать труд Работника, создать ему условия труда, предусмотренные Трудовым законодательством и другими нормативными актами, и настоящим Договором.

5.1.2. Своевременно выплачивать работнику предусмотренную настоящим Договором заработную плату.

5.1.3. Предварительно ознакомить Работника с кругом возлагаемых на него трудовых обязанностей.

5.1.4. Обеспечить дисциплину и охрану труда.

5.1.5. Соблюдать действующее законодательство и другие нормативные акты.

5.1.6. Соблюдать условия коллективного Договора.

5.1.7. Создать условия для безопасного и эффективного труда, систематически производить обучение, инструктирование по безопасным условиям труда Работника.

5.1.8. Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения работ, не входящих в его трудовые обязанности, совершения действий, которые не законны, или ставят под угрозу жизнь, и или здоровье Работника, унижать честь и достоинство Работника.»

Анатолий Борисович криво усмехнулся: уважать права и личности «нематериальных существей» он научился быстро. Потому что без подлинного уважения, как он отлично знал, работать добросовестно и эффективно не будет не только человек, но и его Призрак. Привидение. Следовательно — он и правда должен делать для своих «особых» Работников всё то, что прописано в Контракте.

Что он, собственно, и делает.

«5.2. Обязанности Работника.

5.2.1. Подчиняться требованиям Работодателя. Чётко выполнять действия и роли, намеченные утверждённым для каждого конкретного Клиента, сценарием. Не допускать никаких «экспромтов». Не допускать смерти тех Клиентов, которых не отметил особо Работодатель.

5.2.2. Не допускать смерти более, чем одного Клиента из ста, и — только тех, кого определил Работодатель.

5.2.3. Работник должен обладать необходимыми внешними и сценическими данными, для создания убедительных образов.

5.2.4. Работник должен являться на службу по местам службы полностью подготовленным, постоянно совершенствовать своё амплуа, и работать над убедительностью своего образа. Постоянно совершенствовать своё профессиональное мастерство и подготовку.

5.2.5. Работник обязан профессионально и квалифицированно выполнять все порученные ему образы и роли.

5.2.6. Работник не имеет права отказаться от порученных ему ролей, по типажу его образа, и должен следовать чёткому исполнению мизансцены в гармонии и согласованности с остальными участниками каждой конкретной мизансцены.

5.2.7. Работник не имеет права менять свой облик и амплуа по своему желанию.

5.2.8. Работник обязан до начала каждого сеанса заблаговременно ознакомиться со сценарием, утверждённым Работодателем, и с графиком и расписанием своей работы в каждом сеансе.

5.2.9. Работник обязан своевременно и точно выполнять распоряжения Работодателя, а так же своего непосредственного Руководителя в лице координатора «Маммона».

5.2.10. Работник обязан бережно относиться к имуществу Работодателя.

5.2.11. За нарушения трудовой дисциплины, неисполнение, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей Работодатель вправе применять дисциплинарные меры воздействия в виде отлучения на определяемое Работодателем время нарушителя от получения положенной ему доли психобиологической энергии Клиента.»

Анатолий нахмурился.

Да, этот пункт позволяет как-то держать в узде неадекватных и плохо управляемых «работничков». Но суть верна: именно энергия, получаемая от «пугания», страх, ужас, истерика Клиентов — и питают эти самые «нематериальные сущности», будь они неладны.

Как ни странно, но ситуация практически один в один повторяет ту, что показана в старинном мультике «Корпорация монстров». (Недаром же говорят, что ничто на этом свете не происходит такого, чтоб его кто-то не учуял! Из «информационного поля Земли»!)

Да, отлучение надолго от людей, от возможности «выпить» их страх и «отрицательные эмоции», тогда и привела их с Маммоном к логичному, и потенциально — очень перспективному и прибыльному бизнесу. Потому что когда хозяйева чёртова Шато совсем обеднели, и свалили сами, заперев, и фактически заколотив двери замка досками, все его «нематериальные» обитатели, со всей своей историей, и амбициями, едва не сдохли с голоду!

Но тут как раз и появился Анатолий, очень предусмотрительно захвативший на всякий (!) случай с собой, хоть над ним все тогда и ржали, лучшего специалиста. Экстрасенса в третьем поколении, и дипломированного мага, Василия Петровича.

И тем не менее, когда тот сообщил, что действительно наладил контакт с Сущностью по имени «Маммон», Анатолий вначале не поверил. Посчитал, что его пытаются развести на деньги! Потому, что Маммона не видел. И даже не слышал. Но вот когда по указаниям Маммона Василий построил прибор, позволяющий сейчас видеть эти самые «сущности», и то, что происходит в подвале...

Убедился окончательно!

И когда Маммон (Который, если честно, Анатолию больше нравился, когда был невидим!) предложил вполне конкретную и современную сделку, Анатолий подумал, что тут может... Выгореть!

Правда, конкретные условия Договора они оговорили только через месяц, во второй визит. Потому что сначала возник чёртов «языковой барьер». Призрак говорил на французском, а Василий, хоть и изучал его в школе и Университете, почти всё благополучно подзабыл. Пришлось срочно восстановить!

И вот он — результат!

«5.2.12. Работодатель вправе снизить оплату Работнику в случае ухудшения уровня профессионального мастерства Работника, и снижения творческого уровня, или за нарушения трудовой дисциплины.

5.2.13. Работник обязан соблюдать требования профессиональной этики, проявлять принципиальность и добросовестность в работе.

6. Режим рабочего дня.

6.1. режим рабочего дня — 4 часа в летнее время, и 8 часов — в зимнее.

7. Рабочее время и время отдыха.

7.1. Начало и окончание ежедневной работы устанавливается согласно правил внутреннего распорядка замка и графика работы каждого конкретного исполнителя, утверждаемого Работодателем.

7.2. Продолжительность рабочего дня не может превышать 8 часов.

7.3. Сверхурочные работы могут производиться только с согласия Работника, и должны оплачиваться по двойному тарифу.

8. Оплата труда Работника.

8.1. Оплата труда Работника производится из психической энергии, полученной из каждого Клиента, в соответствии с тарифами, и долями, установленными Руководством коллектива нематериальных сущностей в лице Маммона.

8.2. Работодатель, или Руководитель коллектива имеет право при ухудшении качества работы конкретного исполнителя, невыполнение, или ненадлежащее выполнение им своих должностных обязанностей, нарушения трудовой дисциплины, порче имущества Работодателя, и

других нарушениях, уменьшить долю положенной этому исполнителю психической энергии.

8.3. За повторные однотипные, или злостные нарушения Договора исполнитель может на оговоренное в Договоре время быть вообще лишён положенной ему доли психической энергии, с помещением его в место, отдалённое от Замка не менее чем на пять лье.

9. Общие требования безопасности.

9.1. Запрещается вмешиваться в работу систем и приборов, размещённых на территории замка и усадьбы Работодателем.»

Анатолий закрыл страничку. Протянул Договор Василию:

— Василий Петрович. Спрячь-ка обратно. — он кинул взгляд на круглые электронные часы, висящие над монитором, — Ого! Прошло уже не пятнадцать, а тридцать. Всё. Можешь подключать их приборы непосредственно к нему. А пока их жаренный петух не клюнул, я пройду к себе. Ведь я, типа, сплю.

— Да, Хозяин... — щёлкать переключателями Василий однако не спешил.

— Ну, говори. Я же вижу, что что-то беспокоит.

— Ага. Ведь раз ваш «кореш» окочурился, сюда наверняка нагрянут разные там Комиссии, да Прокуратуры... И пусть документы у нас — комар носа не подточит, но лазать-то они будут — везде! И на три-четыре дня минимум работа встанет!

— Хм... Ты прав, понаедут. И шнырять будут. Вот что. Спрячь наш экземпляр Договора в сейф. И пусть Маммон его прикроет завесой. Ну а по поводу клиентов... Этот пункт у нас в Договоре с *ними* тоже предусмотрен. «Задержка по причинам, независящим от Исполнителя». Я скажу в секретариате, чтоб предупредили, если что, тех, кто там на очереди... Кстати. Как там его Софико?

— Младший демон Аларих передал, что явно всё произошедшее видела. Но пока — считает всё это кошмаром.

— Плохо. Ведь всё равно может — рассказать!

— Ха! Кто же ей поверит... Но Аларих уже сделал так, что проснувшись, она забудет всё. Вообще — всё.

— Ну хорошо. Предусмотрительно. Ладно, подключай аппаратную.

— Есть, Босс!

Василий щёлкнул тумблером, повернул рукоятку.

Ого, как повскакали с мест диспетчера первой аппаратной!

Сейчас в спальню, к уже начавшему остывать телу, ломанутся и реаниматоры! Пора идти к себе в мезонин.

По дороге Анатолий думал. Что требование убивать не более, чем одного из ста Клиентов — весьма жёсткое. Чёртовы твари просили троих из ста — уж очень изголодались за время, пока замок стоял заброшенный и пустой. Некоторые — до практически полной «нематериальности». Пришлось тогда выдать часть «психической энергии» — «авансом». Используя себя и кое-кого из рабочих...

А ещё Анатолий думал, что то, что они в клиентском Договоре прописали пункт о необходимости проверки перед ночёвкой в замке «состояния здоровья» — очень хорошо. Теперь Клиенты не будут относиться к этой справке формально: типа, деньги дал — и написали!

Не-ет, теперь всё будет чин-чинарём: и кардиограмма, и энцефалограмма, и томография, и всё прочее.

И он готов поспорить обо что угодно: смерть его закадычного врага-конкурента никого из расписанной на два года вперёд очереди не заставит... Отказаться!

Потому что — где пахнет «жареным», где красивые колоритные и экзотические интерьеры, и история — там всегда и «лайки», и просмотры, и комменты...

А это для современных миллионеров, или их расфуфыренных безмозглых дур — словно красная тряпка для быка! Особенно, если «экстрим» приправлен скандалом, или опасностью и правда — умереть!

Будут, будут и снимать, и выкладывать, и переписываться, и т.д.

И пусть «нематериальных сущностей» и не видно обычным видеокамерам, зато видно — спецэффекты, которые создали его инженеры и программисты. Если честно, то и их для отличной рекламы древнего «Шато с привидениями» более чем достаточно. Команда у него — лучшая! А уж «шоу»!.. Нанял он и проф. Сценариста — для «обычных» клиентов.

Ну а пока — он открыл бесшумно дверь в мезонин, и забрался в постель, успев лишь скинуть на стул брюки и рубаху: видел, что уже бегут!

А он якобы спал, и — ничего не знает!..

Светлана Олексенко

г.Иваново

ДЕНЬ ПОСЕЩЕНИЯ

С утра в лагере все были на нервах. После завтрака лихорадочно дорисовывали праздничную стенгазету, развешивали на стендах бумажные аппликации малышей из пятого отряда, украшали павильоны флажками и плакатами. Участники концерта по бумажкам доучивали стихи. Наш вожатый Марк метался по веранде между спальнями девочек и мальчишек и кричал:

— Первый отряд, выходи строиться! Где горнист? Где знаменосец? Скоро гости начнут съезжаться, а у нас ещё конь не валялся! Репина! Хватит прихорашиваться, и так все красивые! Парни, на выход! Частухин! Ты зачем это рубище в клеточку напялил? Я же русским языком сказал: белый верх, тёмный низ — что непонятно? И чтобы все в галстуках! Светлакова! Проследи, чтобы у всех галстуки были!

Светлакова — это я, председатель совета отряда. У меня даже знак отличия есть — две красные полоски, нашитые на рукаве. Марк говорит: «Ты — командир, моя правая рука! Значит, должна следить за дисциплиной и одёргивать нарушителей. А если что не так, мне докладывать». Ну уж нет, спасибо! Ябедничать не собираюсь. Да и какой из меня командир? С моим ростом только командовать. Была бы я дылдой, как Галка Репина, тогда другое дело! Её хоть сейчас замуж выдавай — выше всех в отряде, опять же фигура и всё такое... А я в свои почти четырнадцать запросто могу в третьем отряде среди десятилеток затеряться. Так уже было, когда я за третий отряд в волейбол играла. Соседний пионерлагерь мы тогда обыграли, и подставы никто не заметил. Марк даже похвалил: «Молодец, Светлакова! Так держать!» А я ему: «Какой же я молодец, если всё это нечестно?» А он: «А ля гер ком а ля гер!»

Марк Курицын, он же Марик, он же Маркуша — студент-филолог. Учится в пединституте. Говорит, что будет преподавать школьникам русский язык и литературу. В пионерлагере он проходит практику, тренируется в воспитании. Он и в прошлую смену работал, так что я его излюбленные словечки наизусть знаю. Только не все понимаю. Я даже толковый словарь просила у библиотечарши Ирины Артуровны, чтобы Маркушин язык переводить на человеческий. Жаль, в нашей библиотеке такого словаря нет.

Интересно, как Марик будет преподавать, если говорит непонятно и ничего не объясняет? Вот сказал он Генке Частухину «рубище» — а что это такое? Генке без разницы — что рубище, что чистилище. Сегодня утром, после подъёма, мальчишки подушками подрались, пух и перья по всей спальне разметали. Вожатый их застал в разгаре потасовки и так рывкнул, что на веранде слышно было: «Что за оргия! Это чистилище какое-то!» Впрочем, Маркуша только с виду строгий, его крика никто не боится.

А иногда мне кажется, что всё-таки не зря меня в председатели выбрали. Как-никак у меня стаж пребывания в лагере самый большой. Я сюда с первого класса приезжаю. И почти каждый год на две смены подряд. Знаю все правила и традиции. И сразу могу определить — кто «с приветом», а кто нормальный. Недавно двое таких «приветливых» из второго отряда нашли в лесу дохлую змею и бегали с ней по лагерю, девчонок пугали. Те, конечно, верещали как резаные. Одна потом даже заикаться начала. Или, наоборот, перестала? В общем, неважно. А «змееловы» ржут, весело им. И ко мне прицепились. Змеиную голову в нос мне суют, слюни от счастья пускают. Я стою спокойно, не убегаю, не дёргаюсь: не на такую, мол, напали, мне эта ваша затасканная падаль до лампочки. Но если будете малышню пугать, то сильно пожалеете.

Если честно, мне было очень страшно, даже в животе похолодело — змея ведь, не лягушка какая-нибудь! Я в змеях не разбираюсь, но вдруг это не дохлый ужик, а гадюка в обмороке?

Мой дед когда-то говорил: «Никому не показывай свой страх». Дед у меня правильный был, настоящий. Знал, о чём говорит. Он всю войну прошёл. И ранен был, и награды у него... Но рассказывать о войне не любил, и кино про войну не любил. Как только по телевизору начнётся что-нибудь такое, дед сразу — в другую комнату. И дверь закроет, чтоб не слышать. Но песни военные мы с ним пели — «Синий платочек», «Землянку». Жалко, что дед рано умер, не совсем ещё старый был. От него остался китель с орденом и медалями, в шкафу у бабушки. Он висит рядом с бабушкиным похоронным платьем, которое она приготовила себе заранее, чтобы в гробу красивой быть.

Дедовы советы я хорошо запомнила. И говорил он коротко и понятно: «Не убегай от собаки — догонит. Не показывай, где больно — туда и ударят. Если обидели — засмейся, не доставляй радости обидчику». Я ему говорю: «Дед, ты прямо как на войне меня учишь, когда кругом враги!» А он: «Враги не только на войне бывают. Ударить могут и словом, и предательством — да так, что на ногах не устоишь».

Торжественная линейка началась ровно в двенадцать. Все пять отрядов выстроились буквой «П» у скульптуры «Дружба народов», в самом центре лагеря. Позади отрядов толпились родственники: мамы, папы, бабушки, дедушки и прочие братья и сёстры, прибывшие в лагерь на пригородном поезде. Многие были с большими сумками и авоськами, из которых навевало чем-то вкусным, домашним. Ребята оглядывались, переговаривались с родителями, смеялись... Я поначалу тоже оглядывалась, но своих в толпе не увидела. Наша воспитательница Анна Семёновна командовала: «Прекратить разговоры!» — и мы все притихли.

На трибуне теснились почётные гости — шефы из заводского профкома. Двое простоватых мужичков в кепках и одна крупная дама с высокой причёской и ярким маникюром. С ними на трибуне был и директор нашего лагеря Тигран Гургенович. Мальчишки за глаза называют его Пургеныч, а девчонки ласково — Тиграша. Тех, что в кепках, я не знаю, они приехали впервые. Крупная дама — это Азалия Ивановна, она каждую смену приезжает. И каждый раз выглядит немного крупнее предыдущего. Сегодня всех троих по традиции примут в почётные пионеры и повяжут им красные галстуки. Старшая пионервожатая скажет: «Будьте готовы!» Они поднимут руку в салюте и хором ответят: «Всегда готовы!» Азалия Ивановна, как всегда, зардеется и смущённо добавит: «Как приятно снова стать пионеркой!» На моих глазах её принимали в пионеры уже шесть раз.

Сначала всё было как обычно: внесли знамя дружины, трубил горнист, барабанили барабанщики. У трибуны командиры отрядов рапортовали председателю совета дружины, а тот, в свою очередь, старшей пионервожатой. Я тоже командовала своим: «Отряд! Равняйся! Смирно!» И пошла строевым шагом по длинной вымощенной дорожке — рапортовать. Пока шла вдоль пионерской шеренги, у меня развязался шнурок. Он мотался в разные стороны, и я на него наступала. Правая туфля при каждом шаге хлябала и шлёпала по пятке. Мама купила мне «парадные» туфли для всяких торжественных случаев. Взяла на размер больше, с запасом. И ваты в них напихала, чтоб нога не болталась. Но они всё равно мне велики, только за счёт шнурков и держатся.

За спиной зашептались: «Смотри-смотри! Щас галошу потеряет!..» Я старалась не сгибать ногу в коленке и перешла на приставной шаг, чтобы действительно не потерять «галошу». Один из гостей на трибуне

— пожилой, с орденом на пиджаке — громко сказал: «Красиво идёт! Прямо как Юрий Гагарин!» И Азалия Ивановна вежливо хохотнула.

В столовой на обеде народу было мало. Пионеры вместе с родителями предпочли питаться из домашних авосек и разбрелись по территории. За столом, накрытым на четверых, я сидела одна. Ела гороховый суп и постоянно смотрела в окно, ожидая появления мамы и папы. В прошлую смену они приехали позже всех, потому что добирались до лагеря не на электричке, как большинство, а на мотоцикле. По дороге у них что-то сломалось, и они застряли. Я очень не люблю ждать. Когда кого-то или чего-то слишком сильно ждёшь, время тянется так медленно! Поэтому надо отвлекаться от ожидания и переключаться на то, что происходит вокруг, или вспоминать что-нибудь интересное.

За окном кипела жизнь, дети и взрослые веселились. Гоняли мяч, качались на качелях, играли в бадминтон. Когда я была в младших отрядах, я так же веселилась вместе с мамой и папой. Однажды они привезли мне в День посещения красный резиновый мячик, мы подбрасывали его и по очереди ловили. «Мой весёлый звонкий мяч! Ты куда помчался вскачь?..» Как давно это было!

Подбежал запыхавшийся Марик:

— Светлакова! К тебе что, не приехали?

— Пока нет.

— Тогда поешь как следует. Только не засиживайся, скоро концерт!

Вместо тихого часа состоялся праздничный концерт. Зрительный зал на большой веранде был полон. В первом ряду сидели почётные гости в пионерских галстуках и оживлённо болтали с директором. За ними — воспитатели, пионервожатые, родители и ребята, не участвующие в концерте. Мне поручили объявлять номера, потому что у меня хорошая дикция.

Я объявляла выступающих и смотрела концерт из-за кулис. Это гораздо интереснее, чем из зала. Правда, артистов видишь больше со спины, зато зрителей — во всей красе. Есть зрители неблагодарные, которым мало что нравится, и сидят они с кривой улыбкой. И есть благодарные: что ни покажи — всё хорошо. Таких в зале всегда больше.

Первым номером выступал сборный хор младших отрядов. Песенку Крокодила Гены дружно подпевали родители, и у них получалось громче, чем у хористов. Баянист Володя был в ударе. Его пальцы летали по кнопкам, как птицы. Когда надо было вступать голосам, он так энергично кивал исполнителям, как будто отбивал головой футбольный мяч.

«К сожаленью! День рожденья! Только раз! В году!..» — дружно, как на стадионе, выкрикивал зал.

Баяниста я знаю давно, лет пять, не меньше. Он и тогда был Володя, и сейчас Володя, без отчества. Марик говорит, у «великих» отчество не бывает. И называет Володю виртуозом и маэстро. А что? Действительно маэстро! Он всё может сыграть на своём баяне, даже «Умиряющего лебедя»! В прошлой смене одна девочка «Лебедя» танцевала. Я лично никогда не видела косоглазых лебедей в очках... Но она очень хорошо выступила! И умирала красиво, долго. Под конец музыки легла, закрыла глаза, затихла — и не шевелится, даже не дышит, вроде. Наша Анна Семёновна и ещё одна воспитательница бросились к ней: «Валя! Валечка!» А она лежит и шипит им, как настоящий лебедь: «Уходите! Ещё не всё!..»

После хора на сцену выходили маленькие чтецы со стихами о весёлом лете. Светлана Георгиевна, воспитательница пятого отряда, стоя за кулисой, громко подсказывала текст даже тем, кто его не забыл, из-за чего получилась путаница. В зале смеялись. Потом Володя снова взялся за баян и сам объявил «зажигательный танец маленьких утят». Заиграла музыка, и на сцену гуськом, держась друг за друга, вывалились пять девочек и один — самый мелкий — мальчик. Все в жёлтых шапочках. Они хлопали крылышками, кружились, забавно дрыгали ножками в красных носках и дружно пищали: «кря-кря-кря!» Один «утёнок» — тот, который мальчик, с завидным упорством крутился не в ту сторону, не вовремя приседал и крякал больше, чем полагалось. В довершение он сорвал с головы жёлтую шапочку, высморкался в неё и приветливо помахал шапочкой в зал.

Этот «утёнок» — Лёвка из пятого отряда. На вид заморыш, и нос у него вечно сопливый. Мы познакомились ещё в начале смены. Иду я как-то из библиотеки, которая в крайнем корпусе у леса, а на пенёчке сидит малец ростом с кузнечика. Ревёт, и слёзы в три ручья. Я к нему:

— Чего ревьёшь — обидел кто?

— Не твоё дело! — отвечает. — Отвали, а то как плюну! — И ведь плюнул паршивец! Но не попал и заревел ещё громче.

— Да ты верблюд, оказывается! — говорю. — Тебя бы в зоопарке за деньги показывать! — Он сопли кулаком размазал и гордо так:

— Я не верблюд! Я Лев! Меня Львом зовут. А ты кто такая? — И даже реветь перестал.

— А меня Светлакова зовут.

— «Светлакова» — это фамилие такое. А имя как? — заважничал сопливый Лев.

— Просто Светлакова, без имени.

— Так не бывает! Имя у всех есть!

— Бывает. Вот тебе, Лев, носовой платок, высморкайся как следует. И давай я к твоему рубищу пуговицу пришью, она у тебя на одной ниточке болтается. А ты мне расскажешь, кто тебе воротник оторвал и за что по шее надавали.

— К какому рубищу? — взвился заморыш. — Нет у меня никакого рубища!.. А у тебя, что ли, иголка есть?

— А как же! Всё есть. Иголка, нитка. Даже напёрсток. Пойдём со мной!

Короче, подружился мы с Лёвкой и стали вместе в библиотеку ходить.

Лёвка — самый младший в отряде, ему ещё семи не исполнилось. Читать он не умеет, зато картинки в книжках рассматривает с удовольствием. Как увидит подходящую, сразу просит: «Вот это хочу! Читай!» Когда мы с ним прочитали про Карлсона, Лёвка сразу захотел жить на крыше и есть варенье из трёхлитровой банки. Еле его отговорила.

В лагерь Лёвку взяли по знакомству. У Лёвкиной матери в нашей столовой работает подруга — посудомойщица тётя Лида, я её давно знаю. Она-то и уговорила Тиграна Пурге... Гургеновича взять Лёвку. Под её личную ответственность. А меня тётя Лида попросила присматривать за Лёвкой, «потому что он егоза и в каждой бочке затычка», а ей некогда, она работает.

Про «егозу» — это точно. Вчера Лёвке устроили трёпку девчонки из четвёртого отряда. Оплеух надавали за «Трёх мушкетёров». Он наслушался в библиотеке, как мы с Ириной Артуровной эту книгу обсуждали, картинок насмотрелся и тут же побежал в мушкетёров играть. Не прошло и двадцати минут, прибегает обратно. Весь взмыленный, в розовой девчачьей панаме с бантиком, на плечах цветастое полотенце висит, в руках швабра. И сразу за шкаф полез — прятаться. Ирина Артуровна всполошилась:

— Что случилось, Лёва?!

— За мной гонятся! Слуги Ардинала!

— Какие слуги?

— Щас прискачут мои друзья и спасут меня! — пообещал Лёвка и на всякий случай втиснулся поглубже за шкаф.

— Какие ещё друзья? Кто?

— Атос, Картос и Карамис! А лично я — Артальян!

Как выяснилось, Лёвка прискакал в библиотеку на швабре. Сначала он хотел из неё шпагу сделать, но не успел, надо было от погони

спасаться. Мушкетёрский плащ и шляпу — то есть, полотенце и панаму — он умыкнул с веранды у девчонок. Девчонки за ним кинулись, но сразу не догнали и устроили засаду у библиотеки. А как только «Артальян» вышел из укрытия — окружили, сорвали с него мушкетёрские одежды и наподдали. Не сильно, но чувствительно. Сказали, если ещё раз сунется, получит добавки.

Концерт близился к концу. Наш отряд выступал последним. Показывали сценку из «Аленького цветочка». Я эту сценку видела уже сто раз. Главную роль Алёнушки, и вообще все главные роли, из года в год играет племянница директора — Цахик Саркисян. Марик называет её «жгучей брюнеткой с орлиным носом». С прошлого года она заметно выросла и раздобрела почти как Галка Репина. Девичий сарафан Алёнушки налез на Цахик с большим трудом, а подмышками даже лопнул по швам. Чтобы прикрыть разлезшиеся нитки, пришлось снять шаль со старой нянюшки, отчего та сильно помолодела. Зато Алёнушка была на голову выше своего сказочного отца и говорила басом: «Милый батюшка, ни нада мне ни шелков, ни бархата, ни камней самоцветных! А привизи ты мне цвиточик алинький!»

Пока играли сценку, я всматривалась из-за кулисы в зрительный зал. Надеюсь, что мои родители уже здесь, и сидят где-нибудь на задних рядах. В прошлую смену они на концерт опоздали и моего выступления не увидели. Мне было обидно. И сегодня, наверно, не увидят...

Мои родители — инженеры в заводском конструкторском бюро. Они хорошие, и желают мне добра, но им всегда было не до меня, особенно в последнее время. То они рационализаторские предложения выдвигали, то изобретения внедряли, то какие-то механизмы усовершенствовали. На работу уходили рано, домой возвращались поздно. И дома говорили, в основном, друг с другом — о работе. Бабушке тоже не до меня, она в религию ударилась, хоть и коммунистка. Целыми днями читает церковные книги и учит наизусть молитвы, как будто к экзамену готовится. Я её как-то спросила: «Бабуля, разве коммунисты верят в бога?» А она говорит: «Одно другому не помешает, мало ли что...»

Главным для моих родителей были мои школьные оценки, и чтобы я «не позорила семью». До седьмого класса я числилась в круглых отличницах, и «это было нормально», как говорил папа. Каждый год родителям на школьных собраниях вручали благодарности «За хорошее воспитание дочери», а мне — грамоты «За отличные успехи». А в седьмом классе я неожиданно скатилась на четвёрки по алгебре. Иногда и

тройки проскакивали. Я не знаю, что со мной случилось, но решать уравнения и зазубривать «куб суммы двух чисел равен...» мне стало совершенно неинтересно. Зато я не вылезала из библиотеки, а дома читала днём и ночью всё подряд.

Мама возмущалась: «Ты теряешь наше уважение! Я, конечно, понимаю, что у тебя переходный возраст, но это тебя не извиняет. Мы с папой передовики производства, на заводской доске почёта висим, у нас награды, а грамотами — хоть стены обклеивай! Мы — Светлаковы! Нас все знают! А ты теперь кто?» Мне хотелось ей ответить: «Я тоже Светлакова! Мы же — семья!» Но я промолчала, потому что в понимании мамы «Светлаковы» — это не просто фамилия, это звание. А звание надо заслужить.

И ещё мама сказала, что на меня плохо влияет моё окружение — сплошные посредственности. Мне не на кого равняться, никаких перспектив на будущее у меня нет, и хороший инженер из меня не получится. Поэтому они с папой решили, не откладывая, лечить меня «шоковой терапией» и прямо с середины учебного года перевели в другую школу. Лучшую в городе. С физико-математическим уклоном. Марик говорит, что такие люди, как мои родители, называются перфекционистами, но мне от этого не легче — я не хочу быть инженером!

«Шоковая терапия» в новой школе началась с порога, точнее, с раздевалки.

— Эй, новенькая! — окликнула меня рослая, как гренадер, девица. Она была в белой синтетической шубе и модных кожаных сапогах. — Откуда пальтишко? Из комиссионки? Как называется этот антикварный мех? — И она брезгливо ткнула пальцем в воротник моего пальто.

— Выхухоль называется... редкий мех...

— Ой, держите меня! Как-как? Выхухоль? Или нахухоль? Или похухоль? — заржала ещё одна «гренадерша» с овечьим лицом, видимо, подруга первой.

Я хотела скрыть обиду и рассмеяться им в лицо, как учил дед, но у меня не получилось. Самое обидное, что девицы были правы: меховой воротник был действительно спорот с бабушкиного пальто. Родители не баловали меня модными обновками — считали, что не вещи красят человека. А ещё они давно копили на «Жигули» и лишних трат себе не позволяли.

Девицы-гренадеры — Полосова и Кушакова — оказались моими одноклассницами. Обе — дочери каких-то городских «шишек», обе, к моему удивлению, — отличницы. Они задирали меня по малейшему поводу. Из-за них я приходила в школу задолго до начала уроков и уходила

после всех — лишь бы не встретиться с ними в раздевалке. Сложная специальная программа, по которой занимались в классе, была для меня тёмным лесом, и я не вылезала из двоек. Уроки алгебры стали пыткой, а каждый вызов к доске, как сказал бы Марик, — приглашением на казнь.

— Светлакова! О чём грезишь? — голос Марка вернул меня из воспоминаний. — Приехали к тебе? Где родители?

— Не знаю где. Не приехали.

— Ну, ничего! Не грусти! Значит, не смогли или опаздывают. Зато те, к кому не приехали, пойдут со мной на лодке кататься. Так директор распорядился. Иди переоденься! Через десять минут собираемся у причала. И возьми с собой труакар на всякий случай.

— Что взять?

— Труакар. Ну, кофту какую-нибудь — от комаров, ветра, дождя, снега и других стихийных бедствий. — Марк остался доволен своей шуткой. — И ты нам ещё раз свою «Чайку» споешь. Споешь?

— Спую...

Сегодня на концерте я пела свою любимую «Чайку», мы её долго репетировали с баянистом. Володя сказал, что я очень хорошо спела. Другие тоже хвалили, особенно Марик. Подошёл после концерта, похлопал по плечу:

— Молодец, Светлячок! Так держать!

От этого «Светлячка» и от похлопывания у меня как будто электрический ток прошёл по позвоночнику. Чего это он? Сто лет была для него «Светлакова», и вдруг «Светлячок»? Неужели ему моя песня так понравилась?..

...Я спустилась вниз по тропе к непривычно пустынному причалу. И навстречу мне вышла река! Речка. Когда я её вижу, сразу улыбаюсь. Она совсем не большая, не величественная, и ничего такого особенного в ней нет. Вода как вода... Ну, рыба водится... Но это — моя река! И значит, самая лучшая! Недавно возле лагеря речку очистили от водорослей, чтобы она не заболачивалась. Несколько дней деревенские мужики вилами вытаскивали из воды целые охапки белых водяных лилий, нарядных жёлтых кубышек с толстыми кожистыми листьями и куда-то увозили их на лодках. Без цветущих кувшинок речка выглядит голый, ободранной и не такой красивой, как прежде. Но я знаю одно нетронутое место, где и сейчас цветут лилии. И об этом я никому не расскажу!

До плотины вода в реке высокая, а после плотины — совсем мелко. Как говорит наш сторож дядя Гриша — воробью по колено. Мне

всегда хотелось пройти по течению и посмотреть, куда впадает наша речка. Жаль, покидать территорию лагеря нельзя. Я, конечно, иногда «покидаю», но тайно и совсем ненадолго. Через мост над плотиной я хожу в гости к дяде Грише, ведь мы со сторожем «давние знакомцы». Вон там, на том берегу — большой ромашковый луг. На лугу пасутся корова и коза. Это дяди Гришино стадо. И дом его бревенчатый с тремя окошками — рядом. Жена дяди Гриши — румяная, толстая тётя Нюра — очень добрая и по-домашнему уютная. Такая уютная, что хочется к ней прижаться, уткнувшись носом в плечо. Она всегда наливает мне свежего молока «прямо из-под коровки». Парное молоко мне не нравится: очень уж сильно коровкой пахнет. Но я пью — из уважения. Тётя Нюра, скрестив на груди могучие руки, смотрит на меня с довольной улыбкой: «Пей, дочка, поправляйся...» Может, она думает, что я к ним хожу молоко пить? Но я совсем не за этим хожу... Наверно, я хожу за частичкой душевного тепла — как пчела прилетает к цветку за сладкой пыльцой. И в бревенчатом доме с тремя окошками мне хорошо и спокойно — так, как должно быть на родине.

Как здорово, что вечером я увижусь с дядей Гришей! Он придёт в лагерь — сторожить. Но сначала заглянет в столовую, чтобы выпить неизменную кружку кофе перед ночным дежурством и поболтать «за жизнь» с тётей Лидой.

Я сняла босоножки и пошла по мосткам, нагретым жаркими лучами. Солнце пекло в самую макушку. Зря кофту взяла, всё равно не пригодится. Присела на ступеньку у «лягушатника», где обычно купается малышня, опустила ступни в воду. Вода была прохладной и пахла тиной. В этом «лягушатнике», где взрослому воды по пояс, я научилась плавать — давно, когда ещё в третьем отряде была. Тогда никто из наших девчонок плавать не умел, а я могла немного держаться на воде. И совсем чуть-чуть проплыть «по-собачьи». Несмотря на «чуть-чуть по-собачьи», меня сразу выставили на соревнования между отрядами, чтобы командные очки не потерять. Физрук убеждал:

— Пойми, Светлакова, надо проплыть! Всего двадцать пять метров! Да, на глубокой воде. Да, ногами дна не достать. Но ты не бойся! Плыви, как сможешь. Мы с Володей тебя на лодке сопроводим — для подстраховки. Вытащим, если что!

И не обманули, вытащили. Правда, не сразу, а когда совсем уж тонуть стала. Потом из-за этого случая меня долго дразнили: «Наша Муму».

...Оказалось, что родители не приехали только ко мне. Но катание на лодке всё равно состоялось. Вдвоём с Марком. Он сидел на вёслах и молча грёб — размашисто, уверенно. Я смотрела на его загорелые руки — как вздуваются и опадают мускулы под короткими рукавами футболки, как он поворачивает голову, оглядывая то один берег, то другой, как щурится от яркого солнца. Марику было жарко. В честь праздничного Дня посещения на нём были стильные брюки клёш, как из модного польского журнала, и весь он был тоже, как из журнала, — красивый и стильный.

Заросшие раkitником берега неспешно проплывали мимо, и редкие облака, отражённые в речном зеркале, зыбко качались в зеленоватой сонной воде. Лодка скользила по облакам, и мы тоже как будто качались... между небом и небом...

Августовское солнце раскошегарилось не на шутку, и, казалось, не будет от него спасения. Я не выдержала и показала Марику потаённое место на реке, о котором никому не рассказывала. Мы свернули к берегу, проплыли под нависающими ветками старой ракиты и оказались в маленькой тенистой заводи. Вода здесь была почти неподвижна. По гладкой поверхности сновали взад и вперёд длинноногие водомерки. Рядом с лодкой в прозрачной глубине роилась беспечная стайка мальков. Две голубые стрекозы кружили над сердцевидными листьями кувшинок. И рядом — только руку протяни — водяные лилии! Снежно-белые, чистые, с яркой, как яичный желток, серединкой. Лилии!.. Самые любимые из всех цветов! Любимые с детства, с первого взгляда и навсегда...

Давным-давно, целую вечность тому назад, я впервые каталась на лодке по этой реке вместе с мамой и папой. Мне было семь лет. Тогда так же ярко светило солнце, и река была очень красивая... Как мама, когда улыбается. И все мы, наверно, очень любили друг друга. Мы обрадовались, когда нашли эту заводь, похожую на сказку. Папа сорвал несколько кувшинок, протянул их маме и сказал: «Эти лилии для моей Лилии!» И мне тоже дал необыкновенно красивый цветок с нежными лепестками. От него пахло речной прохладой и чем-то неуловимым, как счастье. Я вдыхала запах счастья и не могла надышаться. Но цветок вскоре закрылся — как будто умер. Может быть, я слишком сильно вдыхала? Я заплакала, оттого что почувствовала себя виноватой. И тогда мама достала свой батистовый носовой платок и вытерла мне слёзы. А потом поцеловала, сложила платок в виде цветка с уголками-лепестками, вложила мне в руку и сказала: «Этот не завянет, не умрёт!

Посмотри-ка, что здесь?» На белом уголке была вышита шёлком мамина буква «Л» — Лилия.

— Слышишь? — Марик вдруг застыл, к чему-то прислушиваясь.

— Что? Что там? — я оглянулась по сторонам. — Ничего не слышу!

— Тишина. Послушай тишину. Слышишь, какая полифония?

Ну вот! Сначала «труакар», теперь «полифония» какая-то... Я замерла и стала прилежно слушать. Тишиной были лёгкий шелест ивовых листьев... ленивое поскрипывание уключины... шуршание слюдяных стрекозьих крылышек где-то возле самого уха... писк и возня невидимых пичуг в прибрежных зарослях... Всё было тишиной.

— А теперь спой, — попросил Марк.

— Может, не надо? Жалко тишину нарушать...

— Знаешь... — он чуть задумался. — Знаешь, песня тоже может быть тишиной. Спой, пожалуйста.

И я вполголоса запела: «О далёких просто-о-рах мечтая, урагану отда-а-вшись во власть, чайка в небе отби-и-лась от стаи...»

Я пела, и лодка плавно покачивалась, и лилии чуть кивали батистовыми головками. Марк сидел неподвижно, бросив вёсла, и смотрел на воду, но, казалось, он смотрит куда-то вглубь себя. Что он там видит? О чём думает? Я допела последнюю строчку, и внезапно над нами с пронзительным криком пронеслась чайка. Мы оба вздрогнули.

— Видишь, это она на песню прилетела. Спасибо тебе за песню, Светлячок... И за тихую заводь... Мы сегодня тоже, в некотором роде, отбились от стаи... — усмехнулся Марк. — Слушай, а как тебя зовут? Я ведь тебя Светлячком из-за фамилии зову, а имя узнать, как-то в голову не приходило. Ты не Света случайно?

— Нет, не Света. У меня дурацкое имя, не люблю его.

— И всё же?..

— Люба. Любовь.

— Вот оно как... Буду знать. А имя банальное, конечно, но не дурацкое, это ты зря.

— Что значит — «банальное»?

— «Банальное» — это значит обыкновенное, неоригинальное, невыразительное. В общем, не блестящее новизной. Типа «Люба из сельского клуба».

— Я почему-то так и подумала...

Рядом с лодкой по воде пошла лёгкая рябь. Это огромный жук-плавец терзал пойманного малька. Голова рыбьего детёныша с удивлён-

ными глазами и открытым ртом торчала над водой и подёргивалась. Мимо скользили равнодушные водомерки.

— Кстати, Светлячок, артистам за талант цветы полагаются. Сейчас я тебе букет лилий организую! — Марк потянулся к белым цветкам.

— Нет-нет! Букет не надо! Только одну, пожалуйста! Одну! Пусть они тут остаются... в тишине...

— Ну, как хочешь! Одну так одну... — И он выдернул из воды крупную лилию с длинным розоватым стеблем. — А теперь — в лагерь! Вдруг твои всё-таки приехали!

В лагере меня ждал сюрприз: на тумбочке лежал пакет с гостинцами от родителей. Его принёс Тигран Гургенович. Ему позвонили с завода и сообщили, что мои не смогли приехать, их вызвали на работу. А гостинцы они передали с другими родителями. Я перетряхнула весь пакет — искала записку, но кроме дорогих конфет «Белочка» и овсяного печенья там больше ничего не было. Странно, конфеты с ореховой начинкой мне даже пробовать нельзя... Неужели мама забыла про мою аллергию?

...Прислонившись спиной к закрытой двери, я сидела на библиотечном крыльце и редела. Когда человеку плохо, он бежит туда, где его любят, где он свой. Мне некуда бежать, кроме этого крыльца. Библиотека сегодня на замке, и можно нареветься вволю, никто не помещает. Самые родные и любимые люди приехать не смогли! Ко всем ребятам — смогли, а ко мне — нет. А я так надеялась, что мы побудем вместе хотя бы пару часов!.. И даже записки не написали... Работа, конечно, важнее, чем я. И грамоты — важнее. И доска почёта. Они же — Светлаковы! А я кто? Двоечница из физико-математической школы? Я никто, ничто и звать никак. Зачем я им такая? Чтобы семью позорить?.. Как там Маркуша сказал — банальное имя? Да, именно банальное! Как раз для меня!

— Светлакова! Вот ты где! — Лёвка предстал передо мной, как лист перед травой. Его довольная физиономия была перемазана шоколадом и цвела беззубой улыбкой.

— Чего ты орёшь, как оглашенный? — Я вытерла слёзы истрёпанным носовым платком с буквой «Л», но на их месте тут же появились новые.

— А ты чего? Ревёшь, что ли?

— А ты думал, тебе одному можно?

— Ничего я не думал. Реви, если хочешь, — разрешил Лёвка и уселся рядом. — Ты плачешь, потому что к тебе не приехали, да?

— Сам догадался или подсказали?

— Подсказали! Когда посещение закончилось, я к вам в отряд пошёл. Хотел тебе зуб показать, который выпал. Там и узнал. А я сразу догадался, что ты здесь! — Лёвка снова засиял щербатой улыбкой. — Ко мне мамка приезжала. Новую рубашку привезла и всякие сладости. Много! Я даже объелся. Хочешь, конфет принесу? У меня ещё остались.

— Не надо конфет. И вообще... не в конфетах счастье.

— А в чём? В чём счастье?

— Ну, может быть, в том, что ты кому-то нужен... Что по тебе скажут, тебя любят. Ни за что — просто так, потому что ты есть. Разговаривают с тобой, обнимают... Спрашивают, о чём ты думаешь, мечтаешь...

— Светлакова, а о чём ты мечтаешь? — Лёвка пододвинулся ближе.

— Сейчас я мечтаю улететь куда-нибудь... далеко-далеко... Туда, где меня никто не найдёт. Потому что я банальная, заурядная. И никому не нужна.

Мне стало невыносимо жаль себя, к горлу вновь подступил колючий ком, и слёзы хлынули сами собой.

— Ты что, Светлакова! С ума сошла? А как же я? — Рот у Лёвки скривился, брови сдвинулись домиком, и он приготовился зареветь. — Я тоже... я тоже хочу улететь... с тобой... далеко-далеко...

Мы обнялись и немного порыдали на два голоса. Лёвка басом, а я — так, подвывала. Потом успокоились и договорились улететь вместе. Только не сейчас, а когда вырастем. Я, конечно, вырасту раньше, но подожду Лёвку в библиотеке — я же хотела стать библиотекарем. Он обещает вырасти быстро-быстро, я даже заскучать не успею. А потом он станет лётчиком или мушкетёром, он ещё не решил. И тогда мы улетим. И возьмём с собой Лёвкину мамку, потому что она хорошая. Мы будем каждый день разговаривать, читать весёлые книжки с картинками и есть шоколадные конфеты, когда вздумается. И жизнь у нас будет прекрасная! А чтобы я в этом не сомневалась, он дарит мне свой зуб, потому что более ценного подарка у него пока нет.

После ужина, к которому почти не притронулась, я помогала дежурным убирать посуду. Приносила стопы тарелок к окошку посудомоечной, а тётя Лида забирала их и мыла в горячей воде с горчичным порошком. Перетаскав из зала все тарелки, я напросилась помочь тётю Лиде и стала их ополаскивать. Вскоре пришёл дядя Гриша:

— Любанька! Ты чего тут? Ваши уж на танцы собрались. Вон, у изваяния топчутся, Володю ждут.

Изваянием дядя Гриша называет скульптуру «Дружба народов», у которой пионерские линейки проходят. По его словам, раньше эта скульптура — по виду настоящий монумент — украшала в городе заводской сквер. Потом заводчане на её месте соорудили фонтан. А «изваяние» передали в подшефный лагерь — в наш то есть. И поставлено «изваяние», по разумению дяди Гриши, правильно — «на самом лобном месте, его отовсюду видать». И ни в каком другом лагере такой красоты нет! «У других-то што — гипсовые пионеры с дудками? А у нас — изваяние!» — говорит дядя Гриша и многозначительно показывает заскорузлым пальцем куда-то вверх.

А монумент действительно красивый. Три мощные фигуры на высоком постаменте видно издали: в середине русский парень с вытянутой вперёд рукой, справа от русского — китаец с книгой, слева — девушка-индианка, одетая в сари, с пальмовой веткой. На руке у центральной фигуры когда-то сидел голубь Мира, но при перевозке он откололся. И теперь русский парень с вытянутой рукой выглядит немного странно: то ли направление показывает, то ли чего-то просит.

Пакет с родительскими гостинцами я принесла в столовую — дяде Грише и тётке Лиде. И они пили кофе с печеньем и конфетами. Пили неспешно, обстоятельно. А у меня на душе было пасмурно и тоскливо. Близился к концу ещё один летний день моей жизни. Что будет дальше, когда я приеду в город? Старые друзья, которых мама называет неподходящим окружением, остались в прежней школе, а новыми я не обзавелась. Да и стыдно было бы рассказывать бывшим одноклассникам о моих нынешних «успехах». Значит — одиночество? Ненавистные формулы и уравнения? Унизительные насмешки в «лучшей школе города», куда я хожу как на каторгу? В носу у меня защипало, глаза и губы набухли отчаянием, но зареветь я себе не позволила.

— ...А под утро сморило меня — уснул! — рассказывал дядя Гриша очередную историю. — Присел на скамейку, глаза прикрыл и — всё! Как провалился. Наш-то Гургеныч, армянская ранняя пташка, меня и растолкал: полюбуйся, мол, чево у тебя тут деется! И на изваяние показывает. Я глянул, а на руке-то у изваяния — штаны висят!

— Какие штаны? — удивилась тётка Лида. — Когда это было-то?

— Натурально, мужские штаны! Брюки, значит. А было это в прошлую смену, аккурат в июле месяце.

— Да как же... да кто же... Штаны! — недоумевала тётка Лида.

— И ладно бы просто штаны, ну, мало ли... может, постирал кто... Так ведь и брючины, и карманы наглухо зашиты суровой ниткой! А пуговицы, наоборот, — срезаны подчистую! Я хотел было их снять с руки у изваяния, ведь непотребство это форменное... А Гургеныч запретил: нет, мол, не трогай! Подождём хозяина штанов, дескать, должен же он объявиться...

Дядя Гриша развернул новую конфету, разгладил цветной фантик, прочитал название и, заложив конфету за щеку, снова стал неторопливо прихлёбывать из кружки.

— Ну? Объявился? — строго спросила тётя Лида, теряя терпение.

— Кто?

— Хозяин штанов.

— А как же! Объявился. В первом корпусе. Метался в одних трусах по веранде, как затравленный заяц: то в раздевалку, то обратно, искал чем прикрыться. Видать, не нашёл. Так, в трусах, на изваяние и полез — за штанами... А трусы у него мне не понравились. Чудные. Не наши какие-то...

— Да шут с ними, с трусами! Кто ему карманы-то зашил?

— Краля его предбывшая. Видать, не потрафил он ей аль обидел чем... Вот и решила на посмешище выставить. И как она до штанов-то добралась? Бес её знает!

— Да кто он-то? А краля кто? Ничего не пойму! — кипятилась тётя Лида. — Чего ты резину тянешь? Нарочно, что ли?

— Он — Макарка Курицын, ихний вожатый, — дядя Гриша мотнул головой в мою сторону. — А краля — Зойка Клинцева из прошлой смены, у второго отряда вожатой была.

...Не могу уснуть. Лежу в кровати и пялюсь в окно. А через стекло на меня пялится кособокая луна. Рядом с луной ползает одинокая звезда — мелкая, заурядная, не блещущая новизной. На соседних койках дружно сопят девчонки. С вечера они объелись шоколадом и теперь, наверно, видят сладкие сны. Репина даже похрапывает. Счастливые!.. В ухо надсадно запищал комар, только его здесь не хватало! Зря я выпила кофе у тётя Лиды, лежу теперь и мучаюсь. Рада бы уснуть, да никак.

Неужели то, что рассказал дядя Гриша, — правда? И про «изваяние», и про штаны... Нет, этого не может быть! Дядя Гриша любит подшутить над простодушной тётей Лидой, она всему верит, вот он и придумал эту историю. Или он меня хотел подразнить? Определённо, нашему сторожу не нравится Марк, «потому как он ряженный, мутный и,

считай, ненадёжный». А ещё дяде Грише не нравится, что наш вожатый не сходит у меня с языка. Ты, говорит, Любанька, носишься со своим вожатым, как дурень с писаной торбой: Марик так сказал, Марик этак сказал... Не иначе, влюбилась!

Тоже мне, выдумал! Ничего я не влюбилась! Что я, дура — влюбляться? Просто мне нравится с Марком беседовать как с умным человеком. Я от него много новых слов узнала, и вообще... А с кем ещё нормально поговоришь? Не с Частухиным же! У того одни гриво... гривуазные анекдоты на уме. А девчонки только про любовь и наряды болтают. Я думаю, Марику тоже нравится со мной разговаривать: во-первых, я начитанная, а во-вторых, я его правая рука, и мне можно доверять. Сегодня, когда с реки в лагерь возвращались, прямо так и сказал: «Ты, Светлакова, хорошая девчонка, я тебе доверяю. О тихой заводи никому ни слова! Это будет наша тайна!» А на прошлой неделе, когда в библиотеке были, он сказал, что я похожа на Лилиен Холт! И спросил: «Знаешь, кто это?» Я говорю: «Конечно, знаю! «Отважную охотницу» ещё в третьем классе прочла. А чем я на Лилиен похожа?» А тем, говорит, что ты такая же хрупкая и скоро будешь очень красивая. После его слов я в зеркало до боли в глазах смотрела, но ничего такого там не нашла. Даже у Лёвки поинтересовалась насчёт женской красоты — всё-таки он мужчина, хоть и маленький. Лёвка авторитетно заявил, что «красивая» — это Василиса Прекрасная, которую Кощей украл. А меня никто не украл и не собирается, значит, я некрасивая. А как будет дальше, он не знает.

Луна спряталась за оконной рамой и чуть выглядывала оттуда, как шпион из-за угла. Сна по-прежнему не было ни в одном глазу. Интересно, как там дядя Гриша? Не спит? Наверно, он сейчас обходит лагерь и светит фонарём, заглядывая во все уголки. А вокруг темно и жутковато. Самое время для привидений и всякой нечисти, в которую верит наш сторож! Пойду-ка я его напугаю, чтобы всякую ерунду про Марка не выдумывал. Подкрадусь сзади да как крикну: «Руки вверх!» Или ночным призраком прикинусь... Кстати, где моё чёрное-чёрное трико?

Надвинув на лоб капюшон куртки, я выскользнула за дверь. Ночь была тёмной и прохладной, как бывает в августе. Крадучись, я обошла весь лагерь, но сторожа нигде не было. Куда он подевался? Может, на причале лодки проверяет? По тропе, знакомой до каждой кочки, я спустилась к реке. В чернильной воде вяло колыхался лунный блин. Точно такой же блин, только неподвижный, завис в небе. Он тускло светился и без интереса наблюдал за первым.

Легко и бесшумно я двинулась по мосткам. Глаза давно привыкли к темноте, и я свободно ориентировалась. Вот ступеньки в «лягушатник», вот купальня для взрослых, вот спасательный круг на фанерном щите, а чуть дальше должны быть лодки...

Послышался плеск, скрип уключин и приглушённые голоса. Кто-то причаливал к мосткам. Я испугалась, юркнула за фанерный щит и замерла, чувствуя, как забилося сердце. Может, это воры или бандиты? Обокрали же в прошлом году столовую, когда дядя Гриша заболел! Взломали дверь, вывезли на лодке продукты, и преступников никто не нашёл.

Лодка глухо ударилась о мостки где-то совсем рядом. Я осторожно высунулась из-за щита и... не поверила своим глазам! Из лодки легко выпрыгнул Марк и начал обматывать верёвку вокруг деревянного столбика. Я отпрянула и почему-то испугалась ещё больше — зачем он здесь? А потом услышала: «Выходи, Светлячок! Не бойся!»

Всё-таки заметил! Я вышла из укрытия и увидела спину Марка в белой футболке. Он подтягивал лодку к мосткам и кому-то говорил: «Выходи, Светлячок! Не бойся, не упадёшь!»

Из лодки, с целым снопом лилий в руках, неловко выбралась Светлана Георгиевна, воспитательница Лёвкиного отряда. Я сразу её узнала. На ней было светлое платье в обтяжку, белые узконосые туфли, и вся она была узкая и длинная, как цапля. Она бросила цветы на мостки, как бросают охапку сена, и принялась поправлять растрепавшиеся волосы. Я чуть не закричала: «Что вы сделали! Так нельзя!..» Но не закричала, потому что всё поняла: они разорили мою тихую заводь. И это значит... Марк меня предал? Всего несколько часов назад мы вместе слушали тишину, я пела ему свою «Чайку», он называл меня Светлячком... И ещё он сказал, что тихая заводь — это теперь наша тайна...

Сердце плавилось от неведомой жгучей боли. Закусив до крови губу, я стояла, не скрываясь, в двух шагах от них...

Им было весело. Обмениваясь шутками и пересмеиваясь, они топтались на мостках, наступали на длинные стебли, полузакрытые цветки... И не замечали меня, одетую в чёрное, как привычно не замечают какое-нибудь дерево.

— Светлячок, давай завтра снова навестим нашу тихую заводь! Тебе же понравился венок из лилий? Ты в нём была похожа на русалку!

— Скорее, на утопленницу! — кокетничала Цапля. — Когда ты взгромоздил мне на голову эти мокрые кувшинки, я почувствовала себя гоголевским персонажем. Брр!.. До сих пор мурашки по спине! Я и не предполагала, что ты такой...

— Куртуазный? Да, я такой!.. А теперь мы искупаемся в лунном сиянии! Вода сегодня — божественная! — Марк снял кеды, сбросил одежду и остался в плавках.

— Марик, я не умею плавать, а здесь глубоко! К тому же, я без купальника! — закапризничала Цапля и опасно покосилась в сторону лагеря.

— Не бойся, Светлячок! Я буду тебя держать. И можешь купаться в неглиже — никто не увидит. — Марк прыгнул в тёмную воду, немного проплыл и вернулся к мосткам. — Ну! Иди ко мне!

Она с трудом вылезла из платья, обрушилась с мостков всем своим длинным телом и, пронзительно взвизгивая, заколотила руками по воде.

Моё сердце больше не билось. На месте сердца образовалась выжженная дыра размером с футбольный мяч. В неё можно будет просунуть весло, если я так и останусь стоять столбом на этом причале. Что мне делать?.. Ведь надо же что-то делать!..

Растоптанные лилии я столкнула в воду. Потом ногой спихнула с мостков футболку, брюки и платье: пусть искупаются в лунном сиянии! Узконосые туфли не тронула... А кеды метнула так далеко, как только смогла. Физрук всегда говорил, что у меня хороший бросок.

Ну, вот и всё! Больше, чем сейчас, мне не будет. Больше уже некуда. Но я никому не покажу свою боль! А завтра я рассмеюсь предателем в лицо! Не глядяваясь, я зашагала прочь от чёрной чужой реки.

В лагере было тихо, как перед грозой. Прямо у моего корпуса из темноты возникли две светящиеся точки, потянуло табачным дымом. Я застыла на месте, боясь пошевелиться. Повела глазами вокруг, но спрятаться было негде... И не было возможности проскользнуть в корпус незамеченной.

Папиросные огоньки то ярко разгорались, то затухали, и я смотрела на них, как загипнотизированная. Двое о чём-то негромко говорили, но я могла слышать только отдельные фразы.

— ...Не могу спать, дорогой Григорий... Сердце болит. Не знаю, как ей сказать... Мне ещё днём с завода позвонили: так, мол, и так... К вам ехали и разбились... Девочку подготовьте...

— ...Да как тут подготовишь! Беда-то какая!.. Она с вечера сама не своя была... И конфеты твои есть не стала... Не угадал ты, Гургеныч, с конфетами-то... Куда ж её теперь, горемычную? Ох, беда-беда!.. Может, выпьем чего-нибудь? Меня всего трясёт...

Огоньки поплыли в сторону и стали удаляться, голоса сделались глуше, слова — неразборчивей. Вскоре неподалёку заскрипела и хлопнула дверь, в окне директорского домика вспыхнул свет.

Рванув с места, я побежала к своему корпусу. Бесшумной тенью пронеслась по веранде, на ходу стащила с себя куртку, прошмыгнула в спальню и плюхнулась в кровать. Натянула на голову одеяло, закрыла глаза. Но и с закрытыми глазами я снова и снова видела чёрную реку, предателя Марка с долговязой Цаплей, растоптанные кувшинки на мостках... Нет! Нет! Не хочу об этом думать! Надо о чём-нибудь другом... о другом... Что там директор сторожу говорил? Беда у него какая-то, сердце болит... И голос больной... А кто — горемычная?.. Конфеты какие-то... Ничего не понимаю! Ужасная ночь! Скорей бы утро! Скорей бы... А теперь — спать... спать... спать...

...Чётким строевым шагом я иду к трибуне по вымощенной дорожке — рапортовать. Вокруг — ни души. И удивительно тихо. Слышен только звук моих печатных шагов. Шнурки на туфлях завязаны двойным узлом, и я не боюсь потерять «галошу». На высокой трибуне, как на капитанском мостике, стоит мой дед в парадном кителе с боевыми наградами и приветственно машет рукой. Я подхожу к трибуне, отдаю пионерский салют и, задрвав голову, спрашиваю: «Дед, ты приехал на День посещения? А где наши?» Он отвечает: «Ещё не прибыли, они в пути». Я говорю: «Тогда я к тебе!» и лезу на трибуну. Дед сердится: «Ко мне нельзя! Нельзя!» Но я лезу, лезу, лезу!.. Он отталкивает меня, и я падаю навзничь... Мне больно, но я не плачу, а смеюсь! Потом, как весёлый звонкий мячик, подпрыгиваю высоко-высоко! Выше крыш, выше самых высоких деревьев! Прямо в светлое солнечное небо! Раскидываю руки, как крылья, и — лечу над широким простором! А внизу блестит моя река, до краёв наполненная солнцем! И мама с папой плывут в лодке... Они плывут ко мне!.. Папа сидит на вёслах, а мама держит в руках ослепительно белые лилии и улыбается...

ТЕАТР

Роберт Орешник

Калуга

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЫБАКОВ

сказка

действующие лица:

ЦАРЬ-РЫБА

РЫБАК

МАТЬ

ПРИНЦЕССА

СЕЛЯНИН

ЗАИМОДАВЕЦ

КУДЕЯР

КОРОЛЬ

КУПЕЦ

СЦЕНА 1. Берег на реке. Мать готовит на костре еду, поёт песню о кормилице реке. На берег входит Селянин.

СЕЛЯНИН (глядя на реку). Это он там плывёт?

МАТЬ. Некогда глазеть, занята я.

СЕЛЯНИН. Нет, не его лодка. Долгонько чего-то, а, мамаша?

МАТЬ. Будь добр, отстань! Я же суп готовлю, как положу не столько, да ещё и не что надо, что мой рыбак кушать будет.

СЕЛЯНИН. Не понимаю, зачем таскать с собой всякое-разное на рыбалку; взяла соли и все дела.

МАТЬ. Что он нищий какой, чтобы солёную воду хлебать вместо супа.

СЕЛЯНИН. Ну, он же рыбы на суп наловил же.

МАТЬ. Не любит мой рыбачок рыбу, так на неё посмотрелся, будто глаза в садки превратились, а нос в острогу, а взгляд рябит рыбьей чешуёй; говорит: лучшая рыба для меня — это курица, а курица без травяных приправ, всё равно, что праздник без песен.

СЕЛЯНИН. Долгонько он сегодня, ох, долгонько.

МАТЬ. Он тебе полную телегу рыбы наловил, жадина.

СЕЛЯНИН. Я не жадина, я — хозяин, у меня каждый хвост считан, по уговору одной рыбины не хватало.

МАТЬ. Вот теперь и жди не тужи и не жалуйся.

СЕЛЯНИН. Что уж и поворчать нельзя...

МАТЬ. Да ворчи, сколько хочешь, только молча, ты мне не муж, чтоб терпеть.

СЕЛЯНИН. Нет-нет, никогда не хотел бы стать твои мужем.

МАТЬ. Ну, и слава богу. А чего это так, ёлки-палки, чем я не хороша?

СЕЛЯНИН. Да хороша-то очень даже, ежели не знать, что за твоей хорошостью кроется; видал на масленицу, как ты троих мужиков на кулачках так отутюжила, что тех неделю потом трое знахарей с того света дозваться никак не могли.

МАТЬ. Дозвались же.

СЕЛЯНИН. Дозваться-то дозвались, да только они до сих пор едва от кровати до горшка едва не ползком костыляют.

МАТЬ. А пусть не лезут.

СЕЛЯНИН. Вот я и не лезу.

МАТЬ. Думали, раз баба, так и уж и отпор дать не могу. Наподдала слгонца.

Появляется лодка с Рыбаком, который поёт о Царь-рыбе.

РЫБАК. Царь-рыба!

МАТЬ. Что он кричит?

СЕЛЯНИН. Мамочка...

МАТЬ. Я тебе не мамочка!

СЕЛЯНИН. Да я не про тебя. Сынок твой, глянь, лодка бортами едва воду не черпает...

МАТЬ. Да уж, больно увесистый улов... Сынок! Помощь нужна?

РЫБАК. Нет, всё уже справился. Царь-рыба!

МАТЬ. Ух, ты! Не может быть...

СЕЛЯНИН. Чего это?

МАТЬ. Рыба такая, зовётся Царь-рыба.

СЕЛЯНИН. Впервые слышу.

МАТЬ. Вот я и говорю: ух, ты.

РЫБАК. Царь-рыба!

МАТЬ. В нашей реке не водится, заплывала прежде, прадед покойного супруга рассказывал, когда здесь ещё море-океан плескался, давно оно было, думали, как в сказке, что и не было, а ведь вот же вот!

СЕЛЯНИН. Тогда откуда ж вы знаете, что она Царь-рыба, а не что другое?

МАТЬ. Я — сама рыбачка с малолетства. И мой сын не ошибается, рыбу знает и понимает.

СЕЛЯНИН. Да, прости, вы, конечно, рыбаки потомственные. Вот, что значит, хранить и беречь традицию, и не забывать передавать без утайки от поколения к поколению.

РЫБАК. Давай-ка, дяденька, помогай, одному не сгрузить. И верёвки покрепче прихвати, ежели есть.

СЕЛЯНИН. В телеге есть, конечно. Я мигом! (Убегает.)

РЫБАК. Не дай бог очнётся, всех нас одним махом упокоит на веки вечные. Поторапливаемся, дяденька!

МАТЬ. А по виду не скажешь, что взрослая.

РЫБАК. Так и есть, детёныш царицы. А ещё вот, что на детской голове было. (Достаёт из лодки корону.)

МАТЬ. Корона!?

РЫБАК. Золотая. Наследница царицы, сама-то маманя куда-то поплыла, настоящая Царь-рыба, как дед говорил. Ну, тут я из-за камня выплываю, как-то скоренько сообразил, что да как, хватъ веслом по башке ребятёнка, оглушил, в лодку едва заташил, такая громадная детка, и как дал дёру к берегу.

МАТЬ. Надо уходить с берега, мать нас здесь легко достанет. Селянин! Где ты там возишься! Я тут соберу, покушаешь потом. Лодку спрячь с глаз, чтоб не маячила.

Вбегает Селянин, с верёвками.

СЕЛЯНИН. Я здесь!

РЫБАК. Вяжи. Начинай с пасти, чтоб не раскрылась.

СЕЛЯНИН (вяжет рыбу). Может, проще прикончить?

РЫБАК. У неё чешуя, как броня, прорехи надо искать, а времени нет.

МАТЬ (собирая вещи). Мамаша может вернуться за дитём?

СЕЛЯНИН. Не понял?

РЫБАК. У этой рыбёшки есть мамаша, очень большая, великая. Дай, проверю на крепость. (Проверяет верёвку.) Вроде плотно. Дай ве-

рёвку, волокушу сварганю. (Вяжет верёвку на рыбе так, чтобы можно было волочь.)

СЕЛЯНИН. А это что? (Указывает на корону в лодке.) Корона? Убей бог мою душу, из чистого золота!.. Я толк а этом знаю...

РЫБАК. Ну, да, царское достоинство на принцах тоже должно быть.

МАТЬ. По-моему, она — принцесса.

РЫБАК. Большая разница.

МАТЬ. Вот, что, селянин, эта рыба тебе не один хвост, согласишься, она всего улова стоит. Или бери одну царскую рыбину, или вон там в лодке есть стерлядка, добавишь к улову, и мы в расчёте.

СЕЛЯНИН. Беру рыбу с короной.

РЫБАК. Корона — не рыба, корона моя!

СЕЛЯНИН. Ничего подобного, рыба была с короной, как с плавниками или с хвостом, значит, вместе со всем, и корона принадлежит мне.

РЫБАК. Даже не думай...

СЕЛЯНИН. Или к судье пойдём!

РЫБАК. Ещё чего.

СЕЛЯНИН. Судья тебя очень любит, как будущего нежеланного зятя, вмиг на каторгу определит.

МАТЬ. Злодей!

СЕЛЯНИН. Судья-то? Ему передать твоё слово?

МАТЬ. Ты — злодей!

СЕЛЯНИН. Моё слово против твоего? Захудалая рыбачка против зажиточного селянина? Не смехи. Рыба с короной — мои, и расходимся полюбовно.

РЫБАК. Да я тебя сейчас здесь приблю и рыбам скормлю...

СЕЛЯНИН. Угрожаешь смертью человеку!? Каторжанин!

МАТЬ. Сынок! Пусть забирает.

РЫБАК. Мама! Корона же из золота, она же наш пропуск в богатую жизнь!

МАТЬ. В суде мы ему проиграем. Нечего было за судейской дочкой ухлёстывать.

СЕЛЯНИН. Со свиным-то рылом в калашный ряд попёрся.

МАТЬ. Забирай рыбу и пыли, отсюда, селянин, не беси меня. Телегу и лошадь вечером сама доставлю на твой двор, нам улов надо домой доставить.

СЕЛЯНИН. Договорились. Спасибо, рыбаки! (Уходит с песней о случайном счастье.)

РЫБАК. Мама, коронами разбрасываться нехорошо, не к добру.

МАТЬ. Не жили богато, нечего привыкать. Так спокойнее, сын. Смирись.

Из реки всплывает Царь-рыба, в короне.

ЦАРЬ-РЫБА. Рыбак!

РЫБАК И МАТЬ (хором). Боже мой... Царь-рыба!

ЦАРЬ-РЫБА. Кто из вас моего малька выловил?

МАТЬ. Я!

РЫБАК. Я!

МАТЬ. Не спорь с матерью!

РЫБАК. Я, Царь-рыба, я, по правде, я.

МАТЬ. Бежим!

ЦАРЬ-РЫБА. Поздно. (Заглатывает Рыбака.)

МАТЬ. Сынок! Верни! Твоё Величество, верни мне сына! Или съешь меня тоже!

ЦАРЬ-РЫБА. Где мой малёк, спрашиваю?

МАТЬ. Да продали мы его, заказчик тут же был, повязал и унёс.

ЦАРЬ-РЫБА. Горе мне, горе.

МАТЬ. Горе мне, горе.

ЦАРЬ-РЫБА. Корона его где?

МАТЬ. Там же, где он.

ЦАРЬ-РЫБА. Горе мне, горе.

МАТЬ. Так он — принц, не принцесса?

ЦАРЬ-РЫБА. Какая тебе разница, человек! Он — мой ребёнок!

МАТЬ. Да, это да. Прости нас, госпожа Царь-рыба, мы же не со зла, работа у нас такая, рыбаки мы. Пожалуйста, верни мне сына, он же не виноват.

ЦАРЬ-РЫБА. А вот я виновата в смерти моего малька, виновата, что не уследила. Виновата, и не боюсь признать своей вины. А вы, люди, вечно ни в чём, ни перед кем не виноваты, всех убивают, всё разрушают и как ни в чём ни бывало, типа судьба такая.

МАТЬ. Ну, согласись, каждый выживает, как может, кто-то есть, а кто-то тоже хочет кушать и для того, снабжает продовольствием того, кто не просто хочет, но и может себе позволить оплатить еду.

ЦАРЬ-РЫБА. Хватит! Надоели мне разговоры с людьми о смысле жизни, отныне все рыбы замолчат и не станут с вами общаться, а рыбалка станет для людей самым опасным занятием на свете, смертельно опасным!

МАТЬ. И мы с моим сыночком в этом виноваты?

ЦАРЬ-РЫБА. Я замолкаю.

МАТЬ. погоди, дай сказать, погоди! Прости! Я виновата, я! Не пойму, в чём, ума не хватает, на рассуждения о смысле жизни времени нет, но, честное слово, вину чувствую. Простите, Ваше Величество, клянусь, остановиться и задуматься. Только зачем мне осознание моей вины, если единственного моего сыночка со мною не будет. Ради кого мне становиться мудрой? Зачем вообще жить? Ответь! Заговори в последний раз!

ЦАРЬ-РЫБА. Реки, моря, океаны нуждаются в моей помощи, но одной меня не хватает, потому я оставляю моих деток, принцев и принцесс во всех земных водах. Раз в десять лет я могу стать матерью только одного малька, и вот вы его убили. Корона, что была на принце, выкована специально для тех мест, где ему предстояло царствовать, куда я его и провожала, где так ждут нового мудрого повелителя ради покоя и справедливого порядка, и покуда мы добрались бы до его царства, корона срослась бы с ним и никогда уже не упала бы. Через девять лет я буду здесь снова, с новым моим дитём, и мне понадобится та самая корона. Ты поняла? И тогда я верну тебе твоего сына. (Уплывает.)

МАТЬ. Царь-рыба! Эх, Царь-рыба... Что ж, я не я, но корона будет твоя.

СЦЕНА 2. Во чреве рыбы, как в огромной пещере. Сумеречно, сыро. Скелет мерцает зеленоватыми всполохами. В тёмном помещении ряд лежанок, одна из которых занята спящей Принцессой. Рыбак лежит без сознания на «полу».

РЫБАК (очнувшись). Что... Что? Что!? Жив? Жив... Жив. Где? Где-где? Где...

ПРИНЦЕССА. Во чреве Царь-рыбы.

РЫБАК. Не понял?

ПРИНЦЕССА. Царь-рыба тебя съела. Так понятнее?

РЫБАК. Да, конечно. Здесь сыро, зябко, сумрачно... Нет! Нет, я же жив... Жив я! Жив!

ПРИНЦЕССА. Попсиховать, поорать, конечно, надо, помогает, по себе знаю, но, пожалуйста, покороче, мне поспать бы.

РЫБАК. Ты кто?

ПРИНЦЕССА. Не сейчас, после поговорим.

РЫБАК. Ты где?

ПРИНЦЕССА. В постели.

РЫБАК. Тут есть постель?

ПРИНЦЕССА. Ну, конечно. Но только для заложников.

РЫБАК. Ты — заложница?

ПРИНЦЕССА. Да. Остальные вопросы, когда проснусь. Устраивайся на ближней к тебе лежанке и оставь меня в покое, пожалуйста.

РЫБАК. Но я ничего не вижу!

ПРИНЦЕССА. Река — не море, море — не океан, чем глубже воды, тем ярче светятся её кости. Так что, не переживай, скоро рассветёт.

РЫБАК. Мне страшно!

ПРИНЦЕССА. Не стыдно признаваться в трусости девушке?

РЫБАК. Я не трус, я просто и честно боюсь!

ПРИНЦЕССА. Всё, разговоры кончены. Отдыхаем.

РЫБАК. Не оставляй меня одного!

ПРИНЦЕССА. Будь мужчиной! Ты не один. Ради бога, дай поспать, или точно чем-нибудь так дам по башке, что все слова забудешь.

РЫБАК. А, вот лежанка, нашёл. (Ложится.) Не могу уснуть... Мыслей столько всяких разных... (Храпит.)

ПРИНЦЕССА. Он ещё и храпит... Надо толкнуть. Придётся всё же встать. (Идёт к Рыбаку.) Ладно, я тебя успокою. (Толкает Рыбака, тот замолкает.) Тих-тих-тихо. Спи. Мужчины, как дети, дури много, а психу десятеро больше. Спи. (Поёт колыбельную.)

СЦЕНА 3. На крыльце Селянин налаживает косу, поёт куплеты про все значения слова «коса». Из-за дома выходит Мать.

МАТЬ. Отвела лошадь конюху, телегу отчистила.

СЕЛЯНИН. Скоро управилась. Молодец, прощай.

МАТЬ. Поговорить надо.

СЕЛЯНИН. Говори, куда косу точу.

МАТЬ. Верни рыбью корону.

СЕЛЯНИН. Чего вдруг?

МАТЬ. Царь-рыба заглотила сына, обещала отпустить, если верну корону её наследника.

СЕЛЯНИН. Живьём, что ли!

МАТЬ. А как по-другому?

СЕЛЯНИН. Может, нет у меня уже короны.

МАТЬ. Как-то шустро больно.

СЕЛЯНИН. Так я тем и славлюсь, что шустёр.

МАТЬ. Тогда скажи, кому продал.

СЕЛЯНИН. Чистое золото стоит дорого.

МАТЬ. Понимаю.

СЕЛЯНИН. Назови цену.

МАТЬ. Денег нет.

СЕЛЯНИН. Тогда какая разница, где корона, ежели купить не на что.

МАТЬ. Отработаю.

СЕЛЯНИН. Работница ты очень даже хорошая. Только всякая работа времени требует, а тут царская корона!.. Хотя и рыба, но дорогая.

МАТЬ. Через десять лет Царь-рыба вернётся.

СЕЛЯНИН. Вон оно что. Стоит подумать. Всё же выгоднее сразу получить хорошую сумму, чем ждать несколько лет отработки. Но ты же вдова и мать рыбаков, вот, в чём есть интересность. Ежели совместить отработку короны с уговором на ежедневный улов, то может получиться вполне себе разумная сделка. Согласна?

МАТЬ. В целом, да, но надо обсудить подробности.

СЕЛЯНИН. Нравишься ты мне, жаль, женат на любимой женщине, не-то завтра же преподнёс бы рыбью корону в качестве свадебного подарка.

МАТЬ. На нет и суда нет, а про «нравишься» даже мечтать забудь, поотрываю всё, что покажется на тебе лишним. Веришь?

СЕЛЯНИН. Не сомневаюсь. Я — мужчина строгих правил, не боись. А теперь идём в дом, обсудим подробности, а в свидетели мою супругу пригласим и соседей, чтоб было всё мирно, надёжно, без обмана. Идём. (Уходит в дом.)

МАТЬ. Прощай, свобода. Что ж поделаешь, когда всё сложилось так, а не иначе.

СЦЕНА 4. Во чреве царь-рыбы. Вспыхивает яркий свет. Рыбак просыпается.

РЫБАК. Что? Свет!

Из соседнего помещения входит Принцесса.

ПРИНЦЕССА. Опускаемся на дно, чем глубже, тем ярче.

РЫБАК. Говорила уже.

ПРИНЦЕССА (указывает на помещение, откуда вышла). Здесь помещение для гигиены. Можно умыться, опорожниться, и тому подобное. Иди, покажу.

РЫБАК. Сам с усам.

ПРИНЦЕССА. Как знаешь, а-то как бы не пришлось звать меня за помощью, сидя на горшке.

РЫБАК. Не позову.

ПРИНЦЕССА. А если приспичит, как ты меня позовёшь?

РЫБАК. Во-первых, не позову, во-вторых, поверь, найду нужное слово покрепче.

ПРИНЦЕССА. А не проще спросить, как меня зовут?

РЫБАК. Неинтересно.

ПРИНЦЕССА. А тебя как?

РЫБАК. Неважно.

ПРИНЦЕССА. Вот и ладно. Имей ввиду, скоро начнётся бой. Самая настоящая битва, потому сходи-ка, сделай себе гигиену.

РЫБАК. Ты мне тут ещё указывать станешь!

ПРИНЦЕССА. Храпишь ты знатно.

РЫБАК. Я никогда не храплю.

ПРИНЦЕССА. Ну, я же не глухая.

РЫБАК. Я тоже.

ПРИНЦЕССА. Я слушала полночи твои заливистые рулады.

РЫБАК. А я не слышал, значит, не храплю.

ПРИНЦЕССА. Слышишь?

РЫБАК. Слышу, гул некий, что ли?

ПРИНЦЕССА. Начинается. Я уже попадала в эту переделку. Готовимся к бою. (Указывает на помещение, в которое идёт.) Здесь оружейная. Здесь же боевые доспехи. (Уходит.)

РЫБАК. Не хочу. Ничего не хочу! Нет, хочу. Хочу умереть. Мне здесь душно, тошно, муторно! В конце концов, съела меня Царь-рыба или не съела? Съела. Значит, я умер. Меня нет. Отстаньте от меня все!

ПРИНЦЕССА (выглядывая). Все мужчины одинаковые, любят закатить истерику, нюни распустить, чтобы пожалели...

РЫБАК. Не надо меня жалеть!

ПРИНЦЕССА. Гул усиливается. Скоро здесь начнётся ужас и кошмар.

РЫБАК. Так ужас или кошмар?

ПРИНЦЕССА. На твоё усмотрение. Только ты оставляешь девушку один на один с врагом, который хочет тебя не убить, а сожрать. (Выходит в боевых доспехах и с оружием.)

РЫБАК. Ух, ты, разоделась, и впрямь на ратника смахиваешь. Только, думаю, смахнуть тебя с ног легче лёгкого.

ПРИНЦЕССА. Объясняю. Царь-рыба прибыла на великий коралловый миф, где все подводные животные занимаются гигиеной, освобождаясь от паразитов и коросты. Рыба наша, конечно, царь, но тоже живая, и потому во время чистки ей будет больно и хорошо. В такие моменты она теряет контроль над собой, и заложники, то бишь мы, с тобой, оказываются беззащитны перед рыбными царскими гельминтами. Гельминты — это общее названия всяческих внутренних паразитов, червей, глистов, полипов; ну, короче, сейчас насмотришься. Всё понял?

РЫБАК. Давно ты здесь?

ПРИНЦЕССА. Два лунных года, примерно.

РЫБАК. Лунных?

ПРИНЦЕССА. Да ты юнец!

РЫБАК. Я взрослый мужчина, постарше тебя!

ПРИНЦЕССА. Тогда должен знать, что женщины живут по лунному календарю.

РЫБАК. Что ж вы, не люди, что ли.

ПРИНЦЕССА. Люди, но не как остальные.

РЫБАК. Мужчины — не остальные, мужчины — это всё!

ПРИНЦЕССА. Юнец.

РЫБАК. И что! Не надо мне ничего знать про женщин.

ПРИНЦЕССА. Да ты, наверное, и не целованный?

РЫБАК. Ещё как целованный! меня самая лучшая женщина на свете целует! Мама!

ПРИНЦЕССА. Ну, мама — это не то.

РЫБАК. Очень даже то! И других никаких женских особей мне и близко не надо. Насмотрелся я на таких-то, на целованных, сегодня воркуют, как голуби: курлы-мурлы, а назавтра шипят и рычат друг на дружку, как кошки, и царапаются, и дерутся. Нет, мама — единственная лучшая женщина на свете. Ещё бабушка, ежели жива. А так-то бы даже и сестёр не надо, от них одни неудобства.

ПРИНЦЕССА. Сегодня может оказаться последним, ежели мы не встанем спина к спине и не будем биться, одной мне защищать двоих тяжельно точно, не справиться.

РЫБАК. А ты меня не защищай.

ПРИНЦЕССА. Я людей не бросаю и не сдаю, воспитание не позволяет.

РЫБАК. Ладно, уговорила, пособлю, так и быть. На мой размер найдётся?

Гаснет свет.

ПРИНЦЕССА. Началось! Торопись, я их задержу!

Во всполохах видится битва людей и гельмитов.

СЦЕНА 5. На крыльце сидит Селянин, поёт о человеке, потерявшем всё.

Из дома выходит Заимодавец, с короной в руке.

ЗАИМОДАВЕЦ. Что за корона?

СЕЛЯНИН. Это-то хоть не бери, она не моя!

ЗАИМОДАВЕЦ. Раз в твоё доме находится, значит, твоя, то бишь теперь моя.

СЕЛЯНИН. Это матери рыбака вещь, выкуп за сына!

ЗАИМОДАВЕЦ. Не знаю никаких рыбаков, знаю только должников. Мои люди покуда шурудят по твоему бывшему хозяйству, собери, что дозволил я твоей семье взять с собой, и чтоб к вечеру духу вашего не было в доме.

СЕЛЯНИН. Дух нашей семьи останется здесь навечно, потому что дом наш.

ЗАИМОДАВЕЦ. Разберёмся. Некогда, в вашем селении ещё с двоих должников взыскивать надо. Труды мои тяжкие. Бывай, Селянин, не поминай лихом.

СЕЛЯНИН. Буду!

ЗАИМОДАВЕЦ. Ну, поминай, коли охота, мне как с гуся вода, задубел уже от людских слёз. Впредь умнее будете, когда за новыми кредитами к заимодавцу пойдёте. Всё справедливо: ты — мне, я — тебе, поговору. (Уходит.)

СЕЛЯНИН. И то, сам же брал, сам уговаривался.

Из-за дома выходит Мать.

МАТЬ. Что ж теперь, Селянин?

СЕЛЯНИН. Всё, ты мне ничего не должна.

МАТЬ. Тогда носи рыбью корону.

СЕЛЯНИН. Заимодавец забрал. Прости, не уследил.

МАТЬ. Горе моё, горе!

СЕЛЯНИН. У тебя горе? У меня горе горькое, из-за тебя, из-за доброты моей. Надо было, как хотел, переплавить корону в золотой слиток, продать и с долгом рассчитался бы, и остался бы с домом. Нет, пожалел, дурак, рыбаков.

МАТЬ. Не в короне дело, Селянин, а в твоём долге, не надо было обращаться к заимодавцу. И корону урвал не по справедливости, вот и получил наказание. Эх, кабы не детки у тебя, спалила бы очаг дотла, чтоб данное слово дороже жизни ценил! Оставайся, живи уродом. (Уходит.)

СЕЛЯНИН. Очаг не мой, пали, сколько хочешь, сам огонь поднёс бы. Я не урод! Я несчастный невезучий селянин, который был так счастлив, что забыл: везение кончается раньше, чем ты это заметишь. Сам виноват, сам.

СЦЕНА 6. Опушка. Слышно, неподалёку поёт ватага разбойников. Из лесу выползает избитый Заимодавец.

ЗАИМОДАВЕЦ. Злодеи... упыри... ограбили... убили живого человека...

Входит Мать.

МАТЬ. Заимодавец, ты?

ЗАИМОДАВЕЦ. Я, я, помоги... Разбойники!

МАТЬ. Где корона, что ты отобрал у Селянина?

ЗАИМОДАВЕЦ. Злодеи всё моё отобрали.

МАТЬ. Это они там распевают?

ЗАИМОДАВЕЦ. Они, убийцы, они, делят добычу... моё добро!

МАТЬ. Какое же оно твоё, ты же его у селян отобрал.

ЗАИМОДАВЕЦ. За долги, женщина, за долги, они же все у меня займы брали и не вернули.

МАТЬ. Не ври, заём, небось, тебе каждый отдал, а вот проценты уже не потянули, так что, не твоё добро, не скули.

ЗАИМОДАВЕЦ. Всё по-честному, по-человечески!

МАТЬ. По-честному — это значит по чести. Дал займы золотой, вот и получи обратно столько же, ну, два, чтобы не просто хлеб с маслом был, но ещё и с икрой. А ты, сколько требуешь вернуть? Пять? Десять? За что? А главное, зачем?

ЗАИМОДАВЕЦ. Так принято!

МАТЬ. Вот и у людей так принято, не помогать заимодавцу.

ЗАИМОДАВЕЦ. Так нельзя, я же тоже человек, и я прав!

МАТЬ. Гельмиты тоже уверены, что правы, пожирая всё живое изнутри, только живому это не нравится, потому что никто добровольно гельмита не заводил. Ты — гельмит и человеческого в тебе только оболочка. Вернись в село, полюбуйся, сколько деток ты оставил без куска хлеба, спроси, сколько взрослого работного народа ты отправил на тот свет, оставив без гроша и надежды. Спроси, и тебе ответят. Выходит, грабители ограбили грабителя. Всё по-честному.

ЗАИМОДАВЕЦ. Да вы же сами берёте!

МАТЬ. А ты не предлагай.

ЗАИМОДАВЕЦ. Так вы же просите.

МАТЬ. А ты не давай.

ЗАИМОДАВЕЦ. Но мне же жалко.

МАТЬ. Пожалей себя, как те, кого ты однажды пожалел. Кабы делал ты добро, разве тебя не уважали бы? Кабы жил по благодати, разве тебя не любили бы? Вот и делай выводы из того, что ты делаешь и как живёшь, здесь, в дорожной грязи, самое место поразмыслить о себе любимом. Всё, хватит. Теперь мне пора, бандитов бить. По-другому этот народец не понимает, только силой. Может, я и неправа, но уж больно кулаки чешутся.

ЗАИМОДАВЕЦ. Бог накажет, что не помогла страждущему.

МАТЬ. Кто знает, может, и так, а может, иначе. Ты был у Него и вернулся мне рассказать, что верно, что неверно? Молчишь. Вот и молчи, береги силы, тебе, гельмиту, ещё долго ползти до того человека, что подаст тебе руку помощи под проценты, да отсохнет у него рука. (Уходит.)

Звучит песня разбойников, обрывается криками и стонами.

ЗАИМОДАВЕЦ. Мама родная, неужели она напала на целую шайку... сумасшедшая. Люди! Люди, помогите... (Уползает.)

СЦЕНА 7. Во чреве Царь-рыбы яркое свечение. Принцесса нанизывает жемчуг на коралл, изготавливая кулон и поёт о герое на белом коне. Входит Рыбак.

РЫБАК. Повезло! Опять рукодельничаешь, ты же слаба. С таким упорством впору быть какой-нибудь принцессой, а не нормальной девицей. Ну, да, бог с тобой, сама себя ухайдакиваешь.

ПРИНЦЕССА. Что за везение?

РЫБАК. Каким-то макарон наша рыба проглотила чуть не стаю зайцев. Сейчас же начну готовить. Мы — с мясом!

ПРИНЦЕССА. Светишься, как рыбы кости.

РЫБАК. Вот-вот, надоело питаться морепродуктами.

ПРИНЦЕССА. Заметил? Свет гаснет. Поднимаемся из глубин.

РЫБАК. Всё равно, что со светом, что без, всё одно в тюрьме.

ПРИНЦЕССА. А мне в Царь-рыбе даже нравится. Все удобства к нашим услугам, никаких скандалов, интриг, как на суше.

РЫБАК. Что ты делаешь с кораллом?

ПРИНЦЕССА. Украшаю жемчугом.

РЫБАК. И что получится?

ПРИНЦЕССА. Красота.

РЫБАК. То бишь, без пользы.

ПРИНЦЕССА. Кто знает, что полезнее, красота или жаркое из мяса, по-всякому бывает в жизни.

РЫБАК. По-твоему, это жизнь!

ПРИНЦЕССА. Конечно. Просто обстоятельства такие, что жить приходится во чреве рыбы.

РЫБАК. Смирная ты стала, непривычно. Такая любительница была поучить, покомандовать.

ПРИНЦЕССА. Стемнело.

РЫБАК. Ничего, огонь мясо подсветит.

ЦАРЬ-РЫБА. Принцесса, готовься.

ПРИНЦЕССА. Да, Царь-рыба, да, Ваше Величество.

РЫБАК. Что такое?

ПРИНЦЕССА. Отец выполнил требование Царь-рыбы разобрать дамбу, и я ухожу на берег. Домой. На волю!

РЫБАК. Вон оно что. А что значит «принцесса»?

ПРИНЦЕССА. Я — принцесса.

РЫБАК. Да ладно! Как это?

ПРИНЦЕССА. Ну, так устроено, когда отец — король, его дочь — принцесса.

РЫБАК. Я думал, принцессы другие.

ПРИНЦЕССА. Какие?

РЫБАК. Ну, такие какие-то.

ПРИНЦЕССА. Лучше меня?

РЫБАК. Хуже.

ПРИНЦЕССА. Ты же вечно ворчишь на меня, такое впечатление, что хуже меня на свете нет девицы.

РЫБАК. Да я к тебе, как к девице, ни разу не относился. Ты — мой спутник, боевой товарищ, опытная жилица в этом треклятом месте.

ЦАРЬ-РЫБА. Принцесса, на выход.

ПРИНЦЕССА. Иду! Вот кулон, нарочно для тебя сделала, на память. Примешь?

РЫБАК. Ну, давай.

ПРИНЦЕССА. Можно, я сама его надену?

РЫБАК. Ладно.

ПРИНЦЕССА (надев кулон на шею Рыбака). Вспоминай меня. Можешь даже ругать, только помни. Пора. Жаль расставаться, ты мне понравился.

РЫБАК. Да ты тоже нормальная. Ничего, поскучаю, потом, может, наша Царь-рыба ещё кого в заложники заглотит.

ПРИНЦЕССА. Поцелуй меня.

РЫБАК. Нет, не хочу.

ПРИНЦЕССА. Я такая мерзкая?

РЫБАК. Да нет, просто не хочу.

ПРИНЦЕССА. А я хочу.

РЫБАК. Ну, и хоти.

ПРИНЦЕССА. Я тебе ничуть не нравлюсь?

РЫБАК. Нравишься.

ПРИНЦЕССА. Тогда целуй!

РЫБАК. А потом всю жизнь мучиться воспоминанием? Нет уж, лучше нам расстаться друзьями, тем паче, что не свидимся более никогда.

ПРИНЦЕССА. Мне так хочется остаться.

РЫБАК. На суше тебя ждут, и там лучше, чем со мной, простым рыбаком. Да и глупо, человек должен жить на земле, а не в рыбе. Хотя соглашусь, что Царь-рыба — отличное место для проживания.

ЦАРЬ-РЫБА. Берег! Причал.

ПРИНЦЕССА. Иду! Прощай, рыбак.

РЫБАК. Прощай, принцесса. Благодарю за кулон, сберегу, и буду помнить.

ПРИНЦЕССА. Оставь же и мне на память, хоть что-то! Поцелуй.

РЫБАК. Эх, была не была, должно же быть у человека хоть на мгновение счастье.

Поцелуй.

ПРИНЦЕССА. Благодарю. Хуже, чем мамин поцелуй?

РЫБАК. Мама — не то. Ещё разок!

Поцелуй.

ПРИНЦЕССА. Будет, а-то останусь!

РЫБАК. Не стоит. Живи счастливо. Проводить?

ПРИНЦЕССА. Нет. Прощай. (Уходит.)

РЫБАК. Прощай. Ну, вот, теперь будет, кого не только помнить, но и любить. И кушать расхотелось. Темно-то как... темно. (Поёт.)

СЦЕНА 8. Лесистый берег. С обрыва к реке спускается Король.

КОРОЛЬ. Царь-рыба! Я пришёл!

К берегу подплывает Царь-рыба.

ЦАРЬ-РЫБА. Договор исполнен, дамба разобрана, а вот и твоя Принцесса, Король.

Из распахнутого рта Царь-рыбы выходит Принцесса.

ПРИНЦЕССА. Ох, мне дурно.

КОРОЛЬ. Сестричка!

ПРИНЦЕССА. Брат мой! Не могу идти, голова кружится.

КОРОЛЬ (подхватив Принцессу). Не бойся, я с тобой. Царь-рыба, что с ней!

ЦАРЬ-РЫБА. С ней ваш дурацкий свежий воздух. Погоди немного, оклемается.

КОРОЛЬ. Как ты, дорогая?

ПРИНЦЕССА. Да как-то так...

КОРОЛЬ. А мы тебе торжественную встречу приготовили, на пристани, весь двор собрался, гвардия. И вдруг слышу голос Царь-рыбы, мол, не люблю открытых мест, а ещё более толпы людей.

ЦАРЬ-РЫБА. Я и людей не люблю.

КОРОЛЬ. Ну, я и помчался сюда.

ЦАРЬ-РЫБА. Ну, что, Король, вопросы ко мне есть?

ПРИНЦЕССА. Король?

КОРОЛЬ. Отец умер год назад. Теперь я на троне.

ПРИНЦЕССА. Папа!.. папочка.

КОРОЛЬ. Идти можешь? По такому крутому склону транспорт не доставить.

ПРИНЦЕССА. Ещё немного.

КОРОЛЬ. Я тебя на руках понесу.

Из зарослей выходит Купец.

КУПЕЦ. Уже никого никуда нести не надо, гражданин Король.

КОРОЛЬ. Что!?!

КУПЕЦ. Я уполномочен народным собранием арестовать вас и доставить на всеобщий суд.

КОРОЛЬ. Что за бред...

КУПЕЦ. Народ вас сверг. Сопrotивление бесполезно, если внимательно оглядеться, можно увидеть десятки наведённых на вас арбалетов. Вас, Принцесса, народ решил не трогать, приняв во внимание долгое заключение в проклятой рыбе.

ЦАРЬ-РЫБА. Проклятая рыба — это я?

КУПЕЦ. Естественно.

ЦАРЬ-РЫБА. А ты кто?

КУПЕЦ. Тебе-то какое дело.

КОРОЛЬ. Ты кто!

КУПЕЦ. Ну, так-то бы купец, а вообще член совета народного собрания. Ой, да какая разница. Короче. Гражданка Принцесса свободна, гражданин Король под арестом, а рыба может плыть отсюда куда подальше. Или я даю отмашку и десятки арбалетов спустят курки. Ну, ёлки-палки, на суде всё сто раз расскажут, объяснят, приговорят, а мне домой пора, сегодня праздничный обед по случаю великого освобождения Принцессы, праздника-то никто отменять не захотел, чтоб заодно отпраздновать и свержение ненавистного Вашего самодержавия. А на обед у меня сегодня акулье мясо. Твой родственничек, Царь-рыба, очень уж вы хороши для человеческого питания.

ЦАРЬ-РЫБА. Ну, за грубость и хамство, Купец, ты мне ещё ответишь. Просто сейчас не хочу усугублять ситуацию. А только есть вопрос, с чего вдруг толпа взбунтовалась?

КУПЕЦ. Мы — не толпа, и мы не бунтовщики, а за правильными словами обращай в соответствующие органы. Но, по сути, объяснить могу: из-за дамбы. Да-да. Дамба изменила наш уклад в другую, продуктивную сторону. А то, что предыдущий монарх её разобрал, опять вер-

нуло население в предыдущее состояние. Короче, нам не нужны наводнения. Нам нужен размеренный упакованный покой. Всё, я устал, а значит, в моём лице, устал и народ. Гражданин король, прощайтесь с сестрой и пошли уже по домам, здесь сыро, можно простыть.

ПРИНЦЕССА. Брат мой, я — с тобой.

КОРОЛЬ. Нет.

ПРИНЦЕССА. Да!

КОРОЛЬ. Царь-рыба! Забери её, пожалуйста, и доставь на другой счастливый берег.

ПРИНЦЕССА. Нет, ни за что, я свободна!

ЦАРЬ-РЫБА. А вы настоящий монарх, с понятием, жаль, ежели вас казнят.

ПРИНЦЕССА. Нет!!!

ЦАРЬ-РЫБА. Да. (Заглатывает Принцессу.)

КОРОЛЬ. Благодарю, Ваше Величество Царь-рыба.

ЦАРЬ-РЫБА. Купец, ежели вы надумали восстанавливать дамбу, спрос будет жестокий, и, поверь, тебя-то я в заложники брать не стану, просто переварю и выплуну. Прощайте, Ваше Величество. (Уплывает.)

КОРОЛЬ. Прощай, Царь-рыба.

КУПЕЦ. Шпагу, гражданин король, будьте любезны.

КОРОЛЬ. Король отдаст шпагу купцу!? Да никогда и ни за что. (Ломает шпагу о колено.) Обломки королевской шпаги народ принимает?

КУПЕЦ. Так-то бы ваша шпага, строго говоря, не ваше имущество, а народное достояние, и ломать чужие вещи нехорошо. Думаю, суд добавит к списку ваших преступлений и эту порчу имущества. Хотя, по правде, одним смертным приговором больше, одним меньше, голову-то отрубят всё равно лишь раз.

КОРОЛЬ. Меня, короля, как курицу положат на пенёк и отрубят голову?

КУПЕЦ. Ну, не как курицу, а как петуха...

КОРОЛЬ. Не бывать тому.

КУПЕЦ. Ещё как бывать! Лопнуло моё терпение! Бросай обломки на землю, руки — за спину и шагом марш на плаху.

КОРОЛЬ. Обломки — тоже шпага, прими, как подобает, из рук в руки.

КУПЕЦ. Ещё чего. Во-первых, у меня тоже есть оружие, во-вторых, помни об арбалетчиках.

КОРОЛЬ. Купец, ты не достоин своего короля, и тебе он шпагу свою не отдаст, и никому другому, и голову короля вы тоже не осечёте. Ар-

балетчики! Слушай своего главнокомандующего. Арбалеты — к бою! Цель — ваш король. А ты, купчина, прощай. (Закалывает Купца.)

КУПЕЦ. Меня убили! (Падает.)

КОРОЛЬ. Арбалетчики, пли!!!

СЦЕНА 9. Во чреве царь-рыбы, Рыбак поёт о любви. Входит Принцесса, присоединяется. Свечение усиливается.

СЦЕНА 10. Лес. К дереву привязана Мать.

МАТЬ. Сынок... Горе мне, горе. Не выручила сына, не спасла.

Входит Кудеяр.

КУДЕЯР. Ну, бойцовая тётка, очнулась?

МАТЬ. Как ты сказал?

КУДЕЯР. Ты перебила всю мою ватагу, половина теперь просто invalidная команда. Думаешь, прошу и отпущу? Конечно, ты женщина видная, даже завидная для любого холостяка, но я — атаман и за подчинённых несу честную ответственность.

МАТЬ. Кудеяр?

КУДЕЯР. Кудеяр? С чего взяла?

МАТЬ. Тебя не узнать, изменился. Кабы не твоё выражение «бойцовая тётка», даже не подумала бы о тебе.

КУДЕЯР. Мы знакомы?

МАТЬ. Думала, ты погиб. Так мне люди сказали.

КУДЕЯР. Не ошибаешься?

МАТЬ. В чём?

КУДЕЯР. Во мне.

МАТЬ. Наверное, ошибалась. Когда-то ты был знатным рыбаком, а теперь разбойник. Конечно, ошибалась.

КУДЕЯР. Кто ты?

МАТЬ. Твоя супруга.

КУДЕЯР. Врёшь! Нарочно, чтобы объегорить меня!

МАТЬ. Не пугай, пуганая. Лучше скажи, почему ты меня не помнишь, если не прикидываешься, конечно.

КУДЕЯР. А чего мне прикидываться, не я к дереву привязан, а ты, не мне грозит казнь.

МАТЬ. Казни, если совести нет, невинного человека, лишь бы тебе было приятно. Одна просьба. Помнишь, не помнишь, неважно. У нас есть сын. Его забрала Царь-рыба.

КУДЕЯР. Царь-рыба!?

МАТЬ. Сынок выловил её малька, отдал заказчику. По моей глупости, вместе с мальком, заказчик забрал и корону рыбного принца. От заказчика рыбы корона перешла к заимодавцу, которого ограбила твоя шайка. Так вот, Царь-рыба приказала мне вернуть корону принца, в обмен на жизнь моего сыночка. Нашего, Кудеяра, нашего сына!

КУДЕЯР. Много лет назад меня, разбитого, нашли в лесу добрые разбойники, выходили, но память я потерял. Не знаю с тех пор, кто я.

МАТЬ. Как хочешь, так и поступай, только верни Царь-рыбе корону и освободи сына. А меня казни, бог с тобой, атаман, если тебе людская жизнь дешевле воровской чести.

КУДЕЯР. Замужем?

МАТЬ. Да. За тобой.

КУДЕЯР. Столько лет хранишь верность?

МАТЬ. Известно дело, баба дура не потому, что дура, а потому, что однолюбка.

КУДЕЯР. Ежели сниму путы, драться не станешь?

МАТЬ. А что, боишься?

КУДЕЯР. Ещё бы. Такая на вид прекрасная женщина, а здоровенных мужчин молотишь как жернова зерно, в пыль.

МАТЬ. Не трону. Отпустишь?

КУДЕЯР. Тогда терпи, скрутили тебя не по-детски. (Обрезая верёвки.) Навела шороху, мельница. Есть среди добычи золотая корона, верно. Готово.

МАТЬ. Благодарю!

КУДЕЯР. Не помню тебя. Но, признаться, от такой подруги не отказался бы. Останешься со мной?

МАТЬ. Нет.

КУДЕЯР. Сама же сказала, что моя законная супруга.

МАТЬ. Я — вдова честного рыбака, а подругой убийцы ни за что не стану.

КУДЕЯР. А когда бы отказался от воровского ремесла, вернулась бы?

МАТЬ. А я и не уходила. Не вернулся ты.

КУДЕЯР. Пойдём, отдам корону.

МАТЬ. Кудеяра, я тебя всю жизнь жалела, и сейчас. И поступаешь ты, как мой Кудеяра. Вернёшь корону — вернёшь сына, вернёшь и меня.

КУДЕЯР. А кто вернёт мне меня?

МАТЬ. Кроме Бога, никому.

КУДЕЯР. Поживём — увидим. Может, и песня у нас, с тобой, была заветная?

МАТЬ. А как по-другому, без одной песни на двоих, дружной жизни не бывает.

Мать и Кудеяр поют.

СЦЕНА 11. К берегу подплывает Царь-рыба.

ЦАРЬ-РЫБА. Время Царь-рыбы!

С обрыва бегут Мать и Кудеяр.

МАТЬ (протягивая корону). Царь-рыба! Ваше Величество, вот твоя корона!

КУДЕЯР. Царь-рыба, наяву!

ЦАРЬ-РЫБА (слизнув с рук Матери корону). Благодарю, женщина, ты настоящая.

МАТЬ. Мама маму всегда поймёт.

ЦАРЬ-РЫБА. А вот и твой сын.

Из распахнутой пасти Царь-рыбы выплывает лодка под парусом, под флагом. У штурвала — Рыбак и Принцесса.

МАТЬ. Сынок! Сынок, с девушкой!? Чудны дела твои, Царь-рыба!

КУДЕЯР. Что за флаг такой? Впервые вижу. Гляди: на лазоревом поле, горизонтально извилистый серебряный переклад, означающий реку, и корона...

РЫБАК. Под этим флагом мы заложим новое селение!

ПРИНЦЕССА. И назовём его: Царь-рыба!

ЦАРЬ-РЫБА. Счастливо оставаться.

Песня «Царь-рыба».

ПОВЕСТЬ

Сергей Шумский

Ижевск



ПОЕЗД ДО РОДИНЫ

Обмануть буфетчицу

Неуютный вокзальный буфет. Суровая буфетчица наблюдает за единственными посетителями. Серёга и Воробей стоят за столом, на котором два недопитых стакана кефира. Друзья страдают жестоким похмельем.

— Воробей, а ты унюхал, чем пахнет вокзальный сортир?

— Мочой. Чем он еще пахнуть может?

— Не, Воробей, ты не прав. Летом вокзальные туалеты пахнут отпуском — молодыми женщинами, морем, вином!

— Кончай трепаться, лучше спроси ещё раз, — он кивнул на буфетчицу.

— Рано, не продаст. Ты пей кефир-то.

— Да не помогает он ни черта! Попробуй — спроси!

Серёга знает, если Воробей настаивает на опохмелке, значит, ему уже не просто очень плохо, а край подошёл. Поворачивается к буфетчице, но не успевает открыть рот, как получает её ответ:

— Не время ещё.

Серёга начинает умолять:

— Ты так налей. Без времени. Помрём ведь тут у тебя!

— Мужики, да что мне, жалко, что ли? Не могу раньше времени — камера вон работает, — в углу, на который она показала, едва заметно светился огонёк камеры.

Воробей выстукивает нервную дробь по столу:

— Неделю уже едем на твою родину.

— Давно бы доехали, если б не выходили из поезда в каждом месте, которое тебе понравилось.

— И сегодня ночью из-за меня вышли?

— Нет, врать не буду. Сегодня из-за меня.

— И вышли-то на какой-то маленькой станции. А зачем?

— Ночное небо давно не видел.

— Да-да-да! Медведицу на небе искал, звал её, как потерявшуюся кошку люди зовут.

Серёга улыбнулся:

— Нашёл ведь!

— Ну нашёл. А чего столько радости от этого?

— Есть у меня такая примета: если я ночью увижу ковш Большой Медведицы, тогда новый день пройдёт хорошо.

— Ты что, каждую ночь её высматриваешь?!

— Стараюсь. Можешь не верить, но примета работает.

— То есть по твоей примете сегодня должен быть хороший день?

— Да.

— Посмотрим. Но начинается он кисло. Эх, сейчас бы в речку эту, в которой утром купались, нырнуть. Как-то странно она называлась?

— Река Решётка.

— Быстрая, прохладная. И зачем мы оттуда сюда так рано приехали?

— Песчаная лучше.

— Река, что ли, так называется?

— Ага. На родине у меня.

— Родина, родина! И что ты там хочешь найти?

— Ты ж спрашивал, и я тебе рассказывал.

— Угу. Это про хороших людей?

— Да.

— Все там у тебя на родине хорошие?!

— Все.

Воробей кивает на буфетчицу:

— И продавщицы?!

— И продавщицы.

— Да ладно! Заливаешь.

— Правду говорю. Помню, меня в магазин послали, в дежурный, уже вечером. За хлебом. Далеко было идти. Я на что-то отвлекся и опоздал. Продавец уже закрыла свою лавку, домой торопилась. Увидела меня, узнала, в чём дело. — Серёга повысил голос, чтобы буфетчица его наверняка услышала. — И не стала объяснять мне про режим работы магазина. Вернулась, открыла магазин, продала мне хлеба. — И уже обычным голосом, даже и совсем тихо добавил. — Он был ещё горячий. Никогда потом я не ел такого вкусного хлеба.

Буфетчица укол оставила без внимания, усмехнулась только: «Сравнил хлеб с водкой!»

Воробей же проникся, было, воспоминанием товарища, но почувствовал, что тот рассказал не совсем то, что было на самом деле, а уже немного легенду о том, что было. Спросил:

— А ты когда на своей родине был в последний раз?

— Так в детстве и был.

— А-а... тогда понятно. В детстве, если повезло с родителями, все люди хорошие и добрые. Потом они почему-то другими становятся. — И как будто говоря самому себе, а не товарищу, с тоской добавил. — Не надо в детство возвращаться. Там уже нет никого, ушли все. — В этом месте Воробей посмотрел, чем занята буфетчица, мигнул другу, сказал тихонько: «Играю», и громко проговорил. — Нет уже никого в детстве, ушли оттуда все, а некоторые вовсе помер...

Не договорив, Воробей закатил глаза и начал сползать на пол. Серёга подхватил игру, громко выругался, бросился ловить товарища. Буфетчица обернулась на мат и тоже поспешила на помощь. Серёга усадил товарища на пол, спиной к стене, нащупал у того пульс, посчитал немного про себя, сморщился. Потом принялся энергично растирать товарищу уши, потом слегка пошлёпал по щекам. Воробей что-то промычал. Бледная буфетчица шумно ойкнула: «Живой? Может, скорую вызывать?»

Серёга сердито взглянул на буфетчицу:

— Не успеет доехать твоя скорая!

— А что же делать-то?

— Просил же тебя по-человечески: «Дай водки». Ну что стоишь? Водку неси! Тебе же хуже будет, если он помрёт в твоём буфете, полдня с полицией будешь объясняться. А я на тебя ещё и пожалуюсь, могла спасти, но не проявила сознательность.

— Не кричи! Сейчас принесу.

Полная буфетчица на удивление быстро метнулась за стойку и, закрыв камеру видеонаблюдения спиной, налила водку в стакан.

Серёга успел разглядеть её налитые ягодицы, шестимесячную завивку обесцвеченных волос, даже цвет помады, подумал про себя: «Ничего ещё женщина!» и возмутился:

— А мне?!

Буфетчица налила водки во второй стакан, быстро вернулась:

— Вот! — руки её тряслись, голос дрожал.

— Да не бойся ты так, сейчас всё поправим!

Он взял стакан и, придерживая одной рукой голову Воробья, принялся потихоньку лить водку ему в рот. Когда тот сделал первый глоток, сказал буфетчице:

— Да поставь ты мой стакан! Прольёшь ещё.

Ему и самому хотелось выпить, но пришлось доигрывать спектакль — если бы буфетчица поняла, что её развели, она точно устроила бы им скандал и, судя по её крепким формам, не маленький.

— Ну, ну! Давай, Воробей, помаши нам крыльями. Уф, ожил. Давай, поднимайся на ноги. Воробей открыл глаза, вздохнул и медленно, с помощью товарища и женщины поднялся, облокотился на столик. Потом быстро взглянул на своих спасителей и коротко высказался:

— Ещё.

Серёга расплылся в улыбке:

— Ну, теперь уж сам. — Обернулся к буфетчице. — Спасибо тебе, спасла человека.

Женщина понемногу возвращалась в своё обычное состояние:

— Да что там... Я пойду к себе?

— Иди, дорогая ты наша женщина.

Буфетчица вернулась за стойку, жалеючи наблюдала за мужиками, приговаривая: «И что они с собой делают? Им жить и нас радовать, а они через водку помирают...»

Друзья между тем не торопясь допивали водку и тихонько разговаривали.

— Ловко у тебя получилось, Воробей. Если б ты не шепнул «Играю», я бы всё за чистую монету принял.

— Да я почти и не играл, чую, сознание вот-вот уйдёт, ну, думаю, надо торопиться.

— Успел.

— Ага. Повезло. — Воробей облизнул свои жёсткие усы и заключил: — Ну, всё. Теперь можно жить дальше!

Серёга, допивая порцию утреннего лекарства, знаком попросил Воробья помолчать. В тишине он проследил быстрый путь водки через желудок в мозг, отпил кефира и проговорил:

— Пожалуй, надо возвращаться домой. Помрёшь ещё взаправду в дороге.

— Ну, вернуться-то я один могу, ты дальше езжай.

— Нет. Вместе уехали, вместе и вернёмся.

— Тут ты прав. Разделиться в общем деле — это всё равно, что поругаться. Получается, подвёл я тебя.

— Ничего.

— Не хочу, чтобы ты из-за меня на свою родину не попал. Ты ж так долго туда собирался.

— Ничего. Успею ещё. Когда-нибудь...

— Нет, поехали сейчас.

— А вдруг там всё не так будет, как я намечтал? Давай домой возвращаться...

— Нет-нет-нет! Едем к тебе на родину!

— Чего это ты на этом так настаиваешь, Воробей?

— Столько лет ты ноешь про свою родину, я этого больше не хочу слышать, поэтому едем.

Друзья ещё какое-то время препирались, потом решили довериться судьбе.

— Серёга, ехать нам всё равно куда-то надо — домой или на родину твою, поэтому давай сделаем так. Я сейчас иду в кассу и покупаю билеты на первый поезд. Если поезд идёт на запад, едем домой. Если на восток — едем к тебе на родину.

— Ну давай сыграем в орлянку! Ты за билетами, а я за водочкой, её как раз скоро начнут продавать в магазинах.

— Только много не бери, — Воробей начал эту короткую фразу энергично, повелительно, а закончил почти сомнением. Ответ услышал правильный:

— Много не буду, возьму достаточно.

Друзья вышли из буфета и направились в разные стороны, Воробей — в кассовый зал вокзала, Серёга на привокзальную площадь в ближайший магазин.

Буфетчица долго смотрела им в след, качала головой, потом спохватилась: «А деньги-то? За водку! А, ушли. Ну пусть, другим дорожке встанет».

Вагон был спокойным

Объявление по вокзалу: «Скорый поезд «Москва-Новореченск» прибывает к первой платформе. Стоянка поезда — 15 минут». Поезд прибыл на первый путь, вагон, в который купил билеты Воробей, остановился как раз напротив выхода из вокзала. Воробей с билетами в руке присвистнул: «Ну хоть тут повезло, не надо бегать по перрону». В ожидании товарища он закурил, подошёл к проводнице, поздоровался и после ответного приветствия спросил:

— А что же из вашего вагона никто на перрон не выходит? У вас пассажиры-то есть?

— Сама удивляюсь, столько лет работаю, а никогда ещё такой поездки не было. Вторые сутки едем, а у меня в вагоне всего два пассажира. Непривычно, даже страшно почему-то. С народом-то спокойнее.

— Ничего, хозяйюшка, теперь веселее поедем, лишь бы товарищ мой не опоздал. Без него-то я в вашу Сибирь не поеду.

— Где ж ты его потерял?

— В магазин он побежал.

— Если за водкой, то зря. Нельзя в поезде распивать алкоголь.

— Ну, чуть-чуть-то можно.

— Ресторан для этого есть.

— Ресторан? Больно уж там цены несправедливые. Разве что поесть немного. Он в каком вагоне?

— Да вон, через вагон от нас. Там и поесть сейчас недёшево. А в купе выпивайте аккуратно. В поезд охрану почему-то вернули.

— Менты с нами едут?

— Едут. Так-то они ребята нормальные, но не нынешняя смена, а Сашка так и вовсе отмороженный.

— Сашка? Тёзка мой. И кто он такой, этот Сашка?

— Сержант. И ведь не он главный у них, а командует. Не связывайтесь с ним.

— Такой строгий?

— Дурной!

— Дурной? Так о мужчине может говорить только женщина, которая его хорошо знает.

— Мимо, дорогой. Никаких отношений у меня с ним нет и не было. Как мужчина он мне совсем не интересен. Пристаёт ко мне всю поездку, так надоел!

— Разобраться с ним?

Люба удивлённо посмотрела на невысокого Воробья:

— Не надо скандалов в поездке.

— А скандалов и не будет. Я тихонько с ним поговорю.

— У вас получится? Вы такой... не богатырь.

— Ну, кое-что умею.

— Спасибо за предложение, но я сама с ним как-нибудь разберусь.

Дурной, со слов проводницы, сержант в эти минуты проходил по составу с очередной проверкой. В вагоне, где предстояло ехать Серёге и Воробью, он заглянул в единственное занятое купе, пассажиров которого он запомнил по именам. Моисей сидит на левой полке, Паша лежит на правой, непонятно, спит он или просто задумался о чём. Сержант тяжело и долго смотрел в глаза старого еврея, тот даже заёрзал.

Моисей был из учёных, из тех, которые мало интересуются бытовой стороной жизни. За все свои почти 60 лет он, кажется, во второй раз разговаривал с живым полицейским, причём, первый раз с полицей-

ским он разговаривал несколькими часами раньше, с этим же самым. Моисей явно трусил.

Наконец, сержант спросил:

— А что сосед твой? Он хоть живой?

— Пять минут назад ругался матом. Живой, стало быть.

— Не беспокоил он тебя больше?

— Как вы ему пистолетом-то пригрозили, спать лег, испугался. Я, признаться, тоже вас напугался. Скажите, у вас там боевые патроны?

— Ага. На всякий пожарный случай.

— И что, вы сможете выстрелить в человека?

— Да уж не сомневайся, понадобится — рука не дрогнет. Эй! — он бесцеремонно толкнул Пашу.

Паша вздрогнул, выбрался из тяжкого сна:

— А?.. Чего тебе, сержант?

— Пока ничего. Ты смотри: будешь пить — веди себя тихо. Запомни: мне очень не нравится, когда меня не слушаются.

Паша совсем не боится дурного сержанта, но ситуацию, исходя из своего богатого жизненного опыта, не обостряет:

— Ладно-ладно. Все будет нормально.

Сержант не находит повода продолжить разговор с Пашей, обращается к более слабому духом Моисею:

— А ты, Моисей, чего испугался? Я безвинных не отстреливаю. Но вы тут не расслабляйтесь, я к вам часто буду заходить.

Паша морщится от головной боли, не сдерживается:

— Будем рады каждой новой встречи, гражданин сержант!

— Ох, смотри у меня, Паша! Дерзкий больно, да?

— Извини, сержант. Перебрал я вчера.

— Да похоже, что не только вчера. Ладно, дорога дальняя, ещё наговоримся.

Паша молча посмотрел на уходящего сержанта, потянулся к бумажному кульку на столике. Взял из него мойву в тесте, разглядел её внимательно, понюхал и с отвращением бросил назад:

— Какой сон испортил!

Моисей вздрогнул:

— Кто? Я?

— Нет, не ты. Мент этот поганый.

— Ну зачем вы так сразу — «мент поганый». Или, по-вашему, они все поганые?

— Не все. Но этот — точно поганый. Я их много на своем веку повидал, даже пьяный в дым чую, нормальный ко мне мент подошел или

поганый подкрался. Этот мне сразу не понравился. Вчера. Я ведь вчера в поезд сел?

Моисей не без жалости и не без некоторого всё же презрения покачал головой:

— Скорее сегодня. Ночью, даже к утру ближе. А сон-то, какой был?

— Сон-то? Да будто в гостях я у матери с отцом. И хорошо еще все у меня в жизни, с женой в гости приехал. И жена какая-то вдруг хорошая, красивая. Волосы у нее солнцем пахнут. Как раньше было, когда мы с ней на юга ездили. Поцеловал я ее в голову, в волосы-то, и показалось мне вдруг, что это не жена, а... Ну, другая женщина. Я и назови жену чужим именем. Интересно, как бы оно все там во сне закончилось? Зря меня мент разбудил.

— Не зря. Он тебя от семейного скандала спас, — пошутил Моисей. — Расцарапала бы тебе женщина лицо, а так целый проснулся. Помятый, конечно, но целый. С женой-то живешь?

— Нет. Лет пять как расстались.

— А женщина, та, другая, которая во сне?

— Зачем я ей, — после долгой паузы, — такой? Слушай, вы, евреи, народ умный, колдовством занимаетесь, кабалистикой всякой. У меня родители-то померли давно. Чего они мне приснились? Может, к себе зовут? У тебя выпить нету, Моисей?

— Ох ты! Как попросить опохмелиться, так Моисей, а когда сел в вагон, в пьяном-то виде, сразу на «жида» сбился. Эх вы, русские люди...

— А я не русский. Я — хохол. Правда, я до сих пор не понял, какая между нами разница?

Паша сел на полке, посидел в задумчивости, посмотрел на свои ноги, снял зачем-то носки, повертел их в руках, понюхал, посмотрел через дырявую пятку в окно и помыслил вслух:

— Золото искал. Его никто не потерял. Алмазы искал. Их тоже никто не потерял. Нефть искал. Но и ее без меня нашли.

Моисей посмотрел на него с интересом:

— Вы что, геолог, что ли?

— А? — Паша словно очнулся. — Ага. Было дело.

— А едете куда?

— На родину.

— Как это на родину?! Наш поезд идет в Сибирь, а не на Украину!

— Умный, да? А ты что же, не в курсе, что из России теперь на Украину на танках едут, а не в поездах? Это ты от того спросил, что я хохлом назвался?

— Ну да.

— У меня отец с Украины, а я там ни разу и не был. А ты вообще знаешь, чем хохол от украинца отличается? Украинец — это тот, кто живёт на Украине, а хохол — там, где ему лучше. А любому человеку лучше там, где он родился, где его детство прошло. Вот туда я и еду. Там у меня друг школьный геодезией командует. Вспомнит, может, меня. Работу какую-нибудь даст. Значит, не дашь выпить?

— Не дам.

— Да будь ты человеком, налей рюмку подлечиться. У меня деньги есть, — поднимается, чтобы достать деньги из кармана брюк, но сразу же падает на полку. — Есть у меня деньги, координация вот пока не вернулась. — Достает мятые деньги, протягивает их все Моисею. — Возьми сколько хочешь, грамм 150 бы мне. А лучше — 200.

— Не надо тебе пить. Не умеешь ты это делать. Сейчас чайку у Любы попросим.

Паша встрепенулся:

— Какая такая Люба? У нас что, баба в купе?

— Люба — это наша проводница.

— А-а-а. Так не нальешь, стало быть?

— Нет, не налью. Да и нет у меня.

— Врешь, что нету. Я слышал, как ты ночью тайно под подушкой колбасу жрал. Значит, и выпивка у тебя есть.

— Странная логика.

— Да и чую я, без всякой логики, что есть у тебя выпивка.

Чувствовал ли это и вправду Паша, нельзя сказать. Но алкоголь у Моисея действительно был. Не водка, коньяк в бутылке в форме ракеты. Его он вёз к банкету, которым должна была закончиться встреча в Новореченске. Он и мысли не допустил, что может им поделиться со случайным попутчиком. Паше же сказал:

— А трапезу свою я предлагал вам со мной разделить, вы просто не помните.

— Я на ночь не ем. Надо же, рюмку водки для человека жалеет! Дай хоть одеколону.

— Что вы такое говорите! Одеколону! Кошмар!

— Ка-а-шмар! — передразнил Моисея Паша. — Не нравятся тебе русские люди! Что ж ты в свой Израиль не едешь?!

— Зачем же вы, Павел, себя за всех русских людей выдаёте? А почему в Израиль не еду... Это очень болезненная для меня тема, Павел. Прошу вас, не будем об этом.

— Вот всё у вас так! Вам, евреям, можно что угодно о нас говорить, а мы к вам исключительно с уважением должны относиться!! — Паша зло отвернулся к стенке. Не стал ничего говорить и Моисей, но этот не от злости, а от слёз.

Пассажиры знакомятся

Воробей докуривал уже третью сигарету, нервничал. По вокзалу сообщили об отправлении поезда, на который он купил билеты. Наконец, услышал:

— Воробей! Воробей! — это кричал Серёга с железнодорожного пешеходного перехода. На привокзальной площади по дурацкому муниципальному закону алкоголем не торговали и он, по подсказке местного выпивохи, рискнул успеть сбежать в ближайший нормальный магазин, который находился за железнодорожными путями. Успел.

Воробей радостно замахал рукой и закричал:

— Я здесь! — И пошёл на встречу.

— Оставь докурить!

— Да тут уж и нету ничего, — проговорил Воробей и, закурив для друга новую сигарету, с тёплой улыбкой смотрел на Серёгу. Тот, рискуя разбить не только водку, но собственный нос, скачками через несколько ступенек нёсся вниз по лестнице. Он почти задохнулся, но всё же взял сигарету, глубоко затянулся, выдохнул:

— Ну че с билетами? Я водки взял.

— А я билеты купил.

— И куда идёт наш поезд?

— Твоя взяла, поезд идёт на восток.

— На восток? Это — судьба! Выпьем?

— Может, не будем, пока в поезд не сядем? А то будет как тогда.

— Ну, не хочешь, тогда я один.

— Ну, давай тогда и мне.

— Держи.

Воробей сделал небольшой глоток из бутылки:

— Уф! — передал водку товарищу.

— Наше с тобой здоровье!

— Ты сколько взял?

— Литр.

— А хватит нам?

Серёга:

— Не хватит, еще возьмем. Водки в России столько, что всем-всем-всем хватит! У нас какой вагон?

— Да уж пришли, вот он. Вон и хозяйка наша.

Подходит к Любе, Воробей протянул ей билеты с паспортами и представил своего товарища:

— Вот ещё один ваш пассажир, хозяйюшка.

Серёга посмотрел на бедж проводницы:

— Здравствуйте, Любонька!

— Здравсьте, здравсьте, — ответила та, вздохнув от вида возбуждённых от алкоголя друзей. — Поторопитесь, скоро отправляемся. Так... Пятое купе у вас.

Серёга продолжил знакомство с новой женщиной:

— А кто у нас в соседях? Девчонки?

— Посадила бы я вас к девчонкам, как же.

— А что, мы ещё вполне приличные мужчины.

— Вижу я, какие вы приличные, водкой за версту тащит.

Серёга продолжил ёрничать:

— Ну так: вокзал-перрон-прощание. Девчонок, значит, нет. Может, хоть женщины?

— Мужики у меня в пятом купе едут. Один — интеллигент, а второй вроде вашего будет, гуляка. Вы смотрите, тихонько себя ведите, а то у нас охрана нынче строгая. Зеленый дали! Давайте быстрее в вагон, заболтали меня совсем.

Серёга и Воробей идут по вагону. Вещей у них немного: у одного — сумка через плечо, у другого — небольшой рюкзак. Серёга отсчитывает:

— Так, второе купе, третье, четвертое. А вот и наше. Смотри, Воробей, нас здесь ждут — дверь приоткрыта.

— Ждут, как же!

После стремительного бега до магазина и обратно до перрона, после хорошей порции алкоголя, Серёга пребывал в замечательном настроении. Он повернулся лицом к своему товарищу и продолжил трепаться

— А чего? Везде двери наглухо закрыты, а у нас нет.

— Это потому, что нет больше никого в вагоне! Только два пассажира и те в нашем купе!

— Нет никого? Ни разу в жизни не ездил в пустом вагоне.

— А я ездил.

— Это куда ты ездил в пустом вагоне, Воробей?

— В Воркуту.

— Ты мне об этом не рассказывал.

— Я тебе много чего ещё не рассказал.

— А почему-вагон-то пустой был?

— В Печоре все вышли. И я 10 часов один ехал. Проводник, сука, ушёл к друзьям. Для одного тебя, сказал, не буду вагон топить. Дело зимой было, ох, и замёрз я тогда.

— А чего тебе в Воркуту понесло?

— На практику из строительного техникума послали. Может всё-таки зайдём в купе?

Серёга вздохнул, открыл дверь пошире и шагнул в купе. Остановился, посмотрел на соседей, те после своей ссоры никак не реагировали на новых пассажиров. Растроганный Моисей закрывал лицо газетой, Паша зло уперся взглядом в потолок.

— Здравствуйте, господа, — уронил Серёга, потом, переведя взгляд на Пашу, добавил, — и товарищи. Тоже. Здравствуйте.

Моисей очнулся:

— Здравствуйте. Простите, задумался.

В купе протиснулся Воробей:

— Здравсьте, соседи. Так, наши места, конечно, верхние. Надо было «СВ» взять. Там в купе всего два места. И оба нижние.

Моисей подвинулся к окну, освобождая место:

— Присаживайтесь.

Паша не реагирует на ситуацию, не встает, чтобы освободить место вошедшим. Серега садится рядом с Моисеем, Воробей пятится в коридор, устраивается на откидном стуле:

— Ничего. Не беспокойтесь, хозяйева, я здесь посижу.

Моисею страшно неудобно перед вошедшими:

— Ну, какие же мы хозяйева и какие же вы гости? У нас у всех права одинаковые.

На его вежливость откликнулся Паша:

— Права одинаковые. Обязанности — вот почему-то у всех всю жизнь разные, — выговорил он хмуро и отвернулся лицом к стенке.

В купе повисло молчание. Серёга с Воробьём переглянулись:

— Сереж, ты спроси у них, ничего, что мы здесь сидим, мы им не сильно мешаем? Что-то они молчат как-то вызывающе. У нас осталось?

На последний вопрос вскидывается Паша, садится. Серега достает початую бутылку водки, там уже немного совсем:

— На раз выпьем?

— Ты как хочешь, а я свою долю на два раза разделю.

Серёга протягивает водку Воробью:

— Ну, тогда пей первым.

Паша смотрит, как Воробей делает глоток, передает бутылку Серёге, тот прикладывается долго. Паша громко сглатывает слюну.

Воробей останавливает Серёгу:

— Э-э! Не увлекайся, отдай.

Забирает водку, медлит, смотрит на Пашу. Тот не выдерживает:

— А-а-а мне? Мне нужнее, мне надо, я заплачу, — лезет в карман за деньгами.

— Засунь свои деньги себе в жопу. И научись говорить человеку, которого ты в первый раз видишь в своей жизни, «здравствуй». Ведь он еще не успел сделать тебе ничего плохого. — Воробей медленно допивает остатки. — Так, я чувствую в себе зверский аппетит! Серёга, пойдём в ресторан, съедим горячего, мы ж со вчера ничего не ели.

— Ошибаешься, мы и вчера ничего не ели.

— Тем более!

— Ты иди, закажи там что-нибудь. Я попозже подойду.

— Опять? Она же страшная.

— Страшная? Не заметил. А ты улыбку её видел? А голос!

— Да голос-то здесь причём? А, иди, куда хочешь, а я хочу есть!

Серёга и Воробей забрасывают вещи на верхние полки и расходятся в разные стороны, один в ресторан, второй в купе Любы.

Паша выгибается на своей полке, поскуливает от похмельных боли и тоски.

— Да уж, как-то вы некорректно себя повели. Что уж, в самом деле, не поздороваться-то было?

Паша почти кричит:

— Водки мне, водки! Дайте мне водки...

— Да где ж я ее возьму? Нету у меня. А вот таблеточки есть. Я сейчас поищу. Цитрамончик, аспиринчик — вам, глядишь, и полегчает.

Паша на такую заботу скрипит зубами, пытается встать, но без сил падает на свою полку, от подскочившего давления его начинает потряхивать.

Первое ухаживание

Серёга стучит в открытую дверь служебного купе.

— Что вам, пассажир?

— Меня Сергей зовут.

— Очень приятно. Что вы хотите?

— Голос ваш слушать. Расскажите мне что-нибудь!
— Сказочку на ночь? Так ночь ещё не скоро.
— Тогда давайте просто поговорим.
— Молодой человек, я на работе, поищите собеседника в своём ку-

пе.
— Да-да. Извините. Понимаю, что со стороны моя просьба кажется глупостью.

Хотя не со стороны — тоже глупость. Но ваш голос действует на меня каким-то волшебным образом. Это какой-то цыганский гипноз.

— А, поняла. Это вы так оригинально ухаживаете за женщинами. Хитро придумано! Ноги там или талию не у каждой женщины похвалишь, а голос — беспроегрышный вариант.

— Пусть так. Да и что тут, зачем скрывать — ухаживаю, да. — Смотрит Любе в глаза. — Ну, что вы молчите, Люба? Не хотите со мной разговаривать, тогда перечислите что у вас есть к чаю? и какой чай есть? и — почём? — Люба смотрит на него изучающе, молчит. — И это, лотереи всякие. У вас же есть лотереи, во всех поездах их навязывают.

— Чудной ты какой-то, — и с улыбкой добавила, — интересный. — В этот момент за спиной Серёги появляется сержант из охраны поезда, его видит Люба, голос её меняется. Сержант снял форму, он в футболке, без жетона, но с пистолетом на боку. — Постельное бельё брать будете, пассажир? По правилам вы обязаны взять постель. Ну что вы молчите? Эй!

Серёга, словно очнувшись от сна:

— Буду. Конечно буду.

— Так берите!

— Нет, потом. Я лучше ещё приду. Меня товарищ в ресторане ждёт, суп остывает. Потом, ладно?

— Потом так потом. Хватит отвлекать меня от работы.

Серёга поворачивается и сталкивается нос к носу с сержантом, от неожиданности вздрагивает. Сержант усмехается:

— О, испугался? Есть чего бояться?

Сергей заметно подобрался:

— Да нет. Давно не боюсь. Никого. И почти ничего.

— Смелый, да? Кто такой? Откуда и куда следуем? Предъяви паспорт и проездной документ!

Серёгу злит наглость сержанта:

— Да ты кто такой-то, чтобы тыкать мне и паспорт спрашивать?

— Я представитель власти в данном поезде, сержант полиции...

Серёга завёлся:

— Сержант? А где твои погоны? Где твой жетон? О, у тебя ещё пистолет на боку! Может ты не сержант, а бандит?

Сержант немного опешил от такого напора:

— Пассажир, что ты себе позволяешь?!

У Серёги за спиной женщина, которая ему нравится, отступить нельзя:

— Да пошёл ты, товарищ.

Испокон веку если и может кто предупредить драку мужчин, то только женщина. Не просто женщина, а та, из-за которой они ссорятся. Когда сержант в бешенстве схватился за кобуру, Люба строго произнесла:

— Прекратите! Оба! Что вы как молодые петухи, в самом деле. Саша, милый, успокойся, я прошу тебя!

Люба обманула сержанта одним словом «милый», она специально произнесла его нежно, даря тем самым кавалеру надежду. Понимала, что это рискованная провокация и, скорее всего, за ласковое это слово ей придётся ответить, но что было делать? Сержант купился, уступил:

— Ладно, пассажир, мы с тобой позже договорим!

Вмешательство Любы, это её «милый», обращённое к сержанту, сбilo Серёгу с толку — вдруг у них отношения, а я влезаю в эти отношения и противен им обоим?

— Не о чем мне с тобой говорить, приятель. — Сергей аккуратно отстранил со своего пути сержанта и не торопясь пошёл по коридору. Но услышав последнюю реплику соперника: «Ну подожди, подожди, рассчитаюсь я с тобой», обернулся:

— Что ж, если ты этого хочешь, давай посчитаемся.

— Да иди ты уже! — крикнула Сергею Люба и накинулась на сержанта. — За что ты с ним считаешься? Правильно он тебе сказал — ходишь как бандит по вагонам, к людям цепляешься. Ты же полицейский, веди себя прилично.

— Ну, ты ещё поучи меня! И чтобы я больше не видел у тебя этого!

— А если увидишь, то что?

— Застрелю обоих!

— Совсем ты с катушек слетел, Саша. Ох, чует моё сердце, не кончится это добром.

— Это от тебя зависит, чем кончится, добром или злом.

— Опять угрожаешь. Не надоело?

— Извини, Любаша. Но ведь ты не откажешь своему милому?

— Иди уж, Саша, мне работать надо.

— Ты... — сержант берёт Любу за рукав, та вырывается, — Ух, как ты мне нравишься! Жди меня, я обязательно вернусь.

Спасение Паши

Когда Сергей вошёл в вагон-ресторан, Воробей уже доедал свой обед:

— Сорвалось?

Сергей сел напротив Воробья:

— Ты выбрал здесь самое съедобное? — и не дожидаясь ответа, заказал официантке тоже самое, что съел его товарищ.

...Познакомились они, когда оба были женаты, Сергей в первый и пока единственный раз, Воробей в очередной. У Серёги уже тогда отношения с женой были порядком испорчены, терпели друг друга по привычке и для того, чтобы «у ребёнка были оба родителя». Про эту привычку Воробей сказал, что она плохая, но с аргументом про ребёнка согласился. Потому что помнил, как резко поменялась его собственная жизнь в 14 лет, когда умерла мать. Отец занялся поиском следующей жены, родственники забрали к себе младшую сестру Саши, а его, подростка, отправили учиться в другой город. В общаге строительного техникума он почувствовал себя никому не нужной сиротой. Окончательно это чувство он так и не смог изжить, а отношения не только с отцом, даже с родной сестрёнкой были почти формальными, никак не родственными.

Воробей не стал повторять свой вопрос про знакомство с Любой, он и задал его для разговора, на самом деле его мало интересовали донжуанские приключения товарища. Но непривычно тоскливое выражение Серёгинаго лица расстраивало:

— Что там такое необыкновенное случилось у тебя с Любой, что ты такой мрачный?

— Саша, она мне действительно понравилась. У меня такое было один или два раза в жизни.

— И?

— У неё есть человек, которого она любит, зовёт его милым.

— Если она сама тебе об этом рассказала, то, может быть, и не врёт.

— Рассказала? Да я видел всё своими глазами! И ведь хам такой! За что она такого мудака полюбила? Он пистолетом мне пробовал угрожать!

— Пистолетом? Как это? Он кто-такой-то?

- Сержант полиции из охраны поезда.
- Вот как! Сержант. А зовут его как меня, Сашка?
- Сашка вроде. А ты откуда его знаешь?

Воробей пересказал другу свой разговор с Любой на перроне, высказал догадку о женской хитрости, когда она назвала милым этого придурка, ведь именно для того она, мол, хитрила, чтобы отвести беду от Серёги.

Серёга обрадовался:

— Ну, если так, то, то это ж совсем другое дело! Сам всё узнаю, у меня же хороший повод к ней зайти — постельное бельё взять. Пойдём прямо сейчас!

— Пойдём. Ты к своей Любе, а я спать лягу, разморило после обеда.

— Пожалуй, и я немного отдохну. Соберусь с мыслями.

Дверь в их купе было открыта, в глаза бросилась картина: Моисей сидит расстроенный, Паша лежит — едва живой. Воробей заметил на столе таблетки, взял в руки упаковки, смотрит на них, на Моисея, на Пашу:

— Ни хрена ему сейчас не поможет, кроме алкоголя. Давай, Сереж, открой водку.

И началась процедура возвращения Паши к жизни. Моисей сбегал ополоснуть стакан из-под чая. Серега ищет в своем рюкзаке водку, Воробей усаживает Пашу в угол к окну, проверяет, сколько в нем жизни осталось. Считает у Паши пульс, прикладывает руку ко лбу, проверяя температуру, показывает ему пальцы и просит сказать, сколько тот их видит. Паша реагирует слабо. Воробей покачал головой:

— Кома где-то рядом.

Моисей, восторгаясь уверенными действиями Воробья, трогает Сергея за плечо, благоговейным шепотом спрашивает:

— Ваш товарищ — доктор?

— Какой, к черту, доктор!

— Но у него такие профессиональные манипуляции...

— А-а, да это его жизнь научила.

Воробей, наконец, оставил Пашу, повернулся к Серёге:

— Хватит трындеть! Водку давай. Много не наливай, грамм пятьдесят. Если его стошнит, чтобы не жалко было.

Берет у товарища стакан, протягивает его Паше:

— Сам выпить сможешь?

Паша смотрит на него мутными глазами, пытается взять стакан, пальцы не слушаются:

— Не-ет, пальцы судорогой свело.

Воробей, придерживая за спину Пашу, подносит стакан к его рту:

— Пей.

Моисей причитает на эту картину:

— Азохен вей! Страсти-то какие, страхи-то какие! До чего же люди себя довести могут!

Сергеа морщится:

— Да не причитай ты как баба. Ну что, Воробей?

— Лей еще. Уже побольше, грамм сто. Первая хорошо пошла. — Он опять вливает в Пашу водку, тот стучит о стакан зубами. — Щас полегчает. Третью уже сам пить будешь.

Паша задышал, задвигался:

— Спасибо, мужики, спасли.

Моисей, обращаясь к Богу уже по-русски:

— Не приведи, Господи, еще раз такое увидеть.

Паша смотрит на него, узнаёт:

— Моисей, а ты вот сейчас какого бога поминаешь: нашего, православного, или своего?

Сергеа, примиряя ситуацию:

— Ожил, черносотенец. А, по-моему, если он, конечно, есть, Богу по барабану, кто из нас православный, кто иудей. Давайте как-нибудь, поудобнее устроимся. Разольем, что тут осталось за знакомство.

Паша выговаривает скороговоркой:

— Пятьсот минус сто пятьдесят на четыре ровно не делится.

Сергеа не понял такой арифметики:

— Что ты бормочешь?

Воробей Паше:

— Мы по булькам разделим.

До Сергеа доходит:

— А! Это он посчитал, сколько он из нашей бутылки отпил и сколько в ней на всех осталось.

Моисей подключается к разговору с практической стороны вопроса:

— Я сейчас колбаски достану, хлеба.

Паша реагирует на это нарочито строго:

— Это которую ты ночью не доел?

Моисей, не желая объяснять, что тот не прав, мирно отвечает:

— Опять вы, Паша, за свое. Только что с Богом чуть не встретились, а такие мелочи высчитываете.

У Паши прошла эйфория опьянения, желание задирать старика еврея пропало:

— И то, правда, — встряхивает бутылку, — мало на всех-то. Как вы думаете, ресторан в поезде есть?

— Да как же ему не быть в фирменном поезде! — удивляется Сергей. — Более того, он совсем рядом.

Паша обрадовался:

— Я схожу! Отметить надо возрождение-то мое. Так прихватило, думал, сейчас мотор переклинит.

Паша уходит. Почти сразу после его ухода в купе заглянула Люба, осмотрела всех, задержала взгляд на Сергее, и, оправдывая свой долгий взгляд на него, спросила:

— Белье брать будете? Сто рублей комплект.

Сергей ответил не сразу, чтобы подольше смотреть в глаза Любы, угадать правду ли сказал Воробей о том, что между ним и Любой нет никакого сержанта:

— Будем, хозяйшка. Я сам за ним приду, попозже. А что, Любонька, окно в купе открывается? Душновато как-то здесь, казармой пахнет.

Моисей краснеет и торопится объяснить:

— Это — носки Паши, вон он их сушить повесил.

Люба не слышит, что говорит Моисей, отвечает Сергею:

— Окно? Сейчас открою. — Протискиваясь к окну, спотыкается о ноги Воробья, которые он как будто случайно вдруг вытянул на пути Любы. На самом деле не случайно, а читая игру взглядов Любы и Сергея, пришёл к выводу, что этим двоим можно и помочь. Люба почти падает на Сергея, тот протягивает руки навстречу ей, подхватывает так, что одна рука остаётся где-то в области талии женщины, вторая, видит Бог, нечаянно оказывается на её левой груди. Оба краснеют, оба, показалось Воробью, могли бы и быстрее отстраниться друг от друга.

Люба добирается до окна, пытается его открыть. Оборачивается к Сергею:

— Ну помоги!

Тот торопится на помощь, в тесноте купе прикасается к крутому бедру Любы, ведёт руку по талии, дальше вверх по телу. Перед грудью рука замирает. Мужчина чувствует, что выше пока не надо — в присутствии других это пошло. Женщина оценила тактичность мужчины. Оценила и обрадовалась — через секунду она бы отвесила кавалеру хорошую затрещину, после которой закончилась бы эта томная игра в прикосновения, играть в которую она была согласна:

— Сережа, давай вместе, рывком.

— Рывком я согласен, рывком мне нравится. В рывке — столько жизни, столько надежды. И столько удовольствия, если он удался. Ну: три-четыре!

Окно открыто. Серега выбрасывает на улицу грязные Пашины носки:

— Сейчас у нас станет свежо. Люба, вы оставайтесь с нами. Вот-вот Паша вернется из ресторана, Моисей закуску организует, посидим.

— Нет-нет. Нам по инструкции нельзя с пассажирами гулять.

Воробью тоже приятно общество Любы:

— Любонька! Все инструкции, а служебные в первую очередь, пишутся только для того, чтобы их нарушать.

— Нет, дорогие мои пассажиры! Да и уборку в вагоне еще надо сделать. Спасибо за приглашение в компанию.

— Я провожу вас, Люба!

Воробей немного завидует другу:

— Да тут рядом совсем, зачем и провожать.

— Постельное бельё для тебя возьму! —мигнул другу Серёга.

Люба и Сергей вышли. Воробью вдруг стало грустно, у него так легко отношения с женщинами никогда не складывались:

— Давай, Моисей, по маленькой, за наше с тобой одиночество.

— А удобно это? Неловко как-то без товарищей.

— Неловко на потолке спать. А выпить — всегда удобно.

Первое свидание

Люба и Сергей в служебном купе. Оба молчат. Женщина оставила инициативу мужчине. Сергей, только что уверенный, что всё у них с Любой решено, всё «на мази», засомневался: «А вдруг мне это показалось?» Боясь неловким словом испортить родившуюся, почувствовал он, а ещё больше хотел в это верить, магию отношений между ним и Любой, он начал разговор с пустяков.

— А есть у вас нормальный чай? Не пакетики, а листовый.

— Есть. Заварить?

— Да. Или давайте я сам это сделаю. А ты отдыхай.

— Не положено, чтобы пассажиры в купе проводников хозяйничали.

— Так никто ж не видит. — Берётся готовить чай. — А почему ты одна в вагоне, где ваша сменщица?

— Давай уж на ты, а то скачешь, то вы, то ты.

— С радостью!

— Сменщица заболела перед самой поездкой. Подмену не успели вызвать. Одна я, так устала за рейс.

Сергея, кажется, неожиданно для себя, выпалил:

— Хочешь, я сниму с тебя усталость?

— Как это? — прищурила глаза женщина.

«Была-не была», решил мужчина:

— Ну, сначала руками. Я умею массаж делать, правда, у меня это хорошо получается. Потом... Любонька, а можно душ организовать?

— Какой душ? Не положено.

— Да что ты опять «положено — не положено»! Ты что, в передовики РЖД метишь?

— Да куда я уже не мечу. Не надо мне уже ничего такого давным-давно.

— А что тебе надо? Ты ведь еще молодая и очень красивая женщина, даже в этой фирменной одежде. А если снять с тебя этот прикид, этот галстук... — Берется за галстук у узелка, пропускает его через пальцы, ведет рукой по груди. Люба, чуть медленнее, чем полагается «честной» женщине, и очень мягко снимает его руку со своей груди.

— Ты так и не взял бельё. И товарищ твой. Два комплекта возьмёшь или... один?

— Та один-то комплект на двоих брать наверняка «не положено»?

— Не положено.

— А я заплачу за два, а возьму один. А второй мы здесь, у тебя, для нас с тобой оставим. А?

— Как-то быстро ты за мной ухаживаешь...

— Мало у нас с тобой времени. Может быть, мы уже никогда в жизни с тобой не увидимся.

— Тем более. Надо ли что-то начинать?

— Надо! За несколько часов успеть прожить всю жизнь, какая могла бы быть у мужчины и женщины.

— Красиво и нагло говоришь.

— Так мы же с тобой взрослые люди.

— Ты мне, вообще-то, сразу понравился. Как тебя на перроне увидела, так что-то внутри зазвенело. Как струна какая-то.

— Вот и надо на ней песню сыграть, нашу с тобой песню. Я ведь правда с ума схожу от твоего голоса. Так, сделаешь душ, Любушка-голубушка?

— Сделаю.

— Я поцелую тебя?

— Не спрашивай... — Долго и страстно целуются. — Ты раньше двенадцати не приходи. Пусть все уснут в вагоне. И Тюмень как раз проедем. После нее до утра никаких остановок.

— А прямо сейчас нельзя остаться?

— Нет.

— Жаль. Ну, что ж... Чай готов. Я тебе наливаю?

— Да, только не крепкий. А ты куда едешь? К кому?

Сергей будто задумался над ответом на этот простой вопрос, произнёс после долгой паузы:

— Ни к кому. К себе.

— Как это?

— Я еду на родину. Туда, где родился и откуда родителя увезли, когда мне было семь лет. Я больше там ни разу не был. Незачем, вроде как. Родных там и без того было немного, потом и эти померли. Хочу увидеть те места, которые были вокруг меня в начале жизни. Особенно тополя.

— Тополя?

— Ты только не смейся. Там у нас тополя были у реки. Огромные! Я таких больше нигде не встречал. Их отовсюду было видно. Пять их было или шесть. Почему они такие выросли? Хотя, они по 300 лет живут. Кто их посадил, когда, зачем? Взрослые даже играть под ними нам запрещали — боялись, что какая-нибудь сухая ветка упадет и пришибёт ребёнка. Как они раскачивались на ветру, как шумели. Мне очень нравилось это место. Я мечтал забраться на самый верх дерева. Пацаны, которые постарше, только до середины поднимались, выше боялись. Говорили, что дальше очень опасно: у тополя ветки хрупкие, а раскачивается он так, будто специально сбросить тебя хочет. Но однажды я решил. Я выбрал самый высокий тополь. И добрался до самого верха. Это был мой первый бой со страхом, первая победа над собой, первая мечта, которая осуществилась.

— Ты хочешь прийти к той реке, найти тот самый тополь и опять на него забраться?

— Да.

— Х-м. Сумасшедший! А зачем? Что ты хочешь оттуда увидеть?

— То, что я увидел в детстве. Горизонт. Линия горизонта — это ведь край земли. Это тайна, которая манит.

— Так это в детстве тайна, теперь-то что...

— Так оно. Но я хочу пережить состояние, которое было у меня тогда, в детстве. Я таким сильным себя почувствовал! Я верил, что всё смогу и всё-всё у меня в жизни получится, всё я в ней пойму...

— Не получилось?

— Главное не получилось. Самое главное. Понять, для чего я жизнь свою живу. — Сергей был готов откровенничать дальше, но дверь в служебное купе резко отворилась, на пороге появился сержант, уже не трезвый, но ещё и не пьяный, в форме.

Куда следуете, пассажир?

Сержант, прикладывая руку к козырьку, с издёвкой представился Сергею:

— Сержант шестого отдела военизированной охраны железнодорожного транспорта Российской Федерации Лехманов. Предъявите удостоверение личности и проездные документы!

«Принесло же тебя, чёрта», — подумал Серёга. У него не было никакого желания спорить и тем более ругаться с полицейским. Да и требование тот предъявил законное. Сергей протянул сержанту паспорт, в который был вложен билет. Сержант принялся внимательно изучать паспорт, сличил фотографию с оригиналом, билет рассматривать не стал:

— Куда следуете?

И тут до Серёги дошло, что он не только не заглянул в купленные товарищем билеты, в вокзальной спешке он даже не посмотрел на перроне, в какой поезд они садятся. «И как же я не слышал объявление — ведь наверняка же громко сообщали об отправлении поезда номер такой-то, следует из Москвы туда-то. Мы, конечно, выпили на перроне, но не столько, чтобы ничего не слышать. Видимо, так рад был, что и водки купил, и на поезд не опоздал, что всё остальное меня и не интересовало».

— Что вы молчите? Отвечайте на вопрос представителя власти!

— Я еду к себе на родину.

— На родину?! А что это — родина — в данном случае?

— В данном случае родина — это место, где я родился.

Сержант заглянул в билет, в паспорт, ухмыльнулся:

— Не сходится, гражданин хороший.

— Что там у тебя не сходится?

— Это у тебя не сходится. Билет у тебя до конечной станции, то есть до Новореченска, а родился ты совсем в другом месте.

Услышав, в каком поезде он едет, Сергей не сдержался:

— До какого Новореченска?! Люба!

— Ты что же, билета своего не видел?

— Не видел. Билеты Воробей покупал. На первый поезд, куда бы он не шёл. А Новореченск — это где?

Люба по-хозяйски взяла из рук сержанта паспорт Сергея, посмотрела место его рождения:

— Вы, пассажир, не расстраивайтесь. Сойдёте на разъезде Иня, электричкой доберётесь до Новосибирска, а там и купите билет до вашей родины.

Серёга смотрел на Любу и возвращался в неласковую реальность. С иронией произнёс:

— Да уж. Оказывается, не все поезда на восток идут на мою родину.

Сержант хотел было выговорить дежурную нотацию о необходимости трезвого поведения в зоне повышенной опасности, которой является железная дорога, что из-за невнимательности или — того хуже — пьянства здесь каждый год гибнут и получают увечья тысячи людей, но решил, что это не совсем к месту, сказать же нечто начальственное было необходимо:

— Ай, молодец! Ладно, иди в своё купе, контролируй соседей, шумно там у вас. Пить, по-видимому, собрались. — И всё-таки не справился со своим дрянным характером. — Я могу и теперь всех вас высадить на ближайшей станции за нарушение правил поведения в поезде да добрый я сегодня.

Серёга не удержался, съязвил:

— Добрый? Что, сержант, захворал?

— Возиться с вами лень. Это ведь надолго — целое купе из поезда высадить, бумаг писать сколько. А у меня день рождения. Завтра. Так что, с вас подарок. С тебя и всего твоего купе. Я ясно излагаю?

— Излагаешь ясно. И я тебе ясно скажу: мне очень не нравятся люди, которые выпрашивают подарки.

Непривычный е открытому отпору сержант даже растерялся. Не найдя, что ответить, он принялся было сверлить пассажира взглядом.

— Да не буду я с тобой в гляделки играть, сержант. Пошёл я к себе, Люба.

Третий лишний

Уход пассажира сержант воспринял, как свою над ним победу:

— Вот так-то, третий — лишний.

— Это ты был третьим, Сашок. Ты был здесь лишним.

— Вот оно что! Вот ты как, значит. — Сержант злился, он начал накручивать себя. — Доложите обстановку в вагоне, товарищ проводник!

Люба только теперь поняла, что сержант изрядно нетрезв:

— Саша, да ты же пьян! Ты что делаешь, на тебе же форма, пистолет!

— Сохраняйте спокойствие, гражданка. Ситуация под контролем. Ну выпили немножко, у меня же день рождения скоро начнётся. Коллега поздравил.

— Он что, тоже шатается пьяный по вагонам?!

— Нет, уснул. Слабак. Так что один я теперь всему поезду охрана и надежда.

Люба даже перекрестилась:

— Спаси, господи, от такой охраны!

Сержант зло скривился:

— Я приду к тебе ночью.

Люба вскрикнула:

— Нет! Нет, сколько раз тебе говорить! Как ты мне надоел за этот рейс!

Сержант смотрел на женщину, как на жертву, участь которой он уже решил:

— Ломаешься, как девочка. Сменщица твоя куда как сговорчивее. Такая любовь у нас с ней бывает!.. Не рассказывала она тебе?

— Знаю я вашу любовь: под пистолетом она под тебя ложится. Ох, доиграешься, Сашок! Ты же как бандит себя ведешь, а не как полицейский.

— Скажешь тоже — бандит! Какой я бандит? Я на хорошем счету у начальства, в следующий раз уже старшим отделения охраны поеду, а не как сейчас — подчинённым у этого слюнтяя. — Рассмеялся. — Представляешь, мой командир с пяти рюмок окосел. Приказ о моём повышении уже подписан. Меня начальство ценит.

— Лучше бы тебя люди ценили. Ступай уж к себе, спать бы лучше лег.

Сержант устало зевнул, его повело, он вдруг сильно захотел спать:

— Пожалуй, лягу. Если ночью не приду, утром обязательно жди. С тобой хочу свой день рождения провести. И никуда ты от меня не денешься. Я своего всегда добиваюсь. Так что смотри, не подпускай к себе никого.

Люба вскипела:

— Ты что, угрожаешь мне? «Не подпускай никого!» Это вообще не твое дело!

— Моё! Потому что я хочу, чтобы ты была моей в этом поезде. Только моей. Ты меня поняла?

— Ох, Сашок, Сашок! Нехорошо мне как-то за тебя. Иди, иди пропись.

Паша гуляет

В купе Серёга застал такую картину: стол заставлен водкой и недорогой закуской, а все трое его соседей дружно похрапывают на своих полках. Выпить они много и не успели, после почти бессонной ночи, которая случилась у каждого из них, мужиков сморил сладкий сон. Серёга забрался к себе и уснул тоже. Послеобеденный сон растянулся на много часов. За столом компания собралась только к середине вечера.

Моисей осмотрел скромную закуску, полез в свой багаж, достал копченой колбасы, не знает, всю ее на стол выложить или половину отрезать.

Паша видит его сомнения:

— Что ты мечешься со своей колбасой! Спрячь ее обратно, я угощаю!

Моисею стало стыдно, краснея, он пробормотал:

— Ну, не хотите, как хотите.

Воробей, как в первый раз осмотрел стол, на котором теснились раскрытые жестянки с килькой, черный хлеб и колбасный сыр. «А,— вспомнил, — это ж Паша из ресторана принёс».

Серёга с интересом взял консервы со стола, прочитал этикетку:

— Бля! «Килька обжаренная в томатном соусе. Черноморская неразделённая». Тьфу, черт! «Нераздеёланная». Мировой закусон! Я как выпивать начал, так сразу и на всю жизнь кильку эту полюбил.

— А я её после метеостанции видеть не могу. — вступил в разговор про кильку Воробей. — Завхоз на Большой земле ворюга был, каких свет не видел. Вся мясную тушенку нефтяникам продал, а нам на всю зимовку одной этой дряни прислал. Жаль, посадили его к моему отпуску.

— Почему жаль? — не понял Паша.

— Да морду я ему не успел набить.

Моисей произнёс с уважением:

— Вы такой... небольшой, а, по-видимому, дерзкий.

Серёга, подначивая друга:

— Да он не один бы ему морду пошел бить, друзей бы позвал с собой.

Воробей улыбнулся:

— Это вряд ли. Сам бы управился. Но желающих набить ему морду много было. У Верки аллергия на эту кильку сраную началась. Это начальница у нас была на станции — Верка. Ребенка не доносила — выкинула. Они с мужем зимовали.

— А чего сидим, кого ждем? — поторопил развитие событий Сергей. — Банкуй, приятель. Как тебя зовут-то? И вообще, давайте, наконец, нормально познакомимся.

Протянул руку Паше, назвал своё имя, тот ответил:

— Павел.

— С днем рождения тебя, Павлик. Ты ж сегодня в очередной раз родился.

Паша немного смутился:

— Та-а, у меня таких рождений было...

Сергей не стал дослушивать, представился Моисею и, услышав от того «Моисей Соломонович», не сдержался:

— О-о-о как! А раньше как звали?

Моисей замешкался:

— Раньше... Михаилом Семеновичем.

— Тоже ничего. Как меня зовут вы знаете. А моего товарища зовут Александр Воробьев. По причине своих небогатырских размеров давно перестал обижаться на прозвище и привычно откликается на Воробья. Впрочем, он может и не позволить себя так называть.

Воробей разрешил:

— Да ладно. Зовите. Ну, давайте за знакомство, что ли.

Мужики выпили. До дна не допил только Моисей. Паша это заметил и запротестовал с набитым закуской ртом, замычал, нехорошо, мол, не уважаешь компанию. Моисей от него отмахнулся и спросил друзей:

— Куда, если не секрет, путь держите, Александр и Сергей?

Воробей, разливая по второй, ответил:

— Не секрет. Давайте за Пашу выпьем, сами-то куда едете?

Моисей не стал противиться ответу вопросом на вопрос, начал, было: «Я...», но его перебил Паша:

— Ты не болтай, когда стаканы подняты, а то начнешь сейчас все свои проповеди выговаривать.

После второй, когда налито было по половине граненого стакана, мужики сладко захмелели, всем кроме Моисея, хорошо молчит. Его ёрзанье замечает Сергей:

— Соломоньч, тебе, вижу, поговорить хочется. Так ты не стесняйся, говори.

Моисей счёл нужным объяснить своё желание поговорить:

— Да, знаете ли, восемнадцать лет преподавательского стажа наложили свой отпечаток, имею такую привычку — говорить много. А тут целые сутки молчать пришлось.

— А Паша-то вроде давно едет? — спросил Воробей. — Носки вон свои успел в хлам испачкать.

— Да какой с ним разговор! Он поначалу мычал больше, потом и вовсе заснул.

— Носки? А чем тебе мои носки не нравятся? — влез в разговор Паша. Он посмотрел на свои голые ноги. — А где они? Носки-то мои?

Сергея развёл руками:

— Погулять вышли, когда мы окно открыли.

Паша вздохнул:

— Жалко. Других-то у меня нету. Придется купить. А то как я к другу без носков-то заявлюсь? Без носков-то меня к нему на порог не пустят, начальник он теперь большой стал.

Тут стоит сказать, что носки — очень мужская тема. Каждый из нас хоть одну забавную историю, связанную с этим важнейшим предметом мужского туалета, вспомнит. В данном случае вспомнил Воробей:

— Меня однажды муж любовницы застучал. Его звонок в дверь, как говорится в анекдотах, прозвенел раньше обычного времени. Одеться мы успели, она открывать пошла, а я один носок нашел, а второй куда-то запропастился. Он заходит в комнату, смотрит на меня. Может, и заподозрил что, а улики-то нету. Я к ним иногда в гости заходил, типа общий знакомый. Тут тоже чего-то быстро наврал, зачем я здесь в его отсутствие. Он мне: «Садись, чего стоишь-то, чаю попьем». А я не могу сесть, брючины-то задерутся, и увидит он, что я в одном носке. Бочком-бочком — и вышел.

Что там было дальше у Воробья и любовницы, интересно было всем, за всех спросил Паша:

— И че? Нашелся носок-то?

— По всей видимости, да. Потому что в гости они меня после того случая звать перестали.

Сергея увидел, что его старый друг помнит ту свою любовницу, жалеет о ней:

— Есть замечательный тост — за любовь! Наливай, Паша.

Воробей потряхнул головой, прогоняя воспоминание:

— А что, может, покурим здесь? — и не дождавшись ответа, закурил.

Из некурящих был только Моисей, он и попытался протестовать, но очень уж мягко:

— Зря вы, Саша, курите в купе. Нам же спать здесь.

Воробей его успокоил:

— Продует, окно же открыто. Да и сон крепкий будет, если все это выпьем.

Паша не согласился с оценкой запасов алкоголя, она показалась ему бессовестно завышенной:

— «Выпьем»! Что тут пить-то? — Будь он при деньгах, Паша купил бы к столу гораздо больше выпивки, да и закуску взял бы совсем другую. Но купил он то, на что хватило его последних денег. Даже в сигаретах пришлось себе отказать. Он разлил очередную порцию. — Так. За что сейчас выпьем?

Моисею было неуютно в тисках подобных реплик:

— Давайте поговорим, куда вы торопитесь?

Паша возмутился:

— Вам бы все разговоры разговаривать. Какой в них толк?

— Ну почему? — Сергей начал с поддержки Моисея. — Давайте поговорим. — Следующей фразой он поддержал уже Пашу: «Только вы, Моисей Соломонович, поди, занудствовать станете?». Закончил и вовсе тостом: «Ну, за легкую дорогу!»

Паша захмелел, вытянулся на полке, закурил:

— Ну, давай, Моисей, разговаривай.

Моисей чувствовал, что компания над ним посмеивается, вся, кроме Воробья. К нему и обратился:

— Ну, так... А о чем же говорить будем?

Захмелевшему Воробью совсем не хотелось вступать в разговоры, но ему стало жаль старика:

— Биографию товарища будем заслушивать? Или сразу перейдем к делу? Чем вы занимаетесь по жизни, товарищ Моисей?

— Я — кандидат геолого-минералогических наук, ученый.

Первым откликнулся Паша:

— Ну конечно! Вам бы только не работать.

Воробей же, который к геологам не имел никакого отношения, но помнил какой-то наивный советский фильм про геологов, спросил, чтобы поддержать разговор:

— В поля ходите?

Моисей с сожалением вздохнул:

— Последние годы нет.

Воробей словно даже и расстроился за собеседника:

— Без экспедиций скучно.

Тут уже Моисей принялся успокаивать собеседника:

— Нет, что вы! Наоборот! Это необыкновенно интересно. Дело в том, что я занимаюсь не земными минералами, а космическими.

Паша вспомнил, что и он много лет своей жизни был тесно связан с геологией:

— В метеоритном мусоре копаетесь, коллега?

Моисей, чтобы совсем завладеть вниманием имеющейся аудитории, обратился к Паше:

— Да, Павел, как же я забыл, вы ведь говорили, что нефть искали, золото, вы ведь тоже геолог?

Паша скривился:

— Да какой я геолог. Так. Бригадир разнорабочих — высшая точка моей профессиональной карьеры. Да и это давно уже было.

Воробей увидел печаль своего случайного дорожного товарища:

— А сейчас чем живешь?

Паша вкатился в ту стадию опьянения, когда хочется выговориться:

— Да чем придется. Машины перегонял в последнее время. С завод по буровым да коммерсантам разным. Хотел себе грузовичок какой-нибудь взять. Чтоб извозом заняться, ни от кого не зависеть. Деньги копил.

И столько отчаяния было в его словах, что Серега отвлёкся от своих мыслей о Любе, спросил с сочувствием:

— Не накопил?

Пашу вдруг начала жалеть вся компания. Тот сел, погасил окуроч в банке из-под кильки, опустил глаза в пол и в нескольких фразах рассказал всё про свою незадавшуюся судьбу:

— Почти накопил. Маленько оставалось. Да вот сорвало меня в штопор, все и спустил. На последние к другу-то еду. Узнает он меня, с детства ведь не виделись? Как думаете? А больше мне все равно податься некуда. Родители померли, а я у них один был. С женой все прахом ушло. Приду к другу, а он мне от ворот поворот. Тогда уж и не знаю, куда податься.

Взрослые люди, мужики передумали жалеть Пашу. Что и жалеть, когда сам виноват, что почти проиграл жизнь. Успокоил Пашу только Воробей:

— Ничего! Сума и тюрьма нас всегда ждут.

Паша и сам прекрасно знал, что никто кроме него не виноват в его жизненных неурядицах. Без всякой обиды ответил Воробью:

— Утешил. А я и не переживаю, раньше смерти ведь не помру.

Воробей серьёзно посмотрел на Пашу:

— Раньше смерти не помрёшь, это точно. На войну не думал пойти? Сейчас мало кому отказывают, почти всех берут. И деньги неплохие платят.

При последних словах друга Сергей внимательно на него посмотрел. Он знал лучше других, что Воробей не любит говорить об СВО, откуда он приехал уже во второй раз в отпуск.

— На войну? — откликнулся Паша. — Отец рассказывал, что у нас полно родственников на Украине, близких. Сложно я к этой войне отношусь. А ты про деньги из рекламы знаешь или...

— ... Или. Ладно, раз сложное у тебя отношение к войне, не будем о ней.

— Не будем, — согласился Паша. — А в наши края для чего едете?

Поскольку Паша смотрел на Воробья, тот и ответил:

— Да вон к нему — кивнул на Серёгу — на родину. Столько лет он мне про свою родину рассказывал, решил я, наконец, посмотреть, что же это за необыкновенное такое место на Земле. Да, Серёга?

— Увидишь. Если мы до неё всё-таки доберёмся.

Воробей услышал тревогу в словах своего товарища:

— А теперь-то у нас какие проблемы?!

— Мы немного не туда едем.

— А-а, — припомнил Воробей, — кассирша пыталась у меня станцию уточнить, а как я ей отвечу, если не знаю. Давайте, говорю, до конца, чтобы наверняка не проехать мимо твоей родины.

— А если бы поезд был «Москва-Владивосток», тоже до конечной билеты бы купил?

— Нет, Серёга! Владивосток бы меня насторожил.

Беззловную перепалку друзей прервал Паша:

— Ну вы, блин, даёте!

Воробей виновато смотрел на Серёгу. Тот поторопился его успокоить:

— Нет, в целом направление правильное, но пару пересадок сделать придётся. — И чтобы сменить тему, добавил. — Давайте все-таки послушаем основного докладчика. Итак, Моисей Соломонович, какой есть реальный прок от вашей работы?

На этот вопрос поторопился ответить Паша:

— Да никакого! Пудрит мозги трудовому народу за бюджетные деньги!

Моисей не согласился с обвинением:

— Зря вы так говорите. Наша работа очень и очень нужна людям. Дело в том...

Воробей почувствовал, что засыпает, что ему совсем не интересно слушать учёного:

— Это ничего, что я к себе заберусь?

Сергей произнёс, с досадой на себя:

— Забыл, сейчас я тебе бельё постельное принесу!

Последние почти два года своей жизни Воробей далеко не всегда отдыхал в нормальных для обычной жизни условиях, постельное бельё там точно не было предметом первой необходимости:

— Бельё?! Потом. Еще по маленькой?

— Я не откажусь, — быстро откликнулся Паша и наполнил стаканы до краёв.

Моисей понял, что никому в компании он не интересен даже с главными открытиями своей жизни, обиделся на невнимание, отвернулся к окну.

Воробей чокнулся с Пашей, потянулся в сторону Сергея, заметил, что тот и не думает поднимать свой стакан:

— Ты что, не будешь?

— Я тормознусь немножко.

Воробей сообразил:

— А! Договорился, что ли?

К разговору подключился Паша:

— О чем договорился, с кем?

За Серёгу ответил Воробей:

— Это не наше с тобой дело, Паша. Наше с тобой дело — выпить. Моисей, а ты выпьешь с нами?

Моисей не откликнулся. «Ну, вздрогнем!» — сказали друг другу Воробей и Паша. Алкоголь, выпитый на сегодняшние, на вчерашние, позавчерашние и поза— позавчерашние дрожжи, снова догнал Воробья и Пашу. Воробей тяжело взобрался на верхнюю полку, опрокинув при этом одну из раскрытых жестянок с закуской. Паша, погружаясь в сон, пробормотал: «Осторожнее, черт. На родину они едут! Ни до какой родины вы не доедете. Вы сейчас ни на что полезное не способны. У вас запой идёт — я ви-и-и-жу...»

Откровение от Моисея

— Ловко они схлопнулись! — воскликнул Серега, который тоже с удовольствием подремал бы до Тюмени, но ему было неудобно перед Моисеем, до него дошло, что они между делом обидели старика. Он тронул его за плечо:

— Обиделся, что ли, Моисей? Не обижайся. Все равно никакого серьезного разговора получиться не могло. Вон, уснули твои слушатели.

Моисей еще больше уткнулся в окно. Серега увидел, что у того вздрагивают плечи, удивился:

— Да ты плачешь, что ли?

Моисей повернулся к Сергею и глотая рыдания проговорил:

— Скажи, а что, правда мы такие, как вот он — показал рукой на Пашу — о нас говорит? Что жадные, что никакой от нас пользы народу нет, что кровь мы его пьем?..

Серега от слез старого человека чуть было не протрезвел:

— Паша, конечно, оригинальный малый, но что-то я не помню, чтобы он такое тут гнал...

— Вчера он мне тут все это высказывал.

Паша вдруг на секунду проснулся:

— Да-да, и сегодня скажу: кровососы русского народа.

Серега расхохотался на реплику Паши:

— Не обращай на него внимания, Моисей. Знаешь, я никогда всерьез не задумывался, какой вы народ — евреи. Но мы с Воробьем точно не такие, как Паша.

Моисей немного успокоился, но с темы слезать пока не хотел:

— Все-таки, как вы, Сергей к нам относитесь? Есть у вас друзья евреи?

Серега пожал плечами:

— Сейчас нет. Если, конечно, друг мой Воробей не еврей. А раньше были. Вот, помню, Илейка Коган, замечательный прямо-таки еврей был. Бывало, подойдет к нам и проникновенно так скажет: «Ребята! У меня есть деньги, давайте напьемся!»

Моисей заподозрил неприятное:

— И что вы?

Серега улыбнулся:

— И мы обычно напивались. А утром он же, Илейка Коган, говорил: «Ребята, давайте пивка попьем, у меня деньги-то остался».

Моисей вздохнул:

— Издевается надо мной.

Сергеа искренне не согласился:

— Да нет, почему? Мы на Илейку не обижались. Он компанейский парень был. Когда у него родителей не бывало дома, мы заходили к нему в гости. Выпивка, конечно, наша, но холодильник мы его весь съедали. Иногда дискотеки в квартире устраивали. Ковер, помню, прожгли окурками. В восьми местах.

— С ковром вы зря так, это же дорогое имущество, — расстроился за собственность соплеменников Моисей. — И всё-таки — так, чтобы друг настоящий у вас, из наших, — не было?

— Фу, черт! Да как же не было! Был! Такой, что я у него на свадьбе свидетелем был, он — у меня. Правда, что он еврей, я потом узнал, когда он в Израиль иммигрировал. Да, не парься ты, Моисей, по еврейскому вопросу. Хотя, имена у вас, конечно, не то чтобы странные, а все ж таки непривычные. Не знаешь, до Тюмени еще долго?

— Понятия не имею, я первый раз в Новореченск еду. А знаете, у меня дочь в Израиле живет. Я так давно ее не видел. У вас дети есть?

— Есть. Тоже дочь.

— Тогда вы меня поймете, вы ведь любите свою дочь?

— Очень!

— Давайте за детей наших выпьем, Сережа.

Сергеа удивился на такое предложение, и хоть пить ему не хотелось, да и не надо бы перед свиданием, отказать Моисею не смог:

— Давайте!

Выпили, помолчали.

— А почему вы, Моисей, не уехали с дочерью в Израиль?

— Почему? У меня работа здесь интересная. Единомышленники.

Сергей видел, что Моисей что-то недоговаривает:

— Да бросьте вы! «Работа, единомышленники». Будто в Израиле вам не найдется этого добра! Я бы на вашем месте уехал. Какая радость, если нет рядом любимой дочери? Я вот сына хотел, а сейчас так рад, что у меня дочь. Это единственная женщина в жизни, которая тебя не обманет и не разлюбит. Моисей, ты чего опять плачешь-то? На тебя что, водка так действует?

— Сережа, Сережа-Сережа. Вот ты сказал, что сына ждал. Мы тоже с женой очень хотели сына первенца. И Бог услышал наши молитвы и дал нам его. Но он родился... больной. Ненормальный. И мы предали его. Отдали в интернат. Он уродец, но он ведь наш, родной уродец. Нам не хватило сил. Я увидел, что Сара моя сама понемногу лишается рассудка. Предали мы его. А девочка родилась нормальной. Как мы

боялись ее рожать! Ничего, обошлось. Выросла красавица и умница. Она и не знает, что у нее есть старший брат. Удивляется на нас, почему мы не хотим к ней в Иерусалим перебраться. А как же мы отсюда уедем? Здесь наш первенец. И мы уедем к дочери, если только он умрет раньше нас.

Сергея не захотел окунаться в чужую боль:

— Смотри, останавливаемся, — выглянул в окно, удивился, — стемнело уже! Тюмень, должно быть. Пойдем, Моисей, на перрон, продышимся. Тебе погулять надо. Пивка возьмем.

— Мне нельзя пива. У меня мочевого пузыря слабый. И почки больные.

— Да мы немного. По кружечке всего. Пойдем-пойдем, вставай, Моисей. Ничего, что я на «ты»?

— Ничего, Сережа. Я тебе главную свою боль рассказал. Доверился. Это ведь сближает больше, чем какой-нибудь брудершафт.

Поднимаясь, Сергей почувствовал, что его качнуло:

— Опа! Немного штормит. Только по кружке, Моисей, по одной, не больше! Ну, идем!

Люба уже открыла двери вагона, вышла на перрон. Серёга собрался, заставил себя протрезветь и, проходя мимо Любы, шёпотом спросил:

— Я сейчас к тебе приду?

Люба ответила также шёпотом «да» и громко добавила:

— Пассажиры! Далеко не уходите. Стоянку мोगут сократить.

Главная проблема землян

Сергея дошёл до ближайшего киоска и не без удивления узнал, что пивом теперь на перронах не торгуют.

— Ладно, мы найдём другое решение задачи! — Он начал внимательно рассматривать редкую в поздний час публику, не ту, которая вышла из вагонов, а местных — одетых и с сумками, он не сомневался в том, что кто-то из них обязательно торгует и пивом, и водкой, и разнообразной закуской. Моисей, пошатываясь рядом, Серёга взял его под руку, подвёл к ближайшему столбу:

— Ты вот тут стой, за столб держись. Я быстро! Ты какое пиво любишь?

— Мне все равно. Я ведь его не пью.

Моисей закрыл от усталости глаза и задремал. Сергей даже по перрону пройти не успел, а всего и сделал, что внимательно осмотрелся.

Рядом мгновенно остановился с виду обычный провожающий с небольшой сумкой, а на самом деле местный бутлегер. Серёга взял у него пару бутылок пива, рассчитался. Торговец принял настойчиво предлагать водочку: «Следующая большая станция только утром, вы же пожалуете, что не купили», не обращая внимания на слова Сергея: «Да есть у нас водочка, отстань».

Их разговор разбудил задремавшего Моисея:

— Сережа, посмотрите, какое небо, какие звезды!

Торговец посмотрел вверх:

— Никакие это не звёзды, а фонари вокзальные. — Тут он заметил другого пассажира, который, кажется, нуждается в его товаре и поторопился к нему.

Серёга открыл обе бутылки пива, одну протянул Моисею:

— Ты что-то про звезды начал говорить.

Моисей взял пиво, с сомнением повертел его, сделал маленький глоток:

— Какое бездонное небо над Землей! Представляешь, даже я, кандидат наук, не могу вообразить, не могу себе представить бесконечность Вселенной.

— Ага. Я тоже не могу. Но я не учёный, мне не надо ломать голову над этим. Мне хватает Большой Медведицы, полюбуюсь на неё, мне и достаточно. — Сергей поднял голову к небу, из-за света фонарей его было не разобрать. В его голове мелькнуло, что это плохая примета, но, может, быстро обманул он себя, неприятности завтрашнего дня ограничатся похмельной головной болью? — Ты пей пиво, пока холодное.

— Ох, не надо бы мне пива, но так душно. В небе столько созвездий, кроме Медведицы! Серёжа, вы рассматривали небо в телескоп?

— Было один раз. Мне не понравилось.

— Почему?!

— От телескопа небо становится сплошь дырявым — так много лишних звёзд в него видно. Не, мне этих, которых глазом видно, хватает. Пусть небо привычным с детства остаётся.

— Пусть. Как хотите, Серёжа, так пусть и будет. Не в этом проблема.

— Проблема? Какая проблема?

Будь трезвым, Моисей не за чтобы не стал бы говорить о том, о чём он собирался говорить с некоторыми, очень некоторыми коллегами, на встречу с которыми он и ехал в Новореченск. В этом не самом большом городе жил самый чудаковатый, и самый, наверное, талантливый из

них. Вокруг него, собственно, кружок и образовался. Поскольку новореченец был физическим калекой — передвигался на инвалидной коляске, кандидаты и доктора наук, связанные с изучением космоса, решили собраться на свой симпозиум ни где-нибудь в Москве или Новосибирском Академгородке, а в Новореченске.

Обычно они общались дистанционно, иногда устраивали видеоконференции. Общими усилиями они вывели строго научную, как им казалось, формулу, которая сообщила им о скором катаклизме, какого на Земле очень давно не было, даже библейский потоп в сравнении с грядущей катастрофой выглядел бледно. Когда же кому-то из их кружка попало на глаза то ли предсказание древних, то ли пророчество Нострадамуса или Ванги о страшных событиях 2030 года, они решили впервые собраться на очную встречу. В Новореченске они должны были выработать два варианта обращения к землянам, одно, более научное, к правительствам всех стран и ООН, второе, более популярное, ко всем жителям планеты. Они знали, что их тревогу, со всеми даже и доказательствами, большинство учёных назовут чудачеством, некоторые и вовсе покрутят пальцем у виска. Их расчёт был на то, что удастся взбудоражить общественность, а та уже достучится до своих президентов. Кружковцы наивно верили, что перед общей — для всей планеты! — катастрофы люди прекратят все междоусобицы и сплотятся в желании спастись.

Будь трезвым, по своей замкнутости и застенчивости Моисей не решился бы об этом говорить с Сергеем. Но теперь Моисей был пьян, а его вариант обращения к народам и правительствам Земли так давно повторялся в голове, что теперь, на перроне станции Тюмень, вариант этот просто вырвался на репетицию перед самым главным в жизни Моисея Соломоновича выступлением на старой даче коллеги под Новореченском.

— Как бы вам это сказать, чтобы это было не длинно и понятно?.. Держите ваше пиво, Серёжа, я сосредоточусь.

Моисей закрыл глаза, сжал виски руками. Серега смотрел на него добродушно, перемигивался с Любой. Женщина делала ему знаки, чтобы не пил много. Моисей дал знать, что вполне сосредоточился: «Я готов. Слушайте».

— Сереза. Вы, конечно, слышали о лунной программе американцев «Аполлон». Было шесть экспедиций на Луну. Советский Союз, к сожалению, ограничился только луноходом. К сожалению, на этом все и закончилось. Политика погубила все. На самом деле человечество обязано просто вернуться к лунной программе.

— А зачем нам Луна-то?

Моисей нервно махнул рукой, прося, чтобы его не перебивали.

— Луна — это всего лишь промежуточная база. Там нужно построить базу, чтобы проще было долететь до Марса. Надо построить на Луне 4-6 баз, это минимум для лунного городка.

Сергей не сдержался:

— Соломоныч, ты, конечно, прости, но ты о каких-то диких вещах говоришь. Президенты самых космических стран воюют друг с другом, а ты — про город на Луне.

— Да, политика здорово тормозит изучение космоса. Дай пива. Но надо что-то делать! Срочно! Наша планета в большой опасности!

— Да, ладно!

— Не верите, Серёжа. Да, в это страшно поверить, но это необходимо сделать. Впрочем, вера здесь не при чём. Не верить надо, а знать!

— Что именно надо знать?

— Например, то, что раз в 183 миллиона лет происходят массовые вымирания в животном мире. Потом появляются ранее не жившие животные. Гораздо чаще происходят инверсии магнитного поля, северный и южный полюса меняются местами. Еще чаще происходят экскурсии магнитных полюсов. Последний такой экскурс имел место 2700 лет назад. Это было совсем недавно. Египтяне тогда жили, этруски. Вы знаете, что этрусские вазы имеют обратную намагниченность?

Сергею показалось, что где-то что-то и когда-то он слышал про посуду этрусков. И про обратную намагниченность, кажется, тоже слышал, но что в ней необычного? Если есть намагниченность тарелок в одну сторону, то почему бы им не магнититься в другую?

— Какая разница, куда они намагничены, Моисей?

— Да, Сергей, и среди учёных нет единого мнения о последствиях смены магнитных полюсов Земли. Но мы считаем, что при смене полюсов магнитное поле планеты настолько ослабнет, что солнечная радиация убьёт всё живое на Земле.

— И что, Моисей? Мы это все равно не застанем, это же произойдёт не завтра.

— Как знать, как знать! Есть предсказания древних и есть сведения серьезных ученых. Когда два эти источника информации совпадают, это очень большой повод задуматься всем нам.

— И над чем нам надо задуматься?

— Сергей! Да вы понимаете, что и ученые, и древние называли один и тот же год — 2030-й. Совсем скоро произойдет очередная инверсия

магнитных полюсов. Наука уже зафиксировала ускорение в перемещении южного магнитного полюса.

— Да хоть бы и в 30-м, Моисей! Чего дёргаться, люди всё равно слабее природы, люди же все равно ничего не смогут сделать.

— Смогут! Надо только очень поторопиться. Мы ещё успеваем создать базы на Луне и потом, следом, сразу же — на Марсе. Чтобы при самом худшем варианте развития событий человечество успело спасти там, на Марсе, 200-300-500 лучших своих представителей.

В своей жизни Сергей видел и одержимых идей, и явно сошедших с ума. Моисей, решил он, относится к одержимым. Интересно, дотянет он в более-менее адекватном состоянии до своего смертного конца или свихнётся?

— А кто их отбирать будет, Моисей?

— Кого?

— Ну этих, лучших 200-300-500 человек?

— Ну, этот вопрос не главный на сегодня, он решится в процессе работ.

— А ты, Моисей, хотел бы попасть в этот список! А почему бы, собственно, и нет? Имя у тебя подходящее. Ты не от Ноя свой род ведешь? Вам не привыкать ковчегами управлять.

Их беседу прервала Люба. Она подошла вплотную, толкнула в плечо Сергея:

— Да вы что, не слышите меня совсем? Садитесь быстрее в вагон! Отправление дали.

Мужчины поторопились к вагону. По дороге Моисей грустно выговорил:

— Зря вы так, Сережа. Мне и по возрасту, и по здоровью уже никак не попасть в этот список. Хотя было бы интересно.

— Не согласен я с этим вашим космическим ковчегом! По мне, если погибать человечеству, так лучше всем. Как их выбрать, достойных-то? Да и так ли уж много пользы космосу от людей, а? Как ты думаешь, Люба? — с этими словами Сергей взял Любу под руку и уже не отрывался от неё глазами. Ни далёкие этруски со своей особенной посудой, ни близкий уже 2030-й год, на который Моисей назначил катастрофу, его сейчас не волновали совершенно. К чёрту даже и завтрашний день, если совсем-совсем скоро, через какие-то минуты начнётся свидание с женщиной, в которую он как мальчишка влюбился. Самое замечательное в этом свидании то, что влюбился-то он как мальчишка, но знает, умеет и может гораздо больше, чем мальчишка. Он шепнул Любе: «Я

провожаю его до купе и вернусь к тебе», услышал в ответ: «не сразу, чуть-чуть позже».

Серёга помог старику Моисею подняться в вагон, пропуская его вперёд, сказал:

— А про космос тебе лучше с Воробьем поговорить. Он там часто бывает.

— Где бывает?

— В космосе.

— Как это?!

— Летает. Не, правда. Он мне рассказывал.

— Во сне летает?

— Да чёрт его знает! Наверное, всё-таки в бреду. Далеко летает. В другие галактики даже.

Теперь пришла очередь Моисея засомневаться в адекватности попутчика. Молча они дошли до своего купе, устроились на нижней полке Моисея. Сергей допил своё пиво, сказал Моисею:

— Пиво пейте. Выдохнется, пропадет.

Моисей послушно отхлебнул:

— Расскажите про Сашу подробнее, Серёжа. Как это он летает по галактике?

Серёга уже пожалел, что начал этот разговор:

— Да я почти ничего и не помню, что он мне рассказывал. Он же рассказывает-то об этом, только когда мы хорошо выпьем. Да и не верю я в его рассказы, честно сказать.

— И все-таки, что конкретно он вам рассказывал?

— Ну... Особенно он любит летать на какую-то планету, которая черт-те где находится. Он мне ее даже в атласе астрономическом как-то показал. Название у нее какое-то необычное. В атласе она вообще никак не называется, под номером проходит. А Воробей говорил, как она называется. И эти, кто там живет, чудные какие-то. Любят его.

— А как они выглядят?

— Знаешь, Моисей, я и так тебе лишнего про своего друга рассказал. Давай выпьем по последней, мне уходить пора.

— Нет-нет! — запротестовал Моисей.

— Ну и правильно. Я тоже не буду. Да и водки-то тут осталось совсем ничего. — Он собрал все остатки водки в один стакан, поставил его поближе к окну, накрыл корочкой хлеба. — Это на утро для Паши, опять болеть будет, бедолага, а денег-то у него, кажется, совсем уже нет. Ну, я пошёл. Ложись, Моисей, отдыхай.

Воспитание Паши

Моисей сидит какое-то время в задумчивости, потом спохватывается, достает блокнот, ручку, начинает что-то чертить, записывать:

— Ах, пить-то как охота! Чайку бы сейчас, да Люба, наверное, уже спит. Охо-хо, и воды нет, пиво одно, ох, не надо бы мне его пить, — берёт со стола своё пиво, пьёт. Строгие слова Паши с угрозой и сожалением одновременно: «Ты что делаешь?» заставляют его вздрогнуть:

— Что? Паша, вы не спите?

Паша мечется в тяжёлом сне:

— Мама, мамочка! Ну что ты хочешь от меня? Зачем ты опять пришла? К себе, что ли, зовешь? Ну что ты молчишь?

Моисей очень напуган, не знает, что делать. Паша продолжает:

— Мама! Ну скажи, зачем ты пришла ко мне? Я не хочу к вам с отцом. А где папа? Он тебя за мной послал? Я не хочу к вам. Мне еще жить охота, я еще не нажился, у меня еще столько сил.

Когда Паша немножко притих, Моисей будит Воробья:

— Саша, Саша, проснитесь! Я не знаю, что в таких случаях надо делать...

Воробей проснулся мгновенно:

— Что случилось?

— Послушайте, послушайте сами. У Паши, видимо, началась белая горячка.

Воробей свесился головой с полки, рассматривает Пашу. Тот продолжает свой бред:

— Мама, ну не молчи, поругай ты меня, и тебе легче станет, и мне. Что ж ты на меня так смотришь? Так же вот смотрела, когда меня из школы выгнали. Смотрела-смотрела и заплакала.

Моисей, видя, что Воробей словам Паши несколько не удивился, немного успокоился.

— Саша, у него белая горячка. Что делать?

— Ну что вы, Моисей, какая горячка! «Белочка» приходит под утро, а теперь ночь. Ну, разговорился человек во сне, обычное дело.

Шепот, бормотание Паши переходят вновь в явственный монолог:

— Да не виноват я был, мама! Ты мне тогда не поверила и сейчас, что ли, не веришь? Ну ладно, ладно. Виноват. Но я же отсидел за это, от звонка до звонка. Не вини ты меня больше, мама.

Моисей опять встревожен:

— Саша, я... боюсь.

— А ты забирайся на верхнюю полку, здесь безопасно.

— Так это же место Сергея. Он вот-вот придет.
— А он давно ушел?
— Не знаю. Может, минут двадцать.
— А, ну тогда не переживай. Если он не вернулся через пять минут, значит, у него все получилось.
— Что получилось?
— Женщину уговорить получилось.
— А кого он, где он, куда он, кого успел найти?
— Думаю, Любу, больше он в вагоне ни одной женщины не видел.
— Не может быть! Люба — порядочная женщина. Мы с ней столько общались с самой Москвы. Она приличная очень женщина, у нее семья есть.

— Ну вот женщина и наелась твоими приличными разговорами, утомил ты ее, должно быть. И ей захотелось не дурацких приличных разговоров с мужчиной, а нормального общения.

Моисей, с большим трудом забираясь на верхнюю полку, бормочет: «Как же? Разве так можно? Мне, правда, тоже пришла такая мысль, но я ее прогнал, побоялся оскорбить женщину...»

— Ну и дурак, — комментирует Воробей.

Моисей замер на полпути на верхнюю полку, собираясь с мыслями на ответ Воробью, но тут снова вскрикнул во сне Паша: «Нельзя же так, мама!», и Моисей молодо вспрыгнул на верхнюю полку. Из растерянности от незнакомого ему прежде космоса человеческих отношений Моисея вернул Воробей:

— Зачем ты меня разбудил?

Воробей перевернулся на живот, свесился к Пашину лицу, и начал жестокую игру:

— Паша, сыночек мой...

Бедолага обрадовался, что «мама», наконец, откликнулась:

— Мама, мамочка моя родная, наконец-то ты заговорила!

— Сыночек, сколько дней ты пьешь?

— Дык... Не помню, мама. С неделю, наверное. Нет, больше...

— Деньги-то еще остались?

— Нет. Сегодня, когда чуть не помер, на последние... покушать взял.

— Что ж ты мне врешь, сыночек? «Покушать взял». Водки ты взял и закусить немножко.

— Мама! Вы там все, что ли, знаете? Все оттуда видите?

— Все, сыночек, все. Все видим, все знаем.

— Мама, а сколько мне жить осталось?

— Да ты что, сыночек, с кукушкой меня спутал? Будешь жить так, как сейчас живешь, долго не протянешь.

Моисей, наблюдая всё это, сделался белее снега. Услышав очередной вопрос Паши: «Мамочка, ну а что ж мне делать? Я не хочу умирать!», он перестал дышать в ожидании ответа «мамочки». Воробей не стал утешать страдальца:

— Хочешь-не хочешь, а умереть, сыночек, придется.

Паша застонал и, кажется, заплакал во сне. Моисей не смог терпеть дальше, ухватил Воробья за локоть:

— Саша! Прекратите! Прекратите немедленно! Что ж вы так над человеком издеваетесь!

Воробей удивился на такую реакцию:

— Да ну, Моисей. Разве это издевательство? Это так, воспитательный тренинг для детского сада. — Ему пришла в голову забавная мысль. — А давай мы Пашу от черносотенства вылечим, загипнотизируем его, внушим, что нельзя вас, евреев, обижать.

— Что вы?! Это человек должен сознательно понять.

— Ну, сознательно — это не всякому дано. Некоторых необходимо программировать. — Свешивается к Паше. — Паша, сыночек, ты уже спишь?

— А! Мама, ты еще здесь? Уходи-уйди! Не пойду я с тобой, не зови даже!

— Да что ты, сыночек! Оставайся, конечно, среди людей. Поживи еще, сколько получится. Только за что ты евреев не любишь?

— Не знаю. Не люблю, и все.

— Ну и дурачок. Ты же им жизнью обязан.

— Чего это вдруг?

— Акушер, который мои роды принимал, еврей был. А роды у меня тяжелые были. Намучилась, чуть не умерла. Никто и не верил, что все обойдется. Мне ведь все говорили, что не надо рожать, аборт, говорили, сделай, пока не поздно. Но врач за мной хорошая наблюдала, тоже еврейка. Она-то и сказала: никого не слушай, рожай. Только благодаря ей ребенок жив остался.

— Ну и что? А я-то здесь при чем?

— Дурачок. Ребенок-то тот ты был. Вот и получается, что живешь ты только потому, что на свет божий они тебя приняли, евреи.

Паша явно озадачился:

— Вишь ты, как оно получается...

Воробей повысил голос:

— И чтобы я не слышала впредь от тебя ни одного худого слова про них! Понял меня?

Паша ответил почти детским голосом:

— Понял, мама, понял!

Воробей казался вполне удовлетворённым сеансом перевоспитания Паши, сказал повелительно:

— Ну а теперь — спи.

Он некоторое время смотрел на Пашу, тот блаженно вытянулся на полке. Подал голос Моисей:

— Успокоился Паша, уснул.

— Да, теперь уж долго не проснется.

— Почему вы знаете?

— Ну так его ж мама молчанием изводила. А теперь он с ней поговорил, упокоился. Отлить схожу, может, усну еще.

Воробей ловко соскочил с верхней полки, ушёл. Моисей попытался также ловко спуститься вниз, у него это не получилось — он ещё что-то уронил со стола. Купе совсем превратилось в свинарник.

Жизнь с другой стороны

Воробей осмотрел стол: «Однако!» — и обернулся к Моисею. Моисей, вытряхнутый обстоятельствами последних часов из привычной колеи, впал в беспокойство, пытается найти причины этого беспокойства, не находит и нервничает от этого ещё больше:

— Саша, а где всё-таки Сергей? Может, его поискать, не случилось ли что с ним чего?

— Эх, Моисей! Что с ним может теперь, ночью, случиться? Только хорошее. Выпьем?

— Нет, Саша, я не буду.

— Ну и правильно. Тут и выпить -то уже почти ничего нет. — Он аккуратно поднял оставленную под хлебом водку для Паши. — Маловато. — Засомневался, не отпить ли немного.

Моисей вспомнил:

— Это Сергей для Паши оставил, на утро.

Воробей поставил водку на место:

— Да, завтра она будет полезнее любому из нас. — Он заметил тревогу Моисея. — Что с тобой? Ты чего так нервничаешь?

— У меня сегодня необыкновенный день случился, Саша. Вы знаете, я как-то всё больше с семьей, с коллегами. Работа-дом, дом-работа. И мне это не скучно, нет. Там все мои интересы и вся моя жизнь. Я ду-

мал, что и в дороге потрачу время с пользой. Почитаю, мысли, аргументы свои запишу. А вы меня вот словно вырвали из привычного и уютного моего кокона. Сначала Паша, потом вы с Сережей. И я ничуть об этом не жалею. Вы мне как будто жизнь показали с другой стороны, откуда я ее не знал.

— С изнанки.

— Ну почему с изнанки? Нет, такой, какая она есть. Я как-то сжил-ся со своей работой, со своими радостями и болью. Даже, может, думать забыл о других людях. А это нехорошо, неправильно.

— Да что вам другие люди? В мирной жизни они в основной массе и не заслуживают того, чтобы обращать на них внимания.

В обыкновенном своём состоянии Моисей обязательно бы заметил в Сашиной оценке людей его уточнение про мирную жизнь, но теперь он пропустил это уточнение мимо ушей:

— Зря вы так, Саша. Вы же хороший человек и добрый, как мне кажется. Зачем вы так про людей?

— Ну ладно. Не буду больше вслух так говорить. Только про себя.

Моисей вздохнул:

— Саша. У меня, наверное, нет права, и я боюсь вас обидеть этим вопросом. Но мы ведь, в конце концов, сегодня встретились, завтра прощаемся, чтобы больше никогда не увидеться...

— Кандидат наук, заканчивай с вводной частью, спрашивай уже.

Моисей помолчал, собрался с духом, но прямо спросить всё же не сумел:

— Дело в том, что, когда вы спали, мы долго и искренне общались с вашим товарищем, с Сергеем. И он мне рассказал о вас нечто удивительное, можно даже сказать, интимное.

Воробей с любопытством взглянул на собеседника:

— Про стихи мои, что ли? Читать не буду, я сегодня столько не выпил, чтобы стихи свои читать.

Моисей опешил:

— Вы еще и стихи пишете?

— Что значит «еще»? А чего он вам про меня рассказал?

Моисей мнется, долго собирается, снова вздыхает:

— Про полеты...

Воробей мгновенно стал серьёзным:

— Полеты? Полеты, полеты. Полеты во сне и наяву. Вы про какие интересуетесь?

— Про полеты... в космос.

— Я давно о них не рассказываю. Серёге только, но ему я о них всегда рассказывал. А кому другому — давно зарёкся.

— Почему?

— Потому что однажды я рассказал о них самому близкому — по паспорту — человеку. Она испугалась. За себя, понятное дело, испугалась, но всем объяснила, что испугалась она за меня, — и сдала меня в психушку. Меня полечили по полной программе. Поправили мое психическое здоровье, и я надолго перестал летать. В психушке мне настойчиво объясняли, что летаю я ни в космос какой, а просто путешествую по собственному мозгу. Шизофреник, мол. И чтобы доказать вам, Моисей, что я не шизофреник, я не буду вам рассказывать про то, где я бываю и что там вижу.

— Прошу вас, расскажите! Ну хотя бы главное: что ждет Землю в ближайшем будущем, об этом же вы наверняка говорили с... с ними.

— А что может быть с Землей?

— По некоторым данным, в 2030 году нашу планету ожидают глобальные катастрофические катаклизмы. Так что человечество может просто исчезнуть.

— Вижу, что вас это очень беспокоит.

— Как же это может не беспокоить? Ведь вместо жизни будет смерть!

— Смерть? А что такое смерть?

— Ну... это...

— Моисей, если у вас нет готового ответа, не нужно сочинять его на ходу. Эх, плохо, что у нас нет водки! Была бы, я вам много чего рассказал.

— А почему тот факт, что у нас нет водки, мешает вам рассказать мне то, что вы знаете, в чем вы уверены, что оно есть?

— Потому что утром, когда вы мне напомните вчерашний разговор, а я не захочу его продолжать, у меня не будет возможности сказать вам: «Как же вы вчера напились, что вам такое в голову пришло!» Спокойной ночи, Моисей. Я пошел спать. Вы как хотите, а я иду спать в соседнее купе. Очень уж тут дымно, пьяно, грязно. Нехорошо тут как-то, бедой пахнет.

Воробей остановился в дверях, посмотрел с жалостью на растерянного Моисея:

— А смерти не надо бояться. Чем быстрее человек перестанет бояться собственной смерти, тем больше времени останется у него на жизнь. Не робей, Моисей!

Он уже развернулся уходить, но вспомнил про вещи. Вернулся в купе, быстро отыскал их с Серёгой рюкзак и сумку, мигнул смотрящему на него Моисею и вышел.

Воробей открыл дверь соседнего купе, подумал и прошёл дальше по коридору. Устроился на ночлег в предпоследнем купе. Почему оно показалось ему самым спокойным, он объяснить бы не смог, просто «чуйка подсказала», включились природные и наработанные за последнее время рефлексy самосохранения. Катнул дверь до упора, на щеколду закрываться не стал: запёртая дверь — верный признак того, что в купе кто-то есть.

Он опустил на окне шторку, с сожалением взглянул на нижнюю полку — удобное и почти безопасное место в случае, к примеру, экстренного торможения поезда. Но человек на нижней полке сразу бросится в глаза тому, кто непрошенным войдёт в купе. Воробей бросил вещи на одну верхнюю полку, сам забрался на вторую. Подушку, как не хотелось, брать не стал. Чтобы стать совсем незаметным, вплотную придвинулся к стене.

Летняя ночь

И как же коротка летняя ночь! Первая ночь с любимой женщиной обязана случаться в декабре, когда можно любить, отдыхать и опять любить, можно успеть поесть и даже поспать, чтобы набраться сил и опять любить. Но любовь сваливается на нас, когда сама захочет, угадай и поймай её и держи крепко, держи пока остаются на это силы.

— Утро, уже утро, — с грустью проговорила Люба.

Сергей повернул к ней лицо и долго и внимательно смотрел в глаза женщины. Люба не отводила взгляд, в уголках её зелёных глаз собирались слёзы. Они не клялись друг другу в вечной любви, не мечтали — вслух — о продолжении счастья этой ночи. Не заглядывали не только в завтра, у них и сегодняшнего дня почти не было — до разъезда «Иня» оставалось всего несколько часов. Но и эти короткие часы они не смогут провести вместе. К началу утренней смены женщина должна быть на посту в служебном купе проводников.

— Серёженька! Мы ещё встретимся?

— Ты этого хочешь?

— Да.

— Я приеду к тебе.

— Когда?

— Думаю, что очень скоро.

— Насовсем?

— Ты ведь замужем.

— Замужем. И ты женат... Зачем ты только сел в мой вагон!

— Чтобы подарить нам счастье.

Люба уткнулась в подушку. Заплакала.

— Если я не смогу тебя забыть, я найду тебя. И тогда тебе надо будет решать, будем мы вместе или нет. Не реви. Слышишь, не реви, слышишь?

— Слышу. Я буду ждать тебя. Как же быстро прошла ночь! Встаём, Серёжа.

И чтобы не вернуться к слезам, чтобы не говорить о своих чувствах и не задавать мужчине вопросов, на которые он не знает ответов, Люба начала расспрашивать Сергея о его товарище.

— Ты на родину едешь. А товарищ твой зачем с тобой поехал?

— Он одинокий. Неприкаянный. Приехал в отпуск с войны...

— У меня много военных в вагоне бывает. Смотрю на них, думаю, не все ведь вернутся. Наверное, и они об этом думают, не говорят только.

— Пьют в дороге?

— Выпивают. Но ведут себя хорошо. А когда зашумит кто, прикрикнешь на них, и скандалы прекращаются. Они какие-то правильные, что ли. Жалко их. Особенно тех, у которых, знаешь, мягкие игрушки к рюкзакам прицеплены. Дети подарили... Прямо иногда чуть не заплачешь от этих игрушек. И что товарищ твой?

— Воробей без игрушки на войну уехал.

— У него семьи нет?

— Была. Он рано женился, в восемнадцать лет. В армию его забрали. А жена его молодая родила после этого. Через десять месяцев. Как-то она его еще обманули с тещей. Наврали, что беременность тяжелая была, ребенок слабенький родился, и вот только когда стало ясно, что малыш выживет, только тогда солдату и сообщили. Он поверил и не поверил. Но когда вернулся, стал заботливым отцом и мужем. А потом у него еще один ребенок родился. Опять не от него. Этого он уже не выдержал, сбежал от такой обидной жизни на метеостанцию на Крайнем Севере. Два года на севере были у него самыми счастливыми в жизни. Как-то у них там все справедливо было.

— А что ж он там не остался?

— Женщины не нашел. С ума, рассказывал, начал без бабы сходить. Вот и вернулся.

— И не женился больше?

— Да нет, он периодически женится. Но редкая жена может вытерпеть его больше года.

— Почему?

— Требует он от них много. А они все никак не соответствуют. Я ему уже и объяснять перестал, что бабу надо просто терпеть. Они же нас, в конце концов, терпят. А ему так не надо. Хочет, чтобы все идеально было.

— Да, грустная история.

— Грустная. Приехал в отпуск, а ему и пойти некуда. Больше у меня жил. Мы с ним так жене моей надоели. Вот и поехали. Знаешь, я ведь на родине ни разу после детства не был, мне даже немного страшно ехать. Вдвоём лучше.

Люба сокрушённо покачала головой. Однако пора было вставать.

Они быстро оделись, Люба принялась надевать чулки:

— Отвернись, пожалуйста.

Сергея пожал плечами, собрался пошутить, но не успел — поезд неожиданно затормозил, он ударился головой о верхнюю полку, выругался. Люба, заботливо придерживая одетый до колена чулок, выглянула в окно, увидела там только уже выгоревшую траву степи, редкие холмы до горизонта:

— Не помню, чтобы мы здесь хоть раз останавливались.

— Смотри — ковыль! Красота какая! Давай выйдем на минуту из поезда?

— Не положено.

— Опять ты за своё! Пойдём хоть двери откроем, в тамбуре воздухом подышим.

— Ну, пойдём, — сказала Люба, а про себя подумала: «И что я опять с этими инструкциями вылезла? Пряма дура какая-то!». Она поторопилась сдёрнуть с ноги чулок, порвала его, чуть не заплакала с досады, но Сергей прижал к себе её голову, нежно погладил волосы:

— Не расстраивайся, да и зачем тебе чулки летом?

Люба смущённо улыбнулась:

— Начальник поезда говорит, что это обязательный дресс-код.

— Только в его поезде или для всей РЖД?

Люба пожала плечами, звонко рассмеялась:

— Не знаю.

— Какая ты красивая, когда так смеёшься, — Сергей крепко обнял Любу, поцеловал её сначала в глаза, потом в губы, потом начал расстёгивать её фирменную рубашку.

— Нет, Серёжа, нет. Нет у нас уже времени, скоро пассажиры начнут просыпаться, идём, я дверь открою, воздухом подышим.

Как только Люба открыла дверь вагона, в тамбур ворвались незатейливые трели кузнечиков.

— Так здорово, что у тебя вагон пустой. Я первый раз вижу, чтобы в вагоне одно только купе было занято.

— Сама удивляюсь. Я с Москвы уже несколько раз сведения о наличии свободных мест подавала начальнику поезда. Во все другие вагоны народ садится, а мой как заколдованный.

— Зато никто нам с тобой не помешал сегодняшней ночью.

— Это что ж, это хорошо. Но мне всю дорогу как-то тревожно.

— Смотри, озеро, рядом совсем!

— Здесь много озёр, есть солёные, но большинство пресные. Рыбы в них полно.

— Откуда ты про рыбу знаешь?

— Скоро станция будет, сам увидишь, сколько там рыбы продают.

— Пошли искупаемся!

— Отправление в любой момент дать могут, лучше не рисковать.

— А я Воробья разбужу, пусть покараулит, стоп-кран дернет, если увидит, что мы не успеваем.

— Остановка поезда без причины — это у нас чрезвычайное происшествие.

— И как тебя за него накажут?

— Погонят из бригады. И ездить мне до самой пенсии куда-нибудь в Бобровку на пригородном поезде.

— Давай рискнём! Нет? Ну, ладно. Знаешь, чего я больше всего боялся этим утром? Боялся, вот проснёмся мы, а твой голос не будет уже заворачивать меня. Что вчера было просто какое-то непонятное наваждение. А сегодня его не будет. Потому что ну не бывает так долго так хорошо.

— И что оказалось утром?

— Как только я услышал твои первые слова, я снова превратился в пушистого домашнего кота, которому ничего кроме доброго слова и хозяйской ласки не нужно. А кроме голоса запах мне твой нравится. Очень нравится, я и не думал, что так бывает.

— Почему не думал?

— Ну... Человеческий пот — штука неприятная. А сегодня он мне понравился. В первый раз в жизни. Твой запах. Даже подумал зачем мне ехать на родину, мне надо ехать с Любой. Я от тебя голову совсем потерял. Мне надо остыть. Не пойдёшь купаться?

— Нет.

— Эх, если б сразу пошли как остановился поезд, теперь бы уж возвращались! Ну, рискнем?

— Нет.

— Ну тогда я один.

— Сумасшедший! Ну, беги, только скоро. А мне сигаретку дай, покурю, пока тебя караулить буду.

— У меня крепкие.

— Ничего, дольше после нее курить не буду, — сказала Люба, опуская ступеньки в степь.

Сергей отдал Любе сигареты, зажигалку и сбежал в начинающийся июльский зной, треск кузнечиков и первую трель жаворонка. Обернувшись, махнул Любе рукой.

Люба улыбнулась, помахала в ответ:

— Я посмотрю, чтобы ты не отстал.

Случилось страшное

Голова у Моисея заболела ещё во сне. Робея перед похмельным утром, он прятался от него в ненадёжной дреме. Остатки сна прогнал резко остановившейся поезд. Моисей осторожно, украдкой от самого себя начал ошупывать себя. Очень не хотелось верить в то, что простыни его и одежда мокрые. Удрученный, он встал и снял с себя «домашнюю» одежду, поскольку переодеться было не во что, надел брюки от костюма, официальную рубашку. Снятую одежду брезгливо понюхал, свернул, положил в плотный пакет и спрятал в чемодан. Потом энергично собрал постельное белье: «Ой, стыд-то какой! И зачем я это пиво тюменское пил?!» Вздохнул, взял казенное белье и пошёл к Любе. Не найдя ее в купе проводников, вышел в тамбур. Люба стояла у открытой двери и внимательно смотрела в степь. Она вздрогнула на слова Моисея:

— Доброе утро, Люба...

— Ой! Напугали! Здравствуйте, Моисей Соломонович. Вам чего? А что это вы уже белье сдаете? Мы же только завтра утром будем на месте, сутки ещё почти ехать.

Моисей мялся, краснел, наконец, выговорил:

— Так стыдно, так неудобно мне. Нет, я не сдаю, то есть сдаю, то есть хочу поменять белье.

— Что-то случилось?

— Случилось. Черт! Как же я, старый еврей, и не догадался! Надо было испачкать все это вонючими рыбными консервами, не сообразил. Теперь приходится правду говорить.

Люба думала о Сергее и никак не могла понять неловкую ситуацию, в которую угодил пассажир:

— Да что случилось-то?

Моисей решил:

— Случилось страшное. Сергей уговорил меня попить в Тюмени пива. А я пиво совсем не пью, у меня почки больные. Вот. А тут прямо на сон пиво выпил. И вот результат...

— Так вы...?

— Да...

Любе стало жалко старого человека:

— Да не убивайтесь вы так, в дороге всякое случается. Пойдемте, поменяем мы вам простыни, никто ни о чем и не догадается.

— Спасибо вам, я заплачу.

— Конечно, заплатите, куда вы денетесь.

— Только вы уж не смейтесь надо мной.

— Да я и не смеюсь, с чего вы взяли. Пойдёмте, а то я сейчас вместе с вами расплачусь.

Моисей немного ожил:

— Вы правда никому не расскажете?

— Да кому это интересно-то, что у пассажира такой конфуз случился, господи!

Люба, погрузившись во вселенский стыд Моисея, вдруг забыла о Сергее. Пока она доставала бельё, поезд незаметно тронулся. Машинисты иногда умеют так бережно стронуть состав с места, что пассажиры не сразу замечают, что поезд уже едет, а когда заметят, с удивлением восклицают: «Ну ведь умеют же, зачем они почти всегда дёргают вагоны?!»

Моисей достал кошелёк и стал вслух отсчитывать деньги:

— Десять рублей, ещё десять, пятьдесят, а вот сторублёвая есть! И вот еще возьмите, за чай. Возьмите, Люба. А титан скоро поспеет?

— Сейчас включу. Сколько-времени-то?

И тут до неё донёсся стук колес. Люба бросила на стол деньги Моисея и выбежала в тамбур. Виды степи в открытую дверь мелькали уже так, что было ясно — поезд набрал ход. Люба потянулась рукой к рычагу стоп-крана, представила, как споткнётся сейчас состав, как во множестве полетят с полок сонные пассажиры, как кто-то из них боль-

но ударится, а то и покалечится и что хуже всего, пострадают ребяташки. И вместо того, чтобы сорвать стоп-кран, она заплакала.

В этот момент в тамбур выглянул растерянный Моисей:

— Что случилось, Люба? Чем вы так взволнованы?

— Сосед ваш от поезда отстал.

— Кто? Саша или Серёжа?

— Сережа, Сережа. Пойду, говорит, по степи пройдуся, пока мы стоим, ковылем подышу. В озере искупаюсь.

— Я знаю, Любонька, он пошел цветов вам нарвать, как в кино, помните? А что же, а надо же, наверное, поезд остановить?

— Поздно уже. Заболталась я тут с вашим... сырым бельем. Если бы сразу, как поезд тронулся, можно было экстренное торможение применить. А теперь уже все, пассажир считается отставшим. По вине проводника.

— А вы-то здесь при чем? Как бы вы могли его из вагона не выпустить?

— Очень просто — я не должна была вовсе открывать дверь, дверь должна быть закрыта на ключ, который есть только у проводника.

— А... а если пассажир через окно вылезет?

— Ой, да не говорите вы ерунды!

Моисей искренне хочет помочь Любе:

— Вы знаете, у нас в купе окно открыто, вот и скажем, что Сергей сам ушел, без вашего ведома, через окно.

— Ладно, Моисей Соломонович, хватит меня успокаивать, идите уж.

Моисей, вдруг догадавшись, что и его вина есть в том, что отстал Сергей, ведь, должно быть, именно его выглядывала в дверь Люба, когда он отвлёк её со своим бельём. Он опять сильно стусевался, как бы даже и запаниковал от свалившихся на него неприятностей, ему захотелось, чтобы эта его поездка мгновенно, каким-нибудь волшебным образом закончилась:

— Да, пойду. — Пошёл, но тут же вернулся. — А можно я тут с вами побуду? Мне как-то нехорошо. Какое-то странное чувство, какая-то тревога необъяснимая, беспричинная...

— Ну побудьте. Только белье-то ступайте постелите.

— Я постелю и назад, можно?

— Можно. А я пока чай вам сделаю.

Моисей вернулся к себе, торопливо постелил простыню, потом снял ее, перевернул матрас и для пущей надёжности застелил его одеялом, почти приладил простыню сверху...

Он не заметил, что за странными его манипуляциями наблюдает Паша. Паша болел похмельем, но он даже не подумал осмотреть стол в поисках спиртного, он не сомневался, что вчера было выпито всё, потому что по-другому в его жизни и не бывало. Паша, может быть и не понял бы, что происходит с его соседом, но Моисей успел несколько раз суетливо понюхать и матрас, и постеленную на него, а потом снятую простынь.

— Че, Моисей, обоссался, что ли?

Моисей вздрогнул:

— Вы! — Не зная, что сказать, вдруг обмяк, сел на полку. — Да...

К его облегчению и удивлению Паша не стал зубоскалить:

— Вот ведь, оказывается, что и вы — тоже люди. Да не горюй ты так. Нашел отчего убиваться. Ты всего лишь обоссался. А вот я весь в полном дерьме. Мать что-то зачатила ко мне. Она давно умерла, я её уж столько лет даже не вспоминал. И не разу она мне не снилась. А тут за день два раза. Не к добру это. Что скажешь?

Моисей пожал плечами, с природной своей обязательностью горько вздохнул:

— Я в приметы не очень верю. Может быть, это оттого, что вы домой едете, вспоминаете дом, детство, друга своего. Оттого мама и снится. Паша, может быть, вам что-нибудь принести?

— Что ты можешь принести, Моисей? Чаю? Это который Люба продает, пакетный, что ли? Нет. Этот чай мне не поможет.

Моисей, словно отпрашиваясь у Паши, проговорил:

— А я пойду, попью у Любы чайку, ладно? — Он вертел в руках полотенце от нового набора, увидев своё старое полотенце, он не сообразил, что одно из них надо отдать проводнику, чтобы комплект снятого недавно белья был полным. Моисею бросился в глаза грязный столик, и он решил прикрыть его белоснежным полотенцем, что крутил в руках. Столик стал выглядеть ненамного лучше, однако полотенце надёжно прикрыло скорую утреннюю помощь для паши — полстакана водки.

Ответ на все вопросы

От поезда Сергей не отстал. Перед Любой, когда звал её купаться, он не то, чтобы бравировал, нет, он действительно верил, что они и до воды успеют добежать, и искупаются, и успеют вернуться. Так ему хорошо и спокойно было, таким полным было счастье последней ночи и наступившего утра, что казалось ему, что состояние это будет теперь

продолжаться долго. Не вечно, конечно, но долго. Когда же побежал к озеру один, словно очнулся: РЖД нет никакого дела до моего счастья, мигнёт вот прямо сейчас семафор зелёным и поедет поезд без меня. Ну, тогда уж надежда только на Любоньку, если я ей действительно до-рог, нарушит, наконец, свои инструкции, дёрнет стоп-кран.

Он добежал до воды, быстро разделся, нырнул в прохладную воду, но одному купаться было не в удовольствие. Подумал: освежился и хватит, быстро выбрался на берег, быстро оделся, даже задохнулся — так торопился вернуться. Он почти успел, оставалось несколько метров до поезда, когда тот тронулся. И тут он увидел, что Любы в тамбуре нет. Он успевал добежать до открытой двери, но вдруг остановился. «Что же ты, Люба! Говорила, что не будешь спускать с меня глаз, где же ты?» И в эту секунду он успевал догнать свой вагон, он, было, и побежал к дверям, но остановился, стало вдруг незачем бежать, не к кому бежать.

Вернул его в чувство резкий свист. Сергей увидел, что в одном из набегавших на него вагонов открыта дверь, и человек в полевой армейской форме торопится откинуть площадку вместе с которой уходят вниз, к перрону, выдвижные ступеньки.

Этот боец, когда поезд остановился, принялся упрашивать проводницу выпустить его из вагона покурить. В конце концов та согласилась лишь открыть дверь, взяла слово, что тот не только из вагона не выйдет, даже высовываться наружу не будет — инструкция запрещает выпускать пассажиров из вагона в таких случаях. Боец долго курил в приоткрытую дверь, он видел, как Серёга бежал к озеру, купался и возвращался назад. Подумал «ловкий парень, отчаянный, к нам бы такого». Он уже закрыл дверь, как почувствовал, что поезд тронулся. «Успеет или не успеет?» — подумал он и приоткрыл дверь. Боец увидел, как парень отчего-то остановился: «Струсил, что ли?» Чтобы подбодрить парня, он распахнул дверь, громко свистнул и начал разбираться с незнакомой конструкцией выдвижных ступенек. В памяти его мгновенно всплыла картина, как это делала проводница. Ярый курильщик, на каждой остановке он выходил в тамбур вместе с ней, помнил все её манипуляции с дверью. С механизмом он справился в последние секунды, ступеньки опустились прямо перед Серёгой. Серёга прыгнул, попал на нижнюю ступеньку обеими ногами, а вот за поручни ухватиться не сумел. Потом он вспомнил, что чётко почувствовал потерю равновесия, как начал уже отваливаться назад и как схватила его за волосы крепкая рука ангела, одетого в эту минуту в современную полевую форму русского солдата.

Какое-то время они молча тяжело дышали. Отдышались, одновременно подняли глаза друг на друга. Оба понимали, что только что разминулись с большой неприятностью, один мог погибнуть, второй получить ворох хлопот за невольную провокацию такого несчастья.

— Спасибо. — Серёга протянул руку спасителю. «Да чего там, — ответил тот. — Ты пройди в соседний вагон. — Если моя проводничка всё это видела, сейчас такой скандал устроит».

Серёга заметил на форме своего спасителя нашивку за ранение, шеврон с символикой СВО, ещё раз протянув руку для благодарности и прощания. Тот пожал руку, кивнул с улыбкой.

«Старый. Старше меня точно. Конечно, старше. Пятьдесят с хвостиком. Нашивка за ранение жёлтая, значит, ранение тяжёлое. А Воробей не носит свои. У него, правда, красная, за лёгкое ранение, зато две. Так, а куда я иду-то? Что мне в чужом вагоне делать? Но в свой я пока не пойду. Там мне точно делать теперь нечего». Вагон был плацкартный, у самого туалета оказалась свободной боковушка, и ниже, и верхнее места. Сергей вдруг почувствовал страшную усталость. Подумал: «Забраться наверх или столик на нижней убрать?» Вместо этого просто сел. Посмотрел на часы, и не увидел их. «Где же я их оставил? У Любы, наверное. Надо бы забрать». Посмотрел на электронные часы над дверью в тамбур — до открытия ресторана оставалось ещё около часа. «Подожду здесь, потом туда уйду. Пока, может, усну». Он будто задремал, но недавно пережитое больно кольнуло, сон пропал. Нет, больно ему было не от мысли, что он мог бы уже не жить, а лежать обезображенным куском мяса на шпалах. «Ну и дурак же ты, Серёжа! Вкусный запах, завораживающий голос — вот оно, счастье до скончания моего мужского века! Хотя...счастье ведь было? Было. Недолгое, но настоящее. Но так размечтаться... Пацан! Жалко. Жалко. Что же ты, Любонька?! Жалко. Ну, ничего. Переживём».

С детства, с тех самых тополей и дежурного магазина с тёплым хлебом угнездилась в нём уверенность, что жизнь его и жизнь вокруг будет чистой, честной, правильной и счастливой. Жизнь, однако, складывалась по-разному, как у всех нас. Но уверенность, что его жизнь должна и может быть весёлой, лёгкой и красивой никуда не делась. Иногда она пряталась в самой глубине души — когда внешние обстоятельства придавливали так, что уж и надеяться на благополучный из них исход нельзя было.

«Конечно, жить надо весело, легко и красиво — думал он и сейчас. — Но я же не придурок, чтобы веселится, когда вокруг столько несчастья и беды. У товарищей моих, у знакомых — да просто у людей во-

круг. У страны моей. — Вслух он такого ещё не готов был говорить, но про себя знал уже твёрдо: как человеку, как лично мне может быть легко и весело, когда Родина переживает сложное трудное время?

«Нет. Весело, легко и красиво жить можно в любое время. Можно. Если живёшь честно перед Богом, перед людьми, перед собой. Что же я делаю нечестно, не правильно?» Он встал с намерением выйти в тамбур покурить. «Чёрт! В поездах курить нельзя». Он вспомнил давно прошедшее время, когда в тамбурах были пепельницы, там постоянно толпились курильщики. В прежних вагонах тамбур отсекался от жилого сектора вагона двумя дверьми, которые были по обе стороны коридорчика у туалета, эта конструкция вагон от дыма спасала мало. Ну, и правильно, что нельзя теперь курить в поезде. Серёга повернулся, чтобы вернуться на место и вдруг заметил оставленную кем-то на соседнем месте газету. Это была настоящая газета. Не какие-нибудь сканворды или жёлтая пресса, что теперь на вокзалах только и можно купить, а серьёзная газета. «Надо же! — она до сих пор в бумаге выходит!» Когда-то это была единственная газета, которую он читал, не просматривал, как другие издания, а именно внимательно читал. И редактор со своими передовицами, и многие из авторов были многословны, но это было не пустословием, а попыткой детально анализировать происходящие события. А два года назад, в конце февраля 2022 года, началось время, когда события уже не надо анализировать, чтобы на основе этого предсказывать развитие ситуации. История начала твориться на глазах и, чтобы в ней ориентироваться, достаточно стало следить за лентой новостей. Он взял газету, сел, посмотрел на дату выпуска — свежая. С интересом прочитал табло новостей — там было всё о главных событиях недели, которая прошла у него вместе с Воробьём вне всякой информации. Газеты им на глаза не попадались, телефоны давно разрядились, а зарядить их им и в голову даже не приходило. На второй странице сразу бросился в глаза материал внизу страницы — большая фотография офицера с текстом в несколько абзацев. Он прочитал:

Гвардии лейтенант Азамат Фаильевич Бердиев, командир десантно-штурмового взвода 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии Воздушно-десантных войск.

С февраля 2022 года Азамат Бердиев (позывной "Аза") участвовал в Специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик. Воевал на херсонском и николаевском направлениях, в боях неоднократно проявлял мужество и отвагу. Участник штурма

Херсона и Херсонского аэропорта, боёв за населённые пункты в Николаевской и Херсонской областях, за Антоновский мост. В апреле 2022 года был ранен, после выздоровления вернулся в строй. В период участия в боевых действиях в марте 2023 года ему было присвоено офицерское звание. После взрыва на Каховской ГЭС в июне 2023 года участвовал в эвакуации вверенной ему группы.

При выполнении боевого задания 1 августа 2023 года группа военнослужащих под командованием гвардии лейтенанта Азамата Бердиева попала под артиллерийский обстрел украинских войск и понесла потери. Бердиев получил тяжёлое ранение, но отказался от эвакуации и потребовал от подчинённых сначала вынести в укрытие и оказать первую медицинскую помощь пяти раненым военнослужащим, а сам продолжил командовать своим подразделением. Скончался от ран.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии лейтенанту Бердиеву Азамату Фаильевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Прочитал и долго смотрел на фотографию героя. «Молодой. Крепкий. Красивый. Лет тридцать или чуть больше. Погиб ещё прошлым летом, а написали только сейчас. Да и написали-то немного совсем. Кем он был до войны? Есть ли у него своя семья, дети? Там сейчас главное дело, там, где он погиб. Для всех нас главное».

— Я должен быть там, — эти слова он сказал себе не сейчас, а в феврале 2022-го. Сейчас их повторил. А в том феврале, не сообщив о своём решении даже Воробью, ближайшему своему товарищу, он пошёл в военкомат. Начальник отдела по работе с офицерами запаса выслушал его и ответил: «Специальность у вас подходящая — заместитель начальника штаба мотострелкового батальона. И звание достойное — капитан. Но вот, в чём дело. Вы ведь даже в армии не служили. Знаете, сколько сейчас боевых офицеров из запаса с такими заявлениями приходят. Я и им-то отказываю, нет на сегодня разрядки о наборе офицеров».

Офицерские погоны Сергей получил на военной кафедре гражданского вуза. Учили их неплохо, потом было несколько военных сборов, от которых он не бегал. А на деле выходит, что военкомат его настоящим офицером и не считает. «Вижу, вы расстроились, — успокоил начальник отдела. — это зря. Неизвестно, какой будет война — возможно, долгой. Ждите, очень может быть, что дойдёт очередь и до вас».

Воробей, когда узнал про этот поход в военкомат, назвал Серёгу дураком: «Война — не игрушки, там убивают, иногда почти сразу».

Воробей знал, о чём говорил. В конце своей срочной службы он зацепил Кавказ. Про ту свою войну он Серёге ничего не рассказывал, а когда узнал о несостоявшемся подвиге друга, немного рассказал. Воробей сам напросился на Кавказ из своей Дальневосточной части. Несколько рапортов написал. А на Кавказе в первый же день назвал себя дураком. Только их колонна втянулась в ущелье, её сразу обстреляли. Нужно было как можно быстрее выскочить из кузова и укрыться за скатами, осмотреться и тогда уж отвечать врагу. Прыгали за борт быстро, а приятель его как-то медленно выбирался на землю. Он накануне подвернул ногу и не стал прыгать из кузова, перекинул ногу через борт, перекинул вторую и начал искать опору. «Я ему ору, да быстрее ты, чего ты медлишь! Ору, а он не слышит будто. Я ему в глаза посмотреть, он же лицом ко мне, а у него половины черепушки нету, ровно так срезало. Кровь на моих глазах мозги оставшиеся окрасила. Не лезь сам на войну, Серёга. Позовёт Родина, тогда пойдём».

Воробья Родина позвала уже в сентябре, а Серёгу частичная мобилизация обошла стороной. В военкомат его так и не позвали. И какое-то словно чувство неполноценности у него появилось. А тут ещё Воробей, когда приехал долечиваться после второго ранения без всякой задней мысли спросил: «Что, в военкомат больше не ходил?», и Серёга почувствовал себя виноватым.

«Может, я армии и не нужен, — думал он сейчас. — А если мне нужна армия? Это ведь как с Родиной, нам она нужна больше, чем мы ей. Ну, не нужны армии капитаны, но солдаты — то ей нужны! На малую родину он собрался! — судил он себя. — Что тебе тополя подскажут, что ты должен делать, как ты жизнь свою должен жить они подскажут? Сам должен решить, как жить и что делать, сам».

И он решил, и на душе его стало легко. А недавняя надежда на то, что счастье с Любой и любовь к ней внесут ясность в его жизнь, показалось смешной. «Хорошо бы к Воробью в часть попасть. Он не где-то там в тылу, он рядом со штурмовыми отрядами воюет. Что я не смогу снаряды к миномёту подносить? Смогу».

Сергей понял, что не заснёт, встал и пошёл в тот вагон, в котором его спас боец с нашивкой за тяжёлое ранение, вдруг он ещё там, очень ему захотелось познакомиться с ним, поговорить. Серёга обрадовался, застав его на прежнем месте. Тот улыбнулся в ответ:

- Что, не спится и не сидится?
- Курить охота.
- Вставай к двери, покури.

Серёга хлопнул себя по карманам, вспомнил, как отдал свои сигареты Любе:

— Ты меня извини...

Боец улыбнулся:

— Бывает, — и протянул ему сигареты с зажигалкой. — Тебя как зовут?

— Сергей.

— А меня Геннадий, будем знакомы.

Они пожали друг другу руки, закурили оба.

— Сильно там страшно, Геннадий?

— Умереть не страшно. Раненым оказаться тоже не страшно. Страшно, когда у тебя на руках товарищ умирает. Молодой пацан был у нас, 24 года всего. На руках у меня умирал. Говорил всё: «Домой хочу, домой».

Геннадий замолчал, Серёге казалось, что надо как-то продолжить разговор, но он не нашёл, как. И хорошо, что не нашёл, молчать надо и слушать, когда тебе про войну горькую правду рассказывают.

— Но ещё страшнее то, что в эти минуты, когда на руках у меня умирал боец, погиб мой сын. Ему тоже было 24 года...

Долго молчали. Сергей, наконец, справился с комом в горле:

— Пойдём в ресторан. Сына вашего помянем, за вас выпьем, за Родину нашу.

— Пойдём.

Если б они пошли в ресторан чуть раньше, то скорее всего, столкнулись бы там с Моисеем, который пришёл туда за несколько минут до начала работы ресторана, дождался открытия, купил самой дорогой водки для сержанта и ушёл в первую минуту работы заведения. Столкнись эти трое в ресторане, дальнейшая судьба и самого Моисея, и Паши с сержантом могла сложиться иначе. Моисей мог ведь остаться с ними посидеть, это всяко лучше, чем возвращаться в страшное купе. Моисей мог бы поделиться с товарищами своими неприятностями и, конечно, нашёл бы у них защиту. Но Моисей вышел из ресторана за какие-то секунды до того, как в него вошли Сергей с Геннадием. А по дороге они не могли встретиться: вагон Моисея был перед вагоном-рестораном, а вагон, из которого пришли Сергей и Геннадий — после. Если бы судьба хранила Моисея, то могла бы спасти его и в родном вагоне — заставила бы Воробья выйти из купе, где он провёл спокойную ночь, хоть на минуту раньше. Александр, увидев его почти безумным, точно не оставил бы Моисея один на один с обстоятельствами. Но судьба почему-то не захотела хранить Моисея.

В ресторане Сергей с Геннадием выпили за Родину и Верховного главнокомандующего, второй тост, не чокаясь, за погибших, третий за знакомство. Разговорились: кто ты по жизни, откуда? Геннадий, узнав, что Серёга едет увидеть места, которые он не видел с детства, спросил, мол, зачем, там изменилось всё, разочаруешься только.

— Разочаруюсь? Вот и товарищ мне это же говорит. Да я не боюсь разочароваться. Я... попрощаться с ними хочу. На всякий случай.

— К нам собрался?

— К вам.

В эту минуту в ресторан вошёл, обвешанный их сумками, Воробей:

— Ну, я и не сомневался, где тебя искать, Серёга!

Воробей с Серёгой обнялись, Серёга спросил:

— Что там с нашими попутчиками, живые они?

— Я вчера от них ушёл, заглянуть к ним с утра не было охоты.

Воробей с Геннадием познакомились, о войне говорить почти не стали, спросили друг друга, где именно воюют, и всё. Выпивали, закусывали, разговаривали обо всём сразу и ни о чём. Несколько раз выходили нарушать правила — курить. Серёга, стрельнув сигаретку теперь уже у Воробья, вернувшись в ресторан, тут же купил и курево, и зажигалку. Даже у друзей он не любил просить то, что должно быть у тебя самого.

День рождения сержанта

После того, как Моисей ушёл пить чай к Любе, Паша неторопливо сел. Ему не хотелось думать о наступившем дне, потому, что денег совсем не осталось. Ему не хотелось думать о завтрашнем дне, потому что завтра в родном городе, где у него никого нет, должна решиться его судьба: подсобит ему школьный товарищ дальше жить — хорошо, а если нет? Конечно, Паша пробурчал «что-нибудь придумаю», но уверенности у него в этом никакой не было. За жизнь ему приходилось так часто «что-нибудь придумывать», что это ему до смерти надоело. Он вспомнил ночной разговор с матерью, свои слова ей про то, что он не хочет умирать, что ещё не нажился в этом мире и усомнился: «Может, действительно хватит мне от горя по жизни своей бегать?»

Дверь купе по-хозяйски распахнулась, Паша лишь скосил глаз на вошедшего сержанта.

— Что, горючее кончилось, а трубы горят?

— Кончилось. Горят. Понятливый ты мужик, сержант, далеко пойдешь. Если кто не остановит.

— Это что — угроза? Смотри, я при исполнении. Ну ладно, я сегодня добрый.

— Что так?

— День рождения у меня.

— Замечательный повод выпить.

— А поздравить?

— А что на сухую-то поздравлять?

Сержант согласился:

— Тоже верно. А где эти, соседи твои?

— Моисей где-то здесь, только что был. Воробья с Серёгой с вечера не видел. А, Серёга к проводничке клинья подбивал, у неё, может.

— С вечера, говоришь, не видел? Ах ты сука!

Паша удивился на злость сержанта, но спросить ни о чём не успел, тот уже вваливался в купе проводника. Увидев рядом с Любой старика Моисея, а не Серёгу, на секунду замешкался. Заметил, как Люба наливает чай в стаканы, а Моисей кладёт в них по дольке лимона, мгновенно завёлся:

— Тэк-с! Ты что тут, Любушка, блядский конвейер устроила! Ночью один, с утра пораньше другой. А ты чего, пархатый, как на свадьбу вырядился, а? Галстук твой где? Почему без галстука? Что ты здесь, в служебном помещении, делаешь?

Моисея, который только-только успокоился, накрыла уже даже и не тревога, а натуральная паника:

— Я... я... я — за чаем. Если здесь нельзя пассажирам находиться, я уйду сейчас.

Сержант упивался страхом старого человека:

— Вали! И побыстрее. И свиарник в купе убери, нагадили, как пьяные подростки. Иди. Пять минут даю. Сам зайду проверить, и не дай бог что-нибудь мне там не понравится. Пошел, что стоишь!

Моисей била дрожь:

— Так вы, вы, вы, вы выход мне перекрыли.

Сержант отступил в коридор:

— Смотри, как бы я тебе кислород не перекрыл. Вышвыривайся. Быстро!

Ночью Люба совсем забыла про опасность, которую она чувствовала от сержанта. «А ведь он вчера вечером сказал, что придёт ко мне утром. Пришёл...»

— Что ж ты с людьми-то так вот обращаешься!

— Как я с ними обращаюсь, Люба?

— Не по-человечески.

— А ты со мной — по-человечески обращаешься? Я как увидел, что в Москве к тебе в вагон один только пассажир сел, так с начальником всю дорогу договариваюсь, чтобы не передавал твои сведения про свободные места на станции по пути следования. Чтобы никто нам с тобой не помешал. Только Паше каким-то чудом билет в твой вагон достался, да этим двум придуркам. Они у тебя уже все побывали? Ну, ладно, пришла и моя очередь!

— Так вот в чём дело! А я голову ломаю, почему вагон пустой? Ну, ты даёшь. И начальник поезда тоже хорош. А как ты с ним договорилась? Его ж за такое дело погонят из начальников, если узнают.

— Есть у меня один козырь против него!

— Что ж вы делаете! Что ж вы как-люди-то не живёте?

— Как люди?! Я у тебя любви прошу. По-человечески. Ничего не выходит. Может, ты меня к своей напарнице ревнуешь? Так не нужна мне она. Я тебя хочу.

— Станный какой. Что же это за претензия такая: «я тебя хочу»?! А я тебя не хочу.

— Не хочешь, ну так дай — без желания!

— Ты что-то попутал. Я — не проститутка, чтобы без желания давать.

— Ага! Значит, к этому, к Сергею, у тебя было желание.

— С чего ты взял...

— Помолчи, не ври мне. Вон ведь часы его на столике лежат. Так их мужик перед сном с руки снимает и рядом кладет. Ну, что молчишь? Или это не его часы?

— Был он у меня, был! И был не потому, что он меня захотел. А потому, что я его захотела.

— И чем же он такой особенный? Чем он лучше меня? Молчишь. А еврей этот с утра к тебе приперся — так ты его за компанию решила обслужить или за деньги?

Люба дает сержанту пощечину. Сержант отталкивает женщину, хватается за кобуру, орет:

— Ну, зачем этот Соломон к тебе приходил, весь при параде?

— Не шуми так, вагон разбудишь.

— Какой вагон? У тебя в вагоне всего четыре пассажира! Зачем еврей приходил?

— Постельное белье я ему поменяла.

— Ха-ха-ха! А он что, облевался или обосрался тут у вас?

— Описался. Почки у него больные, сказал.

— Почки больные? А не сказал отчего: простудился там или, может, представителя власти когда не послушал и получил по своим почкам нашим демократизатором

— Не сказал.

— Люба, у меня сегодня день рождения. Сделай мне подарок.

— Подарок? Возьми вон коньяк. У китайцев купила. За сто рублей всего. И такая гадость.

— Коньяк? При чем здесь коньяк?

— Подарок...

— Ты мне зубы не заговаривай и дурочку из себя не строй. Мне не коньяк нужен. Мне ты нужна.

— Саша, сержантик мой молодой, да зачем я тебе? После другого-то сразу? Я же еще и не мылась, давай завтра.

— Завтра, говоришь? Нет уж, давай сегодня. И прямо сейчас. А что не мылась — это ладно. Зубы-то ведь почистила поди? Почистила, значит и рот прополоскала.

— Не подходи ко мне!

— Тогда я тебя просто застрелю.

— Да ты думай, что говоришь!

— Я всегда думаю, что говорю. И я всегда получаю то, что хочу.

Сержант, приводя себя в порядок после ночного сна не только умылся, но и выпил стакан водки и к Любе шёл с готовностью совершить любую подлость, но обязательно добиться от неё близости. Он достал пистолет:

— Ну?

Женщина увидела, что он действительно готов выстрелить. Она начала расстёгивать свою фирменную рубашку.

— Да ты не раздевайся, незачем. Мы так...

Что происходит?!

Паша не заметил, как в купе вошёл Моисей. Старик с трясущимися руками полез искать в своих вещах таблетки. Нашёл, высыпал из флакончиков, выдал из блистеров целую кучку таблеток и начал их глотать.

— Ты чего, Моисей?

Тот не отвечая пытается проглотить сразу всю горсть таблеток, давится, кашляет, таблетки вылетают изо рта, он их ловит.

— Подожди! — кричит ему Паша, — я воды сейчас принесу.

— Не нужно, я сам. — Но идти не может, колени его подгибаются, он опускается на своё место. Паша быстро приносит воды, смотрит, как Моисей торопясь глотает свои лекарства.

— Что с тобой, Моисей?

Моисей смотрит на Пашу почти безумными глазами:

— Страшно, страшно, страшно мне почему-то.

— Да ты скажи, что случилось-то?

Моисей будто не слышит Пашу, продолжает восклицать:

— Что же это? Что же это такое? Что происходит? Как же так?..

Паша тихонько стучит ладонью по щеке Моисея, плечет остатками воды, которую он принёс Моисею, ему в лицо. Старик немного успокаивается.

— Павел, вы не знаете, скоро ли будет какая-нибудь большая станция, я бы вышел, я хочу сбежать с этого поезда.

Но в дверях уже стоит сержант, он слышит эту фразу:

— Сбежать? Будешь застрелен при попытке к бегству.

Моисей в отчаяние восклицает:

— Вы же говорили, что безвинных не стреляете.

Сержант ухмыляется:

— Безвинных? Безвинных не отстреливаю, это точно. Но ты покажи мне хоть одного безвинного в этом купе. Кто тут безвинный? Ты? Паша? Или, может быть, я?

Моисей съёживается, вздыхает, но всё же решается спросить:

— А я виноват в чём?

Сержант изображает удивление:

— Вот как! Мы не знаем? А кому было сказано навести порядок в купе? Тебе. Я давал тебе пять минут, — смотрит на часы, — а прошло уже несколько больше. Так что тебя ждет дополнительное наказание.

Моисей не выдерживает наглого взгляда мента, он отвёл глаза и дрожащим голосом выговорил:

— Как...какое?

Сержант упивается бессилием жертвы:

— Это я еще не придумал. А пока — приступить к уборке!

Моисей начинает собирать в пакет со столика пустые бутылки, какие-то обёртки и очистки, осторожно переставляет к самому окну, под полотенце, недоеденную банку кильки. Он наклоняется, а потом и во все крихтя встаёт на колени, чтобы собрать мусор с пола.

Паша расстроился, что Моисей так безропотно подчинился хаму. Отчётливо, глядя сержанту в лицо, произнёс:

— Почему-то с детства очень не люблю милиционеров. Особенно сержантов.

Сержант скривился:

— Не любишь? Интересно, за что? — Он взял жестянку с килькой и вылил остатки консервов на белую рубашку Моисея, который этого даже не почувствовал, в паническом ужасе он возится под столом.

Паша, ещё более отчётливо проговорил:

— Ну и скотина же ты!

— Ты оскорбил должностное лицо при исполнении им служебных обязанностей. Я тебе сейчас пушу пулю в лоб и скажу, что это была самооборона. Моисей будет свидетелем.

Моисей слышит угрозу, воспринимает её буквально и отчаянно вмешивается в диалог:

— Товарищи, не ссорьтесь, зачем? — Замечает жирное пятно на рубашке, пытается себя почистить, но только размазывает грязь. — Давайте посидим, обсудим все недоразумения.

Паша с жалостью смотрит на Моисея:

— Ага, посидим. Тем более что у сержанта сегодня день рождения.

Моисей поворачивается к сержанту, заискивает перед ним:

— У вас день рождения? Поздравляю вас!

Сержант ухмыляется:

— Спасибо, Моисей, сядь, отдохни. А что же ты, Паша, меня не поздравляешь?

— Я ж тебе говорил, что на сухую не поздравляю.

— А с выпивкой, значит, ты меня поздравить?

— Выпью и поздравлю. Не жалко.

Сержант вспоминает про китайский коньяк Любы:

— Моисей, сходи к Любе. У нее коньяк есть. Пусть она подарит его мне на день рождения.

Моисей торопливо кивает головой, пятясь выходит из купе.

Сержант обращается к Паше:

— А ты ведь домой едешь?

— Тебе-то что за дело?

Сержант за наглостью Паши видит его сильный характер, относится к нему как к равному:

— Да не ерпенься ты. Просто лицо твое как будто знакомо.

— Ну домой еду. Что тебе за дело?

— А ты где жил? В Новореченске?

— В Шанхае, нахаловка такая была, самострой на берегу.

Сержант не скрывает радости:

— Ну так и мы там жили! Сразу у моста.
— У моста, говоришь? Так и я там жил, у моста. У тебя какая фамилия?

— Лехманов.

Их беседу прерывает Моисей:

— Люба говорит, что вы свой подарок от нее уже получили, а коньяк она лучше выльет.

Паша с досадой:

— Как это выльет?

Сержант же командует:

— Так купи у неё этот коньяк, Моисей! Тебе что, денег для жалко?

Моисей суетится с ответом:

— Нет, не жалко. У меня деньги здесь, в пиджаке.

— Ну так бери свой пиджак — и быстро!

Моисей схватил пиджак, ушёл.

«Что ж ты, Моисей, такая тряпка?» — подумал про себя Паша, а вслух сказал:

— Не, сержант. Тебе не в поезде охраной кататься, а на зоне собак выгуливать, там тебе самое место, в вертухах.

— Ты что, Паша? Заступаешься за него, что ли?

— Нужен он мне заступаться. Каждый сам за себя должен уметь заступиться.

— Вот именно! Кто чего достоин, тот то в жизни и имеет. Правильно я говорю?

Паша со вздохом, помня своё аховое состояние, соглашается:

— Правильно.

В дверях появляется Моисей, он нелепо держит бутылку в вытянутой руке:

— Вот. Только он почему-то открыт уже был, это не я.

Сержант хохочет:

— Да знаю я, что не ты. Наливай.

Моисей говорит очередную нелепицу:

— Я? Я не умею.

На помощь ему приходит Паша:

— Эх вы, ученые! Дай сюда.

Сержант внимательно смотрит, как разливает Паша. Беззлобно говорит, обращаясь к Моисею:

— Во, Моисей, гляди: ни один еврей так не разольет, всем одинаково, а себе чуть-чуть, но побольше!

Паша откликается:

— Это я не специально. Рука дрогнула. Ну, давай, землячок, с днем рождения тебя.

Пьют. Моисей давится, не может выпить полстакана сразу. Сержант смотрит на это с презрением:

— Да ладно, вижу, что уважаешь, не переводи продукт.

Моисей с облегчением от того, что не надо пить до дна, торопится своё поздравление выговорить:

— Я вас тоже поздравляю, господин сержант, здоровья вам и этого, продвижения по службе.

— Подлизываешься. Да не бойся ты меня, старый. Стоишь тут, зубами стучишь. Иди-ка лучше в штабной вагон, закажи песню для меня.

— Песню?.. Хорошо.

— Да ты куда пошел-то? Штабной вагон в другой стороне. Ну, наливай, что ли, Паша!

Паша, кажется, первый раз рассмотрел лицо сержанта, его мимику:

— У тебя брат старший есть? Юрка?

Сержант давно разглядел в Паше знакомые черты, и от этого, а не только за сильный характер, относился к нему с меньшим хамством, чем ко всем другим;

— Был. Юрка.

— Что значит «был»?

— Ты мне еще вчера знакомым показался, по брательнику. Вы ведь из одной компании с ним, правильно я сообразил?

— Из одной. Только я в восемнадцать лет зону пошел топтать, а он — в армию.

— Вишь ты, зона тебя, может, и спасла. А брательник мой из армии не вернулся.

— На Кавказе погиб?

— На Кавказе. Только не погиб. Расстреляли его за воинские преступления. Свои пристрелили, без всякого суда.

— Что он натворил-то?

— Да пойдя разбери, что он натворил. Геройствовал не в тех местах, где было можно. Мне это его геройство до сих пор боком выходит! Два раза уже отказались мои документы в училище принимать. Ну, ничего, примут! Ещё какую-нибудь благодарность заработаю — примут. Выпьем!

Паша, разливая:

— А что, дома-то наши стоят еще у реки?

— Да ты че! Ты когда в последний раз в городе был? Снесли наш Шанхай давно.

— Жалко. Я в школе когда учился, перед уроками порыбачить в нашей реке успевал. Хорошее было место!

— «Хорошее»! Бараки вонючие!

— Ну, это кому как. Ты радио включи, а то не услышишь свою песню.

Сержант включает радио, там звучит какая-то попса.

Паше давно хочется курить, а после выпивки курить ему хочется особенно сильно:

— У тебя курить есть?

— Что, совсем поиздержался, землячок?

— Совсем.

— Курить вредно, я вот не курю и тебе не советую, землячок!

В открытую дверь постучал Моисей.

— Ты чего приперся? Где песня?

— Так вот же, господин сержант, еще поют.

— Ты что за дрянь для меня заказал?! Ты, ученый занюханный!

— Так, а что-надо-то было?

Сержант сплюнул:

— Паша, разлей остатки. Я сейчас к себе уйду, через час вернусь. Чтобы ровно через час для сержанта Лехманова на весь поезд звучала веселая песня. Ты меня понял?

Моисей хлопал глазами:

— Понял. А какая?

— Веселая, Моисей, весёлая. Чтобы она понравилась мне. А что мне понравится через час, я и сам не знаю. Твоя задача — угадать. И пусть хранят тебя все твои святые от моего гнева.

Сержант выпил свою порцию, не приглашая к тосту Пашу, больно толкнул локтем в живот Моисея, не сообразившего вовремя уступить дорогу, ушёл.

Не надо бояться, Моисей!

— Моисей, ну чего ты в дверях стоишь? Заходи, будь как дома.

Моисей в прострации. Услышав слова Паши, он кивнул, сел на своё место. Паша старается его разговорить:

— Моисей, а где у нас Серега?

Моисей вздохнул:

— Он от поезда отстал.

— Да ты что!

— Лучше бы я отстал от этого кошмара.

— Ты? Не. Тебе нельзя отставать от поезда.

— Почему?

— Ты не приспособленный к таким неожиданностям.

— Как вы можете знать, к чему я приспособлен, а к чему нет?

— Так, видно же. Вот на хера ты мне выкаешь-то? А представь, что отстал от поезда, без денег, без документов, в этой своей засранной рубашке. И будешь ходить выкать среди бомжей вокзальных...

— Почему это среди бомжей?

— Ну а кто с тобой в таком виде разговаривать-то еще станет? И они, бомжи-то вокзальные, вмиг штаны твои на какое-нибудь тряпье свое выменяют, штаны-то на тебе приличные.

— Как это «выменяют»? Я не отдам.

— Да куда ты денешься! Ты и тут-то постоять за себя не можешь, где вокруг почти приличные люди, а уж на вокзале... Отдашь штаны. Смотри, чтоб не кинули они тебя после этого, бомжи-то. Они-штаны-то твои на какую-нибудь гадость поменяют, в лучшем случае на одеколон. И вот тут ты, во-первых, должен обязательно потребовать себе взамен штанов хоть какую-то одежду, а во-вторых, не позволить им пропить твою одежду без твоего участия. Слушай, а этот, маленький-то, где? Как его, Воробей, что ли? Куда-он-то улетел?

— Он ушёл куда-то, с вечера. Сказал, что у нас тут бедой пахнет. И откуда он про беду узнал?

— Ну, какая беда, Моисей? Ничего страшного и не случилось. Пока. Так, если у нас выпить нечего, может, чифирьку сгоношим? А, Моисей?

— Это чай вы так называете?

— Чай, ага. Нет у тебя нормального чая? Или тоже пакетики в дорожку берёшь?

— Нет, у меня листовый, сейчас найду. — На удивление скоро старик нашёл в своих вещах небольшую пачку чая. Паша взял её у него взглянув на этикетку, остался доволен:

— Хороший чай, маловато, конечно, но на двоих хватит. Пойду заварганю. А ты бы это, переоделся, что ли. Рубаху выкинуть можешь, ее теперь ни одна баба не стирает.

Моисей, оставшись один, снова становится как будто немножко безумным. Он снял рубашку, хотел ее тут же выбросить в окно, но все-таки передумал. Достал чемодан, нашёл в нём пакет с водлазкой, водлазку надел на себя, а испачканную в хлам рубашку заботливо сложил в пакет, спрятал чемодан, сел. Подумал: «Нет, теперь мне уже поздно выходить, незачем. Уже не убежать от позора». Опять встал, достал чемодан, достал выпачканную рубашку, достал пакет с утренней опи-

санной одеждой, задумался. Последние его манипуляции видит вернувшийся Паша, у него в руках банка с чаем. Моисей кивнул себе головой и без жалости выкинул пакет в окно.

Паша порадовался на Моисея:

— Во, правильно. Люди слишком много лишнего барахла с собой по жизни ташат. И чемодан у тебя теперь полегче стал.

— Что?

— Легче, говорю, чемодан теперь тебе таскать. Сейчас чифирчику попьем, и совсем все хорошо станет. Люба какая-то злая, еле у нее банку выпросил. Чифирчик, конечно, не натуральный получился, ну да ладно. Надо ведь уметь обходиться тем, что имеешь. Правильно я говорю?

— Что? Да, конечно.

— Щас, пусть ещё настоится. Ты чифирок-то пил когда, Моисей?

— Нет. Мы дома чай пакетный пьем, а на работе — кофе иногда.

— Растворимый?

— Что, кофе? Да.

— Вот ведь как все у тебя неправильно: чай пакетный, кофе растворимый.

— Ну почему неправильно? Удобно.

Паша кривится:

— Удобно. Комфортно. Баба-то у тебя хоть не резиновая? Эх вы... Так, чай я тебе в стакан наливать в отдельный не буду, ты его тогда и пить не станешь. Там у тебя где-то коробочка сахара была... — Моисей кивнул, достал сахар. — Из баночки хорошо чаек у костра пить. В тайге, на лесоповале. Но там баночка не такая, там жестянка обожженная. Готов?

— Готов...

— Берем сахар. Куски-то какие мелкие. Рафинад. Дрянь сахарок. Но — «удобно». Натуральный-то, комковой, лучше. Или — на крайняк — песок. Можно также карамельку. Ни в коем случае не шоколад! Шоколад вкус отобьет. Ну все, вот и поспел чаек. Ладно, не будем уж из банки, в стакан нальем. Так, Моисей, бери сахар, кусочков пять. — Сам берет парочку. — Куда ты его?! Не в стакан, дура, под язык себе клади. Во! Вот так. — Паша блаженно делает три неторопливых глотка, передает стакан Моисею. Тот в недоумении, стараясь все повторить в точности, чуточку отпивает из стакана.

— Не-не-не! — остановил его Паша. — Побольше и хотя бы два глотка. Иначе — не дойдет до тебя чифирь.

Чифирят в молчании, Моисей пытается что-то сказать.

— Молчи, Моисей, не порть кайф.

— У меня сердце куда-то упало.

— Ничё. Щас подымится, взлетит. — Паша по-прежнему неторопливо делает еще несколько глотков. Передает стакан Моисею. Ну, дошел кофеинчик?

— Не понимаю. Голова закружилась, во рту очень терпко. Но как-то будто поспокойней мне стало.

— Дошёл, значит, чаёк. Эх, курнуть бы! У тебя нет?

— Я же не курю, Павел.

— А... Ну правильно, здоровье беречь надо. А сержанта ты зря боишься. На понтах он весь. Видит, что ты его боишься, и куражится над тобой, скотина. Я же тебе сказал, что этот мент поганый. И ухо с ним надо остро держать. Но бояться не надо. Страх — это самая бесполезная вещь на свете.

Обещанный сержантом час покоя ещё не прошёл, как он нарисовался в дверях:

— Так. Чифирим? Чуюло мое сердце, что непорядок тут у вас! То водка, то чифирь. Чуюло сердце. Вот и пришел раньше, чем собирался. Самые вы опасные пассажиры во всем поезде. За вами нужен особый контроль. — Сержант вошёл в купе, сел напротив Паши.

— Моисей, у тебя есть несколько минут, чтобы дойти до радиста и заказать мне песню, как мы с тобой договаривались.

— Сержант, а давай я тебе спою, чего человека гонять. «На Колыме, где холод и тайга кругом, среди раскидистых елей и берез тебя я встретил с подругой вместе...»

Сержанту не понравились вокальные данные Паши:

— Отставить! Не нравится мне твоя песня. Моисей, ну! Подарок мне на день рождения. Он же тебе ни копейки стоить не будет. Сходи.

Моисей снова в страхе, снова подчиняется:

— Ну ладно, хорошо. А что попросить-то?

Сержант пожимает плечами:

— Что-нибудь. Душевное что-нибудь. Иди!

Паша кричит в вдогонку уходящему старику:

— Моисей Соломонович! Там где-нибудь проходить мимо будете — табачку мне купите, самого недорогого. Если можно.

Сержант, видя, что Моисей остановился и обернулся, распорядился:

— Водочки купи. А сигарет — не надо.

Моисей согласно кивнул, ушёл.

Паша сморщился на распоряжение сержанта не покупать для него сигарет, без охоты вернулся к разговору — родилась в нём идея, как можно устроить свою дальнейшую жизнь в родном городе, помощь сержанта ему была бы кстати:

— Так, говоришь, нет больше самостроя на берегу?

— Нет.

— А что там теперь?

— Ничего. Чистая зона водозабора.

— А людей-то куда дели?

— Разогнали кого куда.

— И никто-никто больше там не живет?

— Ну бомжи-то живут потихоньку. Как только нюх теряют, наши их зачищают. Бомжи разойдутся на недельку, потом опять свои шалаши ставят.

— А если я там землянку себе выкопаю? Будешь моей «крышей», прикроешь от своих?

— Не. Не прикрою. Я к тем ментам не имею никакого отношения, у нас свой отдел, при «железке».

— Да все вы одна контора, погоны у тебя просто мелкие. Что ты можешь?..

— Ну, кое-что и я могу. Тебя, например, прищучить.

— Это ты можешь. Даже удивительно, что ты такой добрый сейчас.

— А чего злиться? Баба меня с утра полюбила, коньяку я выпил, сейчас водочки выпью, завтра — в отгулы после рейса. Погуляю, день рождения по-человечески отмечу, — с этими словами сержант поднялся и добавил громкости радио, которое было едва слышно.

Из радио донеслось: «Здравствуйте, товарищи пассажиры! Говорит радио поезда «Москва-Новореченск». Передаем срочное сообщение! Только что к нам обратился... странный человек. Впрочем, не столько человек странный, сколько просьба у него необычная. Сейчас он ее сам выскажет. Представьтесь, уважаемый. Как вас зовут? — «Мо..., мо... Михаил Семенович». Вы — пассажир нашего поезда. Откуда вы едете, куда и по какому поводу? — «Из Москвы. В командировку».

Паша не удержался от комментария: «Вот Моисей! Мы за билеты из своего кармана платим, а он и тут за казенный счет все получил. И назвался-то не своим настоящим именем...» Пашу прервал сержант: «Ну-ка тихо ты!». И дальше они молча выслушали трёп ведущего.

«Вы хотите поздравить кого, Михаил Семёнович? — «Сержанта Лехманова». — А что это за легендарная такая личность — сержант Лехманов? Это — герой-танкист или, может, командир лихих разведчи-

ков? Он артиллерист или штурмовик в зоне СВО? — «Он не в армии, он в полиции сержант» — В полиции? О! Тогда он, должно быть, задержал и обезвредил какого-нибудь особо опасного преступника? Или даже несколько особо опасных преступников? Михаил Семенович! А вы ведь сержанта Лехманова раньше, до поездки, не знали, нет? А я знал. И я не слышал, чтобы он прежде совершал какие-то подвиги. Похождения героические у него были, а подвигов — нет. Да и похождения у него были такие, о которых в приличном обществе не принято рассказывать. Значит, свой подвиг он совершил недавно, в течение этой вот поездки. Скажите нам, что же он все-таки сделал хорошего, что вы сочли своим гражданским долгом донести до всех нас и про дела его, и про фамилию с этим его, сержантским, званием? Он просто сержант? Или старший? А может, всего лишь младшенький?»

Сержант все больше впадает в ярость: «Сука! Вот сука! Ладненько! Встретимся еще с тобой!»

Моисей пытается как-то выправить ситуацию: «Ну зачем вы так, молодой человек! Никаких подвигов он, может, и не совершил. Не всем же в жизни подвиги совершать». — «Не всем, согласен с вами, но сержантам можно». — «Просто у сержанта Лехманова сегодня день рождения, и он попросил меня заказать для него песню». — «Вот так вот, даже попросил. А то я смотрю на вас и не вижу, чтобы вы сами, искренне и по велению, так сказать, души пришли сюда песню для сержанта заказать. Ладно, Михаил Семенович, уважим сержанта Лехманова песней, раз уж вы сюда для этого пришли. Что слушать-то будем?» «Я не знаю. Он просил что-нибудь веселое». «Веселое? Хорошо. Поставим веселое».

Ведущий пустил в эфир самую неподходящую случаю песню, которую даже на радио «Ретро» кажется, ни разу не ставили — про строительство Байкало-Амурской Магистральной, которая и при своём рождении 50 лет назад особо популярной не была.

Сержант уже в полной ярости:

— Сука! Мразь! Раздавлю гада!

Паша, и сдерживая смех, и тревожась за старика:

— Ты про кого, про Моисея, что ли?

— Да при чем здесь Моисей ваш! Про радиста. Этот подлец последнюю практику проходит, диплом у него, а потом сразу бригадиром поезда поставят.

— Ну тогда ты его уже не достанешь!

— Сейчас успею. Студент херов!

— А за что он тебя так? За что он тебе сейчас отомстил-то прилюдно, на весь поезд?

— Да прижал я этого баклана пару раз по дороге в Москву.

— Ну, значит, не по делу прижал, раз он так тебе ответил.

— Молчи! По делу, не по делу. Вот козленыш, запомнит он меня, падла, на всю свою жизнь запомнит!..

Попытка побега

В купе вошёл Моисей. Он был явно не в себе. Радист, к которому он обратился во второй раз за утро, заподозрил Моисей, издевался и над его просьбой поставить песню для сержанта, и над самим сержантом. Он не столько понимал это, сколько чувствовал, но что он мог сделать? С самого утра, с самого своего просыпания Моисей находился словно в тумане, в какой-то параллельной реальности. Пожалуй, это началось ещё раньше, с первого знакомства с полицейским из охраны поезда, когда тот тряс пистолетом перед его носом и в чём-то упрекал, в чём-то обвинял и грозил. В калейдоскопе событий, которые во множестве произошли с ним в этот короткий период поездки он потерял нить своей привычной жизни, не понимал, как правильно ему поступать, как говорить со всеми этими необычными, странными для него людьми.

— Зря ты так поступил, Моисей. Мне очень не понравилось твое поздравление.

Моисей попытался защититься:

— Так, я-то что ж, это ведь он все — юноша радист.

— Юноша тоже ответит. А ты что пришёл-то, Моисей?!

— А... что?

— Тебе были заказана водка. Где она?

— Я не купил. Я деньги с собой забыл взять.

— Сейчас вспомнил? Бери свои деньги.

Моисей в попытке найти поддержку, перевёл взгляд на Пашу. Паша отвёл свой взгляд, он в замешательстве, он вдруг почуял настоящую угрозу от сержанта.

— Бери свои деньги и ступай в ресторан, купишь хорошей водки.

Моисей вдруг ясно представил беду, которая обязательно случится с ним в этом купе, в этом вагоне, в этом поезде. В его голове созрел отчаянный и наивный план — сбежать из поезда:

— Господин сержант, позвольте, я чемодан достану.

— Зачем тебе чемодан?

— У меня деньги там. Тех, что в кошельке, не хватит на хорошую водку.

— Ну доставай.

Достав чемодан, Моисей постарался закрыть спиной свои копания в нём. Но от волнения он слишком долго искал паспорт. Он взял деньги, паспорт, тут бы ему и уйти, но он попытался спасти свой блокнот с драгоценными записями, схемами, телефонами коллег — он так и не привык к современным электронным гаджетам, записывал всё по старинке в блокнот. Сержант что-то заподозрил, развернул Моисея к себе лицом, увидел в руках старика деньги, блокнот, паспорт. Взял у Моисея из рук блокнот, бросил его куда-то на пол, взял паспорт:

— А паспорт тебе зачем?

— Ну... вдруг от поезда отстану...

— Как ты от него отстанешь, если идёшь в вагон-ресторан? Я тебе отстану! Деньги давай сюда. — Паша отсчитал несколько бумажек. — Держи, этого хватит на водку. Можешь себе даже пепси-колы взять. Остальные свои деньги потом получишь. Если будешь себя правильно вести. Ну, одна нога здесь, другая там. Быстро!

Моисей ушёл, сержант пересчитал его деньги, довольно покивал головой. Паша счёл этот момент удачным, чтобы улизнуть из купе — он видел, что сержант слетел со своих внутренних тормозов, что он обязательно устроит очень нехорошую подлянку и лучше бы исчезнуть из ситуации. Только Паша поднялся, сержант рывкнул:

— А ты куда? Тоже бежать задумал?

— Да нет, я... стаканчики ополосну вот.

— Ну давай, сходи. У тебя-то где вещи?

— Да какие у меня вещи?

Сержант не то, чтобы раскусил хитрость Паши, он попросту знал, что и Люба, и Моисей, и Паша — все от него сбежали бы, если могли:

— Встать! Руки за голову! — Сержант обыскал Пашу, забрал себе его паспорт. Теперь иди, мой посуду.

В одиночестве сержант разглядел документы Моисея и Паши. «Моисей Соломонович Нагельман, родился в Одессе. Так, регистрация наша. Документы в порядке. Паша. Ну, где родился Паша, я знаю... О! О! Как тебя по стране-то носило! Регистрация. С регистрации снят. И давно. Ну бомж, что с него возьмешь...»

Моисей и Паша вернулись одновременно.

— Вот водка, шоколад, — выложил покупки на стол Моисей.

— А пепси-колы почему себе не взял? Денег, что ли, пожалел?

— Я не пью такие напитки, господин сержант.

— А, ну и правильно!

Моисей собрался с духом:

— Можно мне получить мой паспорт и портмоне?

— Так-таки и хочешь сбежать! Не выйдет. А ты ведь и без документов уже готов сбежать, а? И без денег? По глазам вижу, что готов. Этого я допустить не могу. Понаплетешь там про меня напраслины всякой. Ладно, если в поезде, тут-то я разберусь. А если где на чужой станции? И ведь тебе могут поверить, что сержант Лехманов нехороший. Поверят не потому, что ты такой правильный. А потому, что ты такой трезвый. Какой отсюда следует вывод? Надо, чтобы ты выпил водки. И побольше. Давай-ка, Моисей, полезай наверх. Полезавай, полезавай.

— Зачем? Там не мое место. Мое место — ниже.

— Не полезешь?

— Нет.

— Даже под угрозой отстрела?

— Вы не сделаете этого!

— Не знаю, не знаю. — С этими словами сержант ударил Моисея по печени, тот сложился пополам, сержант подтолкнул его в угол полки и пристегнул наручниками левую руку старика к кронштейну верхней полки. — Вот так-то будет лучше. А то ты, я вижу, бунтовать уже готов. Успокойся, Моисей.

Паша, кажется, протрезвел:

— Я где еду? Я еду в комфортабельном вагоне или в вагон-заке? Землячок, что-то ты перебарщиваешь.

— Спокойно, Паша. Спокойно. Я знаю, что я делаю. Наливай давай. Жаль, второй пары наручников нет. Для тебя. Хотя зачем они? Ты-то от водки никуда не убежишь. Моисея не забывай, налей ему сразу стакан.

Чтобы кто-нибудь случайно не заметил пристёгнутого наручниками Моисея, сержант закрыл купе.

Беда

Чутьё Воробья не подвело. Он верно угадал будущее, когда уходил вчера вечером из купе: «Вы как хотите, а я иду спать в соседнее купе. Очень уж тут дымно, пьяно, грязно. Нехорошо тут как-то, бедой пахнет».

Оправдалась и смешная примета Серёги: если ночью увидеть на небе ковш Большой Медведицы, то наступающий за этой ночью день пройдёт хорошо. Позже они с Воробьём подробно разберут: ночью перед тем, как они сели в поезд «Москва-Новореченск» Сергей видел

Медведицу, на берегу речки Решётка. Да и не только на берегу, он смотрел на неё и когда плыл на спине по этой чудной речке Среднего Урала.

И ведь вправду день прошёл хорошо — и буфетчицу они ловко провели, а уж день, для Серёги точно, случился чудесный — он встретился с необыкновенной женщиной. А вот ночью, проведённой в поезде, Серёга даже не вспомнил про Медведицу. А если бы и вспомнил, как бы он её увидел? И пожалуйста, неприятности начались с раннего утра, когда он почти отстал от поезда.

Знали бы они сейчас, когда возвращались в свой вагон из ресторана, что день приготовил им куда большие неприятности, да что там — беду. Не только им двоим, но и всем их новым знакомым.

Они хотели доехать в ресторане до неведомого разъезда «Иня», но Серёга, узнав у директора ресторана, сколько им ещё ехать, взглянул на запястья и не увидел там часов. Вспомнил, где он их забыл. «Придётся всё же ещё раз увидеться с Любой». Воробью объяснил:

— Никогда не следует возвращаться к женщине, от которой ты однажды ушел. Но часы я у Любы забыл. Жалко оставить — батин подарок, столько уже лет ношу.

— И с нашими заодно попрощаемся. Чем у них там вчера всё закончилось? — откликнулся Воробей. Серёге не было никакого дела и интереса до судьбы случайных попутчиков, поэтому, когда они дошли до своего купе из которого доносилась какофония звуков из человеческих голосов и музыки по радио, он кивнул Воробью, мол, открывай, если это тебе интересно. Воробей потянул дверь, та не поддавалась:

— Смотри-ка ты! — Ещё раз потянул дверь. — На замок заперлись, музыка орет. — Приложился ухом к двери, прислушался. — Сержант опять здесь. Ругаются. Или спорят? О! Пьют! Странные какие-то звуки, как будто плачет кто. — Воробей уже собрался постучать в дверь, но Серёга остановил:

— Оставь ты их. Пойдем.

— А вдруг они Моисея обижают?

— А ты что, защитит его хочешь? Пусть наконец сам себя защитит, не мальчик уже давно.

— Так оно, — согласился Воробей. — Но он какой-то... беспомощный.

— Беспомощный! Не хер подчиняться кому попало. «Моисея обижают!» Что, ты его теперь от каждого мента и хулигана будешь защищать? Пошли!

— Ну пошли... Прав ты, наверное, насчет Моисея. Жизнь не стоит того, чтобы за нее так унижаться.

Сергея улыбнулся, приобнял товарища:

— Философ ты наш. Идем.

Перед дверью Любы Сергей стушевался:

— Стучи ты, Алексаша.

Люба не сразу открыла дверь. После надругательства над ней сержанта она уже взяла себя в руки, выглядела холодно и отрешенно.

Воробей поздоровался:

— Здравствуй, Люба. Мы с тобой ведь, кажется, не виделись сегодня.

— Здравствуйте, Саша. С тобой не виделись. А с ним — да. — Она посмотрела в глаза Сергею. Тот был озадачен, он не увидел в ней и намёка на признание вины за то, что она не остановила поезд, что не смотрела за ним, как обещала, когда он побежал к озеру. Даже наоборот, он услышал в голосе женщины, увидел в её лице обиду и претензию, словно это он оставил её в трудной ситуации, а не она его.

— И никакой радости от повторной встречи не наблюдаю я что-то на вашем лице, Люба.

— Отрадовалась я свое. И кажется, уже навсегда. Что же ты, Сережа, если не отстал от поезда, не объявился?

— За поездом долго бежать пришлось. Устал, разозлился. Никто меня в поезде не ждёт, никто не ищет, никто не беспокоится за меня. Сидел в чужом вагоне и думал: «Ну, хватится меня хоть кто-нибудь, хватится или нет?» Хотя кому особенно обо мне тут хватиться? В поезде потерять меня могли только два человека — Воробей и... ты. Но Воробей спал, а ты... Ты ведь смотрела за мной, как я к озеру побежал. Что ж ты поезд-то не остановила? Инструкцию нарушить побоялась?

— Упрекаешь меня. Что ж, может, ты и прав. Только ни к чему это теперь все. Собирайтесь, вам выходить скоро.

Воробью стало жалко их обоих, мелькнуло у него в голове — обнять обоих, подтолкнуть друг к другу? Нет, разобрал он, не стоит, перегоревшие они какие-то оба. Вслух же произнёс:

— Да мы уже давно готовы.

— Готовы, — подтвердил Сергей. — Одна только заминка насчет готовности у меня случилась. Часы свои я у тебя, Люба, оставил.

— А, часы. Вот они. С них-то все и началось. Зачем ты только и забыл-то их.

И так она это горько сказала, что Сергею захотелось её обнять... Но вместо этого он только спросил:

— Что началось-то, Люба? Случилось что-то очень нехорошее?

— Случилось...

Люба решила вдруг рассказать всё Сергею — пусть он накажет её обидчика, но её остановил звук выстрела. Выстрела не испугался только Воробей:

— А это ведь у нас. В нашем купе.

Сергея смотрит на часы, как будто запоминает время, надевает их на руку, он не знает, что делать.

Люба качает головой:

— Это сержант. Допрыгался мальчишка. Всю дорогу ему говорила: натворишь ты что-то страшное. Вот и натворил. Подарочек себе сам сделал, на день рождения.

Сергея, медленно осозная возможную трагедию:

— Черт! В кого же он стрелял? Может, в воздух?

— Ага, — откликнулся Воробей. — Он в окошко, открытое, выстрелил, по воробьям, да? Чего мы сразу подумали, что он кого-то убил или ранил?.. — И тут звучит второй выстрел. — Совсем дело серьёзное

У Любы началась истерика:

— Да почему же никто выстрелов-то не слышит? Почему-поезд-то идет? Остановить его, наверное, надо.

Сергей приобнял Любу:

— Успокойся, успокойся, Любушка-голубушка.

Люба уткнулась ему в плечо, заплакала. Сергей уловил её запах, и в его сердце поднялась вдруг прежняя нежность, но была она совсем слабой, как последний всплеск убежавшей через рухнувшую плотину воды. А ведь ещё несколько часов назад этой нежности было так много, что они оба тонули в ней. И как знать — вдруг они могли сохранить это чувство?

— Надо посмотреть, что там произошло, — голос Воробья был абсолютно ровным, настолько хладнокровным Серёга ещё не видел своего товарища. — Люба, у них там дверь на замок была закрыта, когда мы проходили. Дай ключ. Пойду посмотрю.

— Воробей! Может, не надо?

— Ну что ты, Серёга? Надо!

— Надо... Я с тобой.

Они осторожно пошли к купе, Люба не спускает с них глаз. У купе они замерли, какое-то время прислушивались, пытаются понять, что происходит за запертой дверью. Воробей тихонько вставил в замок ключ, тихонько его повернул и резко отодвинул дверь. Из купе наполовину вывалился мертвый сержант Лехманов. Люба страшно заорала и

кинулась в тамбур сорвать стоп-кран. Поезд резко затормозил, остановился. Серёга с Воробьём заметили, как вместе с поездом дёрнулся прицепленный наручниками к кронштейну верхней полки мёртвый Моисей.

Паша, услышав звук открывающейся двери, поднял пистолет, но увидев, кто пожаловал, опустил оружие:

— А... Соседи. Ну че встали на пороге! Вы уж или сюда, или туда.

Тихим спокойным голосом Воробей произнёс:

— Паша, ты пистолет убери.

Серёга же не смог сдержать волнение:

— Ты ведь больше не будешь стрелять?

— В вас? Нет, — сказал Паша и положил пистолет на столик.

Люба в это минуту связалась с бригадиром поезда, объяснила причину остановки: «У меня в вагоне стрельба, есть убитый». Бригадир попросил её сохранять спокойствие, ничего не предпринимать — «Сейчас к вам придёт охрана поезда». Люба не стала дожидаться охраны, в ужасе дошла до мёртвого сержанта, наклонилась к нему, попыталась найти пульс.

— Не ищи, Люба, готов он, — сказал ей Воробей. На войне он научился с одного взгляда определять, ранен человек или убит — по глазам, если они открыты у жертвы, по положению тела — остаётся в нём гибкость живого человека или это уже труп, по каким-то и другим признакам, про которые, спроси его, он бы и затруднился рассказать словами. Люба переступила через мёртвого сержанта, заглянула внутрь, увидела убитого Моисея:

— Господи, за что же ты их?!

Паша с тоской посмотрел на женщину:

— Нет, Люба, я только одного — мента.

Привычный к выстрелам и смертям Воробей заметил, как не по себе и Любе, и Сергею:

— Давайте их прикроем, что ли. — Он взял одеяла и накрыл оба трупа, на сержанта просто накинул одеяло, а вот Моисея ему пришлось укутать — без страха и брезгливости, как живого, он поправил Моисея, который, умирая, сполз с полки и повис на наручнике. В мёртвой тишине все услышали, как резко открылись двери в дальнем конце вагона и не очень уверенный крик второго полицейского — начальника мёртвого сержанта: «Приказываю всем оставаться на местах, это полиция!» Больше сказать он ничего не успел, Паша схватил пистолет, высунулся в коридор, выстрелил в потолок, прокричал:

— Не подходить! У меня — заложники! — Потом, уже спокойно, сказал Любе. — Иди, Люба, скажи менту, что у меня два пассажира в заложниках, чтобы он не дергался даже.

Когда мертвенно бледная Люба вышла, Паша обратился к друзьям:

— Так, ребята. Скоро меня начнут вязать, а я еще не решил — сдаваться мне или нет. Вы уж потерпите, посидите рядом, пока я решу свою жизнь. Да вы садитесь, мужики. Давайте я вам расскажу, как все было. Кроме вас мне никто и не поверит — вам мне врать незачем.

Воробей сел рядом с Пашей, Серега рядом с Моисеем — так, как они должны были расположиться вчера, когда сели в поезд.

— Не случилось бы этого ничего, если б я Моисея не впрягся поддерживать. Сержант-то его совсем загнобил, с дерьмом смешал. Все напоить его хотел. Чтобы ему, пьяному, никто не поверил, что над ним милиция издевалась.

— Полиция, — поправил Воробей.

— Да какая разница, — отмахнулся Паша. — Видели бы вы, как Моисей жалко выглядел. Смотреть на него противно было. И вдруг он взбунтовался! Гордость в нем, значит, все-таки была. Как он мента опустил, такое ему тут сказал! Еврей наш, как на эшафот поднимался, совсем страх потерял. Оно и то, лучше помереть, чем такое терпеть. Тут его сержант в кровь начал молотить. А Моисей защититься-то не может, он же прикованный — так вот, как сейчас, был. Этого уж я вытерпеть не смог, впрягся. Может, зря, что впрягся. Мент «Макаров» свой вытащил, развел нас по углам. Но не выстрелил бы он. А Моисей его бутылкой достал. Прямо по роже, и нос, и губу в кровь разбил. Тут-то сержант и пальнул. Я кинулся на него — руку выкрутить. А он мне как-то легко пистолет и отдал. Я и не сообразил, что он меня вокруг пальца, как последнего фраера, обвел. И держу я, идиот, этот пистолет, а сержант сел напротив и спокойненько так говорит: «Ну вот, на тебя Моисея и запишем. Вы тут дебоширили, я достал табельное оружие, ты его у меня вырвал из рук, по лицу вот сначала бутылкой ударил. Я сознание на секунду потерял, ты у меня пистолет-то и вырвал из рук. А потом дружка своего застрелил. Потому что поссорились вы крепко. Допустим, из-за Любы. Беспомощного совсем застрелил, потому что я уже успел его наручниками успокоить. И сидеть тебе, Паша, до окончания века». Сказал и попытался в дверь ломануться. Забыл, гад, что сам ее на замок закрыл. Вот тут-то я его и положил...

Рассказывая, Паша заново пережил всё случившееся, представил ужас своей оставшейся жизни. Сказал себе: «Надо ли её продолжать?»

— Эх, зачем ты его? — спросил Серёга.

— Да я тогда и не думал зачем. От злости, наверное. А сейчас думаю, что правильно сделал. Моисея все равно на меня повесили бы.

— Ты... сдашься? — спросил уже Воробей.

— Чтобы остаток жизни в клетке провести? Эх, не выдержу я больше тюрьмы. Я ж два срока тянул. Не хочу больше.

Сергея влез с глупостью:

— Зря ты мента положил. Трудно было бы тебе оправдаться, но за тобой правда тогда была бы. А теперь что ж... Теперь...

Его прервал Воробей:

— Подожди, Сереж, не об этом ты! Паша, а может, все-таки сдашься? Все-таки жить будешь.

— Жить? Для кого? Не для кого мне жить. Детей не нажил. Родителей схоронил. Не зря ко мне матушка во сне приходила. Точно к себе звала. Она все молчала, а в конце все же заговорила.

Воробей вскинулся признаться, что это он разыграл Пашу:

— Да не она это говорила! — Он не успел закончить признание в своём жестоком розыгрыше, его прервало восклицание Паши:

— Она! Что ж я, мать родную не узнал бы!

И Воробей передумал разубеждать его, пусть Паша верит в скорую встречу с родителями, так ему будет легче умереть.

Тихонько подошла Люба, вся горюет. Паша перевел на неё взгляд, долго рассматривал прежде, чем спросить:

— Чего ты, Люба, Моисея жалеешь? Или и мента тоже?

— Как же не жалеть, он же молодой совсем.

— Да он же рассказал тут, как над тобой измывался, или врал он?

— Не врал.

Паша не стал скрывать удивления:

— Никогда не понимал женщин! Он её так унизил, а она его жалеет. Иди, Люба, к себе. Скоро меня захватывать начнут, стрелять. Иди, Люба. Прости и прощай.

— За что простить-то?

— Ты — последняя женщина, которую я вижу в своей жизни. Эх, мало вас у меня было, мало! А прости меня вместо тех за женщин, которых я обидел чем. Иди.

Люба растрогалась от слов Паши, она не поняла, что он прощается с ней перед своей смертью, думала, что прощается, конечно, потому угодит он теперь в тюрьму и когда ещё из женщин кого увидит, да и вытерпит ли свой срок, который, конечно, будет очень большой. Люба заплакала, глядя на Пашу, потом посмотрела на Воробья с Серёгой, и

чтобы не зареветь в голос, пошла к себе: «Ох, мужики-мужики! Что же вы делаете, зачем губите-то себя!»

Воробей сделал ещё одну попытку отговорить Пашу от непоправимого:

— Паша, может, все-таки...

Паша не дослушал:

— Нет, Воробей. Все уже решено и подписано. — Выговаривая последние слова, Паша почувствовал, как его мгновенно прошиб пот. Он увидел свежайшее полотенце на столике — то самое, каким прикрыл Моисей бардак на столе, взял его, вытер лицо. Заметил стакан с водкой под крышкой хлеба. — Вот и водка есть, как раз полстакана. И хлебушек сверху, как на поминках. — Паша взял водку, которую оставил ему вчера на утреннее опохмеление Серёга. — Вы мне курить только дайте.

Серёга достал пачку, протянул её Паше.

— Ну, этого мне много. Мне одну только. Ну все, ребята, ступайте. Не надо, не надо прощаться, так ступайте. Вспомните меня хоть иногда. Почему-то хочется, чтобы кто-нибудь помнил меня на земле...

Сергей с Воробьём вышли из купе. Паша выкинул сержанта, лежащего наполовину в купе, в коридор и закрыл дверь. Воробей заметил, как в приоткрытую дверь дальнего тамбура за ними наблюдает полицейский из охраны поезда. Воробей крикнул ему: «Мы были у него в заложниках. Он нас освободил». И сделал жест рукой, проходи, мол, к месту преступления. Тот отрицательно покачал головой, он решил ждать помощи.

Они ехали-ехали, а потом пешком пошли

— Так, Серёга. А сейчас мы будем делать отсюда ноги. — Увидев замешательство товарища, объяснил. — Такая кутерьма здесь вот-вот начнётся и неизвестно, чем и когда она для нас закончится. На выход!

— Ну, да, — дошло до Серёги, — мы ж главные свидетели.

— До свидетелей ещё надо дожить. Сначала мы будем подозреваемыми. Идём-идём!

Люба, увидев, что они уходят, воскликнула:

— Ребята, вы куда?

— Прощай, Люба. Открой нам дверь, — попросил Воробей.

— Прощай, Любонька, — простился с женщиной и Сергей. — Пойдем мы. А то ведь затаскают нас и до родины я так и не доеду...

— А как же я?

— А тебе, что ж. Тебе по инструкции положено при вагоне быть, — грустно пошутил Сергей.

— Что ж, поступайте, как знаете. — Втроём они вышли в тамбур, Люба уже взялась открывать дверь.

— Подожди, Люба! — скомандовал ей Воробей. — Сколько было охраны в поезде?

— Двое.

— То есть сейчас один остался?

— Ну, да.

— Он занят коридором, выходы из вагона не контролирует. Мы можем выходить на обе стороны, посмотрю, какая нам подходит больше.

Воробей быстро оценил местность с одной стороны поезда, с другой.

— Открой эту, — показал он Любе на дверь, противоположную той, которую она собиралась открыть. На выбранной стороне, километрах в трёх виднелась автомобильная трасса, почти сразу напротив дверей их вагона был узкий овражек, который круто уходил в сторону, чуть дальше зеленела густая берёзовая роща: если повезёт, получится добраться до дороги незаметно. Хотя это почти невозможно — зевак целый поезд.

Они скатились на дно овражка, замерли. Несколько секунд ждали криков из поезда: «Вон они! В овраге». Криков не было. Почти ползком они двинулись подальше от поезда, когда услышали выстрел.

— Прощай, Паша, — обернулся Воробей и перекрестился.

— Земля тебе пухом, — попрощался с попутчиком и Сергей.

— Идём! — скомандовал Воробей.

Овражек не уходил круто в сторону, как показалось из вагона, едва повернув, он тут же заканчивался. Больше того, совсем рядом они разглядели почти невидимую полевую дорогу. Ездят по ней крайне редко, но не по ней ли к остановившемуся поезду приедет полиция? До рощи — скворода ровного пространства, хорошо простреливаемая взглядами зевак.

— Чёрт! — пробормотал Воробей.

Друзья стали соображать, что им делать.

— Без вариантов, — произнёс Воробей. — До рощи незаметно не добраться. Ждать в этой канаве ночи? Один шанс из тысячи.

— Почему? Здесь же нас не видно!

— Почти не видно. Может, опера и не пойдут по оврагу, хотя это самый короткий путь к нашему вагону. Но если они будут с собакой, та нас наверняка учует, где бы они не пошли.

— А если без собаки?

— Я и говорю, шанс у нас есть. Но очень уж маленький.

Но друзьям повезло. Их поезд вдруг тронулся. Бригадир давно связался с ближайшей станцией, доложил о происшествии, к поезду уже снаряжалась оперативная группа, с собакой, кстати. А теперь с бригадиром связался уже диспетчер, он распорядился — по согласованию с полицией— подать вперёд на несколько километров поезд «Москва — Новореченск». Дело в том, что состав экстренно остановился на том участке, где второй путь был закрыт на ремонт. Поезда здесь разъезжались в реверсивном порядке, и из-за остановившегося состава с обеих сторон уже начала образовываться пробка, чтобы не усугублять ситуацию, решено было перегнать «криминальный» поезд до ближайшей стрелки, где есть тупики. Скорее всего, это бутылочное горлышко и было причиной неожиданной остановки у озера, в котором успел искупаться Сергей. Диспетчер притормаживал или наоборот ускорял поезда задолго до их прибытия к проблемному участку пути.

— Закурим, — Воробей достал сигареты. Закурили, посмотрели друг на друга. — Из этой истории мы, кажется, выскочили.

— Знаешь, о чём я сейчас подумал, Воробей?

— О чём?

— А ведь на месте Паши мог оказаться я или ты. Или на месте Моисея.

— Это вряд ли.

— Почему?

Воробей пожал плечами:

— Почему-почему! Потому что у каждого из нас своё место, своя жизнь. Да и смерть — тоже, у каждого своя. Ну что, идём?

— Идём. Какой же долгой и путанной оказалась моя дорога на родину! Что-то мне вдруг грустно стало. Надо бы чего-нибудь выпить.

— Я бы тоже выпил, — откликнулся Воробей. — И Пашу с Моисеем надо помянуть.

— Тогда поторопимся!

Баадур Чхатарашвили

Тбилиси



НО ДЫМ ОТЕЧЕСТВА...

Снижаемся. Толчок. Посадка.
Тбилисский воздух... Очень сладкий.
Входи, по облакам ступай в родной ковчег...

Михаил Ляшенко

...между теплиц
и льдин чуть-чуть южнее рая
на детской дудочке играя,
живёт вселенная вторая и
называется Тифлис.

Белла Ахмадулина

1. Зоо

Голубь пытался изнаsilовать самку какаду. Ту одолевала такая скука, что она даже не сопротивлялась, а продолжала клевать корм, не обращая на голубя никакого внимания.

Ремарк

Завершилась моя северная одиссея на исходе девяносто шестого: сутки, питаюсь водкой и скверными пельменями, усердствовал в предбаннике Внуково, после удалось-таки проникнуть на борт под завязку набитой мигрантами и коробками с теле-видео-аудио поделками ТУшки. Летел стоя, тонус сохранял беспoшлинным односолодовым. Доле-тел. Теснившиеся у дверей пропускника таксисты, заведев косматого лесовика, отодвинулись было в сторонку, но лешак стряхнул костромскую налипь с подшивных Кашинских, сбросил с плеч романовскую бекешу, и явил извозчикам повсеместно почитаемую зелёную купюру, сопроводив действие задорным тифлисским матерком. Спустя минуту разболтанный опель катил блудного отца семейства к родным Пенатам.

Остатные часы уходящего года были использованы на обращение одичалого зимогора в цивильного горожанина. Дабы справиться с трёх-

годовой порослью поначалу понадобились портняжные ножницы, после — все имевшиеся в доме приспособления для стрижки и бритья. Далее — отмокание и омовение в трёх водах, — напомним забывчивым: центральную отопительную систему, равно как и горячее водоснабжение, посчитав их за тлетворное наследие проклятого коммунистического прошлого, младореформаторы уничтожили в первую очередь, воду грели вёдрами в камине на жарких угольях, — и, наконец, умачение посвежевшей шкуры подгрёбками старорежимных благовоний. К пиршественному столу явился чуть утомлённый с виду фронт при безупречно повязанном галстуке и **тугих**, без единой морщинки манжетах.

После трехдневного застолья, — держали ещё строй выжившие друзья и родичи, — вышел прогуляться по родным стогнам. Город удручал винегретом из привычно старого и диковатого нового, залитыми ранами недавней войны, хаотично разбросанными торговыми павильонами, разросшимися в самых неожиданных местах полулегальными рынками, обилием беженцев, пришлого люда, палёным спиртным и разнузданным весельем черни. Город был почти убит, только в переулках, сокрытых в путанице окраинных улочек ещё теплился неповторимый, самобытный тифлисский дух.

Опрос пребывавших в сумбурном состоянии друзей и бывших подельников настроил на пессимистический лад: никто ни черта не строил, никто ни черта не созидал — все торговали, в основном завозным съестным и поддельной выпивкой, и, как ни странно, недостатка в покупателях не наблюдалось — кто-то что-то зарабатывал во вновь созданных государственных структурах, кто-то истово разворовывал остатки оставшегося от старой жизни хабара, остальные проедали некогда нажитое.

Я никогда не был обременён излишним любостыжанием, тем не менее, соблюдение семьи в довольствии есть священный долг благовоспитанного горожанина. Отложив на длительный прокорм большую часть добытого непосильным трудом на северах, я, примеряя оставшуюся часть к реалиям, ушёл в глубокую разведку, и тут, нечаянная радость — встретил приятеля, с которым некогда поднимал одно весьма скользкое дело, тот и предложил озаботиться реализацией только-только завезённой контрабанды — внушительная партия кошачьих и собачьих кормов томилась у него в потаённом схроне. Шальной доста-

ток, да ещё в смутное время, на улице не валяется: немедленно обговорили условия, и я занялся обустройством торговой «точки».

Каждый горожанин знает сталинского ампира монументальное здание напротив Филармонии, возле пятьдесят первой школы. Здание интересное тем, что подвальные его помещения, вход в которые осуществляется с обширного внутреннего двора, анфиладой тянутся вглубь строения, и, благодаря капризам рельефа, выходят аккурат вровень с тротуаром неширокого прохода между школой и его же торцовой стеной.

Охватившая горожан предпринимательская лихорадка толкала последних на освоение любых мало-мальски подходящих для коммерции площадей, вот и в проходе том уже функционировала находящаяся под присмотром курчавой вертлявой гризетки дамская парикмахерская, провинциальная яловица со сложенными колечком пухлыми губками держала продуктовую лавку, да хваткий жирдяй из горских евреев открыл писчебумажный магазин. Одна каморка между цирюльней и «маркетом» пустовала, в ней, пробив в задней стене дверь и соорудив подсобку, скрывавшую вход в заваленную собачьими деликатесами сокровищницу, я и затеял торговлю.

Лавку, натаскав из запасника серпентария Зоологического сада десятков аквариумов, я для кажимости закамуфлировал под зоомагазин. На Птичьем рынке приобрёл с полдюжины волнистых попугайчиков, парочку облезлых кенарей да пяток хомячков, в аквариумы запустил стайку гуппи, вуалехвостов, неонов, десятку бразильских сомиков. Нанял и посвятил в суть дела иезуитистого приказчика, приобрёл ветхозаветный кассовый аппарат со звончком, завёл кондуит, в который записал на фальшивых поставщиков собравшуюся живность, и запустил дело.

Как раз завершились зимние каникулы и в лавке, создавая здоровую атмосферу, любуясь водоплавающими и передразнивая верещавших попугаев, с раннего утра толпились школьники. Изредка детишки приобретали хомячка, рыбку... Основная торговля шла мимо кассы — горожане разбирали для домашних питомцев невиданные ранее «Фролики», «Чаппи», «Вискас»...

Объявились чужаеды — первым нарисовался инспектор районной управы, предъявил претензии по вывеске, мол — не там висит, не так, и вообще не соответствует. Получил в зубы полтинник в новой нацио-

нальной валюте и слинял навсегда. Следом прискакал молодежавый, улыбочивый инспектор пожарной охраны, юноша не жадный и приятный во всех отношениях — сговорились на мизерную ежемесячную отмазку. За ним пожаловал участковый ярыга, злорадный, пьяный и мздоимливый. Этому, припугнув дружбой с высокопоставленными чинушами категорически срезал ставку до ежемесячного четвертного.

Становление государственности невозможно без проведения разумной фискальной политики, последняя же нуждается в полноценной системе контроля, вот власти и занялись построением службы по сбору налогов. Неудивительно, что очень скоро прибыла и ко мне парочка наделённых самыми суровыми полномочиями юнцов с голодными глазами: первый — явный эретичный debil при щучьей физиономии, второй, пышущий милицейским здоровьем, смахивающий на евнуха размазня — пухлощёкий, разноглазый, с козелковатым голоском.

Поначалу я думал мытарей ущедрить, но выиграл вдруг во мне чёртик и решил я скрасить рутину унылых будней постановкой живых картинок с участием оболдуев налоговиков.

В первый визит парочка долго изучала кондуит, в котором я не поленился зарегистрировать наличествующую живность чуть ли не по головам и хвостам. Утомлённые — откланялись, пообещав предпринять на днях контрольный учёт наличествующего товара.

Ладно, ждём-с. Явились. Щучья морда установил возле аквариумов стул, уселся, и принялся пересчитывать гуппи...

Читатели мои благосклонные, кто-нибудь из вас пробовал сосчитать головастиков в стоялой луже? Пробовали? — вот и я о том же: через полчаса мытарь, обратившись в самое безнадежное отчаяние, на грани нервного припадка, пошатываясь и тряся головой ушёл в двери. Растерянный дружок за ним.

С неделю сладкая парочка не появлялась. После нагрянули вновь. Не успели они вступить в наше пристанище, как плутяга Николоз (приказчик) предъявил им хладный труп издохшего днём раньше попугая, посетовав, что пал тот жертвой беспощадного поединка с другим самцом, претендуя на взаимность его подруги: — Что нужно предпринять в соответствии с буквой закона, — вопрошал Николоз, — списать единицу учёта как естественную убыль, занести в графу «убытки», или вернуть тело поставщику с составлением соответствующего акта? Да, а второй драчун повредил во время поединка папоротку, и, естественно, потерял товарный вид. Уценять будем?.. Ещё, забыл сказать — гуппи у

нас родила, сотню мальков накидала, но половину сомик успел сожрать, пока бы мы его отсадили. Как будем приходовать? И две хомячки на сносях, не сегодня-завтра приплод ждём...

На сей раз служивые удалились на цыпочках, пообещав проконсультироваться с вышестоящим начальством на предмет естественной убыли и прибыли живого товара.

Зима в тот год выдалась холодная, как я уже напомнил забывчивым — в жилищах горожан царила бодрящая прохлада, а вот у нас в лавке благодаря наличию разнокалиберных обогревателей было тепло, как того и требовали правила содержания нашей живности. Исходя из того и попросил меня стародавний приятель принять на временное довольствие своего любимчика — молодого африканского удава Какашу.

Какаша оказался само очарование — на редкость ласков и дружелюбен. Обожал заползать ко мне под свитер, прятал треугольную голову у меня под мышкой и затихал надолго: то ли энергию из меня выкачивал, то ли наоборот — змеиной мудростью со мной делился. Обиталище я ему устроил прямо под моим столом — объёмистую витрину с ветвистой корягой, пятисотсвечевой лампой-обогревателем и ванночкой для купания — любил, шалун, побарахтаться в тёплой водичке... Так и жили живописной компанией в полном согласии, а тут опять мытари объявились.

Первым, с инквизиторским рвением просочился щучьемордый, следом — пухлозадый, узрел Какашу, отпрянул: — Ядовитая?!

— Очень, — сообщил Николоз, — Aqua toffana!

Я глянул на часы: — Слушай, Какашу кормить пора, готовь хомяка, того, захворавшего, — и, отодвинув стекло витринки, потянул нашего удавчика за хвост...

— Бежим! — Взвизгнул евнухид, — пускай Нечистый заберёт этих сумасшедших вместе с их гадами!..

Остаток собачьих вкусокостей мы распродали к весне. Мытари больше не появлялись — *Vae victis* (горе побеждённым)!!!

2. Ветер

Того, что миновало безвозвратно,
мы у тебя не требуем обратно —
ты только бедность бедному верни.

Рильке

Бутхуз проснулся от боли. Болела нога: как это эскулапы называют — фантомные боли? Перегнувшись с дивана, подобрал протез:

— С добрым утром, деревяшка, отдохнул?

На кухне бывшая патриотка варила кофе:

— Вахтанг, налить чашку?

— Да, выпью одну, замёрз ночью.

— Нога болит?

— Ноет, погода портится.

— Вахтанг, я твой бушлат почистила, грязный был... и медаль наградила, сверкает, как золотая.

— Спасибо, родная, пойду я на вахту.

В коридоре столкнулся с Малхазовичем:

— Как ты?

— Вот, Микел-Габриэла жду(36).

— Прекрати эти глупости.

— Почему же глупости? Пора уже, кому я здесь нужен?

— Мне нужен, ей вон, — Бутхуз кивнул в сторону кухни, — нужен.

— Ночью Верико приснилась. Сказала: " Засиделся ты там, старый дурак, давай к нам. От Розы привет передала..."

— Хватит хандрить, сегодня пятница, хороший день, наскребу к вечеру на пару бутылок, зальём тоску.

Бутхуз надел бушлат, поднял свёрнутый в рулон коврик и вышел: по тротуару, разбрасывая окурки, прошелестел первый порыв ветра:

— Чёрт, холодно, мало прохожих будет...

Цепляясь за ступеньки протезом, спустился в проём подземки. Из-за витрины парикмахерской выбежала девчушка с веником: — Батоно Вахтанг, подождите, я замету, мусор набросали на ваше место.

Бутхуз расстелил коврик, опираясь о стену уселся, пристроил рядом с протезом жестяную миску. В форточке напротив появилась физиономия часовщика: — Вахтанг, кофе горячий, только закипел.

— Спасибо, Рубик, я уже выпил.

— Как замёрзнешь, позови, я мигом сварю...

По лестнице спустилась девушка с футляром, отведя глаза, бросила в миску монетку.

— В консерваторию идёт, скрипачка — скрипичница...

Бутхуз натянул на уши вязаную шапочку, вытащил из кармана потрепанную книгу:

Живущие в ночлежках ради бога

Не мельницы, а только жернова,

Но смеют и они муки немного.

Один лишь ты живёшь едва-едва... (37)

36 Микел-Габриэл — в грузинском фольклоре ангел смерти, который приходит за душами умерших.

37 Р-М. Рильке. "О бедности и смерти"

Эпизод

Ознакомляясь в Ж.Ж. с "лентой друзей" обнаружил в записках одной милой барышни рекомендации о необходимости соблюдения ограничений для рационального распределения жизненных сил и о главенствующей роли физкультуры и спорта в деле обеспечения наиболее благоприятных условий развития творческой личности и достижении личного совершенства... Не подумайте дурного о хозяйке журнала, рекомендации присутствовали от комментаторов из круга её друзей (хотя в этом самом кругу не все так категоричны, попадались и страстям человеческим подверженные особи), и удивило меня некое почти мистическое совпадение: не далее как днём раньше, глянув на собственное отражение в зеркале, принял я волевое решение о незамедлительном переходе к щадящему режиму, рациональному жизненному распорядку и обязательному включению спортивно-оздоровительных мероприятий в процесс существования.

Дабы не смалодушничать, решил привлечь сообщника, вдвоем преодолевать трудности куда как легче. Дядя Миша был слегка нетрезв, посему согласился примкнуть без колебаний. Вот вчера и начали мы новую жизнь.

Вполне естественно, что начали спортивно-оздоровительным мероприятием: от нашего квартала до района серных бань с полчаса трусцой, если без перекуров. Дядя Миша всю дорогу жрал валидол и материл меня сквозь зубы. Из гордости валидола я у него не просил, а

сам запастись не догадался... Как добежали, не помню — очнулся на скамейке в скверике, возле "Посейдона".

В детстве нас учили — после физической нагрузки рекомендован переход к водным процедурам. Сернистая вода тифлисских источников обладает массой полезных свойств, к примеру: придание шелковистости волосяному покрову (даже при моей плешивости актуально — волосы растут на разных участках мужского организма), далее — благотворно влияет на кожные покровы, оказывает седативное действие, стимулирует вегетативную систему и т.д. и т.п.

В "пушкинском" номере большой мраморный бассейн. Прежде чем позвать тёрщика (тёрщик — это такой мужичок, который сперва выворачивает вам все суставы, потом ходит по вам ногами, потом вправляет суставы на место, потом обдирает на вас кожу специальной vareжкой, а уж потом моет, холит и всячески лелеет) надо вымочить тулово в бассейне с этой самой сернистой водой минут десять, чтоб поры на коже открылись. Потом тёрщик проводит первую серию оздоровления (жёсткая фаза). Вот после этой самой первой серии и нажимаешь на кнопку звонка, а после пару минут ждёшь, давась слюной, а после медленно, мелкими глотками, выцеживаешь покрытую снаружи инеем кружку чешского, переводишь дух... и вторую — залпом.

А Дядю Мишу уже промяли и продрали, и твоя очередь ложится на мраморный топчан — мылить тебя будут, тёплой водичкой обдавать... вот это жизнь, вот это здоровье!

После пятой кружки Дядя Миша объявил, что раз мы решили придерживаться здорового образа жизни, потребление на голодный желудок такого количества пива — нонсенс, и мы перебрались в уютное заведение рядом с баннным комплексом, — славится это место своей диетической кухней.

Дядя Миша предложил нейтрализовать действие пива низкокалорийной, но богатой желатином пищей, посему мы начали с хаши. Правда у хаши есть мерзкое свойство — не лезет оно в горло без смазки последнего этилом. Ну что мы выпили — всего-то поллитровку хлебной на двоих, нам с Дядей Мишей это как слону дробинка...

У хаши есть ещё одно свойство — способствует потреблению богатой желатином пищи усилению секреции желудочного сока, короче — жрать после хаши хочется зверски. Дядя Миша предложил ограничиться мясными блюдами без выпечных изделий, обильных гарниров — без постного, мол, дабы желудок клетчаткой не перегружать. Продолжили мы телячьими рёбрышками под гранатовым соусом, отварной грудин-

кой, антрекотом на вертеле. Мясное, тем более жаркое, надо запивать сухим белым вином, это аксиома...

Я вот с утра поправлялся аспирином и рассолом, сей момент потребляю травяной чай — третью кружку — и пытаюсь понять, в чём же мы допустили ошибку? Скорее всего, неправильно выбрали день недели, — умники советуют начинать новую жизнь с понедельника...

Диорама

Я хочу знать — что такое я сам и чем я буду. И если знать это невозможно, я хочу, по крайней мере, знать, что это невозможно — *Фикте*.

Ступени парламента, впереди, за колоннами, затаился спецназ. Надбровье щекочет лазер прицела, — натягиваю бейсболку до бровей, авось стрелок наметит другую цель. За плечами рюкзак с дезактиваторами — физраствор для глаз, пятипроцентный содовый для мякоти. Стоим стенка на стенку, за нами, заполняя проспект, километровый хвост соратников. В просветах проулков справа и слева угадываются ищущие жала водомётов. Ни звука, ни шороха — город застыл в молчаливом ожидании, лишь суетливый майский ветерок разносит окрест невесомые орешки платанов.

Гляжу на приглядную, устремлённую в небо аркаду — мы почти ровесники (я на год старше), пленные австрийцы строили, завершили в пятьдесят третьем. В середине шестидесятых неугомонные городские выдумщики сложили анекдот: прибыла тогда к нам с дружеским визитом делегация австрийских муниципальщиков, и, якобы бургомистр то ли Инсбрука, то ли Зальцбурга попросил принимающих сводить его в дом правительства. На резонный вопрос чем его заинтересовало внутреннее убранство Совмина, муниципал будто бы ответил: «А я в пятьдесят втором паркет в холле укладывал, хочу глянуть, не напортил ли чего...»

Стоим. Ни шагу вперёд, ни полшага назад. А было время — бегал сюда по службе. В первый раз в далёком семьдесят седьмом, в Комитет народного контроля — плешивый Кашей меня тогда на три должностных штрафанул. Год спустя в Парткомиссию таскали: «А я, ребята беспартийный...» — под скрежет зубовой. Ещё через пару годков в Госплан отчитываться, в Госстрой — зуботычины получать. А нынче стою на ступенях и с крыши в лоб мне целит снайпер. Рядышком, в сквере

Первой гимназии, Жирдяй истово торгуется с Хлебной принцессой, по-видимому намеревается сдавать нас режиму.

Разгонять затеялись как стемнело. От перцовки и резиновых пуль отбились, но водомёты нас одолели. Назавтра в «ящике» рассказали, что в парке бывшего Дворца пионеров обнаружили мертвого мужчину. Ещё двое покоились за зданием станции метро: «По предварительным данным причиной их смерти стало соприкосновение с электрическими проводами...»

Глава миссии Евросоюза в Грузии заявил, что разгон митинга оппозиции был правомерен: «Правительству бросили вызов! Уличные акции часто сопровождаются массовыми стычками. К сожалению, были жертвы, что очень печально. Хочу выразить соболезнования семьям погибших» ...

3. Толстобрюх

Умея наслаждаться прожитой жизнью, мы живём дважды.
Марциал

Девиантные отклонения имеют первопричиной полученные в детстве психические травмы.
Девиантология. Учебно-медицинское пособие.

Часть процессов, обусловленных деятельностью человеческого мозга, вычлняются в функцию осознания субъекта (от лат. *subjectus* — находящийся в основе); при наличии у индивида способности к обоснованию знания, как источника направленной на объект (от лат. *objeio* — противопоставляю, находящаяся во взаимодействии с субъектом часть объективной реальности) активности (способности биологического характера, надо отметить) — субъективное предположительно преобразуется в некое единство, которое мы отождествляем с нашим сознанием.

Остальная часть процессов — тех самых, мозговых, назовём их “скрытыми” — не ощущается человеком непосредственно, однако их наличие вызывает постоянный “зуд” идеального сознания, посему сознание приступает к поиску источника раздражения и, не умея осуществить его идентификацию и локализацию, проецирует глубинное неосознанное во внешний мир.

Вывод: дьявол присутствует в каждом из нас, и абсолютное зло есть общественный продукт. Лишь наделённым феноменом исчерпывающего самоанализа единицам (опять же сугубо биологическое свойство) даруется право выбора — подчиниться Сатане, либо вступить с ним в смертный бой...

В затерянном среди гор и лесов ладном кахетинском селении проживал бобылем последний отпрыск некогда славного княжеского рода, всё движимое имущество которого состояло из четвертного винного рога, древней берданки, и старой полуслепой выжлицы (38). Из недвижимости — справный ещё, известковой кладки дом под черепичной крышей с приставленным к торцу приземистым винохранилищем. Плоская кровля пристройки, снабжённая увитой узловатой столетней лозой беседкой, служила ещё и тенистым балконом, изрядную часть которого занимал циклопических размеров прокопчённый очаг.

Родившийся в десятую годовщину Октябрьского переворота князь, тифлисский тогда житель, в Отечественную под призыв по малолетству не попал, — ушёл в учёбу. Выучился на словесника, увлёкся старогреческим, скоро прослыл в университетских кругах маститым антиковедом. Занялся сравнительным изучением мифологий Ойкумены. В полуподвале, где обитал, в красном углу держал даггеротипы Еврипида, Иннокентия Аненского и Важа Пшавела. Сделал попытку вступить в переписку с Лосевым, за что был взят на карандаш бдительными органами. Написал монографию о заимствовании архаичными греками некоторых героев колхидских мифов, за что получил „по шапке“ от властей. К педагогической деятельности оперившегося уже книжника не тянуло, тянуло к архивам. Написал и издал в университетском сборнике вторую монографию об общности обрядов в честь Диониса и Берика (39), за что опять получил по шапке, больше, чем в первый раз. Озлобился, подался к вольнодумцам. Диссидентство завершилось профилактической ссылкой в дагестанский Кара-базар (ныне — Кочубей), где компенсировал урон, наносимый организму капризами резко континентального климата, диетой из свежепосоленной каспийской икорки. Сиделец, навсегда очарованный поэтикой древней Эгеиды, не мог не обратить пылливый взор на сладкогласное наследие обитателей берегов Верхнего моря (40) и, переверошив хранилище местной библиотеки, наткнулся на обтрёпанный томик Катулла (41), который попросту спёр и просмаковал с нарастающим восторгом. Осознав, что не только архаичные греки, но и ученики их, суровые латины, накоротке общались с щедрыми Каменами (42), влекомый их стройными напевами прокрался

в стан Мецената (43), где свёл тесное знакомство с вислоухим Венузийцем (44), после сражён был язвительными изобличениями остроуслова из Билбила (45), и, на посошок, с благодарностью принял наставления понтийского изгнанника(46).

Отсидев положенное, повернулся спиной к предавшему его городу и удалился в притулившееся к подножью Кахетинского Кавказа, оставшееся от родового поместья скромное обиталище бывшего моурава (47). Здесь, в верхах Алазанского межгорья, и засел безвылазно. На призывы многочисленной родни вернуться к мирской жизни, отругивался, мол, отстаньте, — могу теперь невозбранно чудить, никто не мешает...

В пору созревания князь, по-видимому, объелся словами, ибо говорлив стал чрезвычайно, причём, болтать мог произвольно меняя никак не соотносящиеся темы — от урожайности напареульской лозы и до порицания Гнедича вслед за царскосельским насмешником (48). Античность настолько прочно угнездилась в сознании бывшего карбонария, что речь цивильную он к месту, и, порою, не к месту перемежал строками из Горация, либо Марциала (самые почитаемые), или, вдруг, сам сбивался на дактилический гексаметр, либо — алкеева строфа ненароком вклинивалась в размеренную, щедро приправленную академизмами речь оригинала. Бывало и такое — сквозь высокий слог ненавязчиво просачивались тифлисские жаргонизмы (сказывались прожитые на Вере (49) студенческие и постуниверситетские годы), и, даже, отголоски фени (память о каспийской отсидке). Среди односельчан, которые, что греха таить, как и вообще обитатели этой плодородной окраины грузинской земли, чрезвычайно тяготели к копрологии, из-за неприятия обценной лексики и витиеватых речений смотрелся белым вороном. От кумира своего (Горация) князь позаимствовал романтическое возвеличивание доблести и строгости нравов прежних времён. Нрав имел флегматично-язвительный созерцательного толка, при этом постоянно норовил затеять обстоятельный, повествуемый с весёлой серьёзностью монолог, присовокупляя диферамбическую манеру описания упоминаемых положительных персонажей, и уничижительные характеристики плохишей. Мне Ношреванович — так сельчане уважительно величали князя — приходился троюродным дядюшкой с отцовской стороны.

Летнее предвечерье исходило густым зноем. Мы с Ношревановичем укрылись от палящего жара в беседке, под пахучей виноградной листвой, — дожидались, когда разварится помещённая в закипающий в

очаге чугунок говяжья голяшка. Князь сунул в кипяток острие устрашающего тесака, потыкал: — Жесткая ещё, лукавит Валико — не иначе как от климакса скончалась его буренка. Помнится мне — она ещё в горбачевщину последнего телёнка принесла, мы им закусывали, когда антиалкогольную компанию обмывали. Ладно, доварится с Божьей помощью, а мы вольны, не дожидаясь приступить, — чай не люмпены, найдётся в доме, чем аппетит раззадорить. Я вот всё басурманами восторгаюсь — на словеса скупы, чтоб не утруждать себя лишней болтовней, назвали пятницу джюм'а — она у них день отдохновения, как суббота у иудеев, — субботу шамбэ, а после ещё одна суббота — як шамбе; вторая суббота — ду шамбе, третья — сэ шамбе, четвёртая чахар шамбе, и пятая — пяндж шамбе: просто и без затей, и заметь — никакого морока с запоминанием, а то я вечно четверг со средой путаю... Так что у нас сегодня — вторая суббота? Вот и чудно, имеем полное право предаться винопитию и долгой беседе. Помнится, это я когда-то приучил тебя к откровениям великого американского сказителя (50), так вот — оговорился постройтель Йокнапатофы, имея в виду униженных соплеменников-южан, это в первую очередь нам, картвелам, время от времени категорически необходимо выговориться в повествовании, ибо красноречие есть главенствующий дар, который мы унаследовали от многострадальных предков. Давай-ка зачерпни из амфоры полную чашей вина терпкого, да погуще — до дна доставай! А я скажу тост: о том, что ждёт нас: перестанем тужить, примем как прибыль, день нам дарованный, и не сторонись, друг мой, ни хороводов весёлых, ни объятий сладостных. Как говаривал Квинтус-жизнелюб (51): хватай день! Не даром отвёл мудрый Дант венузийцу место вслед за Вергилием на подиуме, который поместил в Аид, ведь Элизий так скучен... Вновь сунул клинок в кипяток: — Доходит. — Обтёр лезвие тряпицей, дохнул на враз помутневшую голубоватую сталь: — Точно таким же Бачиа-толстобрюха порешили, вот здесь, у родника, почитай на наших глазах выпотрошили подонка, как подсвинка какого-нибудь. Кто был таков? Наш, в селе вскормленный и селом проклятый мироед, обирала, легавый, наседка, гондон повапленный! Но на каждую суку свой живодёр найдётся, не даром же сказано — бледная ломиться смерть одной и той же ногою и в развалюху бедняка и в барский чертог... Смотри: вот Садживахе (52) белеет, искристой наледью крутые склоны прикрыв; Хубиара (53), непролазной чащобой поросшая, быстроструйной Инцоба (54) путь заступает, а та от бессилья окраинной ограды кладку норовит подточить. Домина за оградой, что углом на проезжий тракт заступает — его, убиенного хоромы. Под этой кровлей оперился, под нею кана-

лю и порешили. Не принято хулить усопших, но мизер этот другого и не заслужил, ибо мерзок был непомерно. Мда, — сегодня бытие моё так же бедно событиями, как и романы Тургенева, и вдруг такой подарок — некий праведник уroda порешил. В тот день мы всем обществом у кривого Тамаза винопитию предавались — у него что ни год, отроковицы в пополнении, из мужей в семье — сам, зять, да дворовый кобель, а тут Тамта мальчишкой разродилась, вот и затеял дед на Пресвятую Богородицу крестины. Знатное застолье намечалось — Тамаз трехлетнее вино выставил, кабанчика заколол, побратимы лезгины троицу овнов пригнали на каурму (55), только разгулялись — детвора набежала, кричат: «Там Бачиа убили!» Вышли мы к источнику, глядим — колонна автомобилей стоит, сплошь „джипы“ чёрные, впереди „мерседес“, фонари синие мигают и Толстобрюх на дороге лежит: жить продолжали ещё его члены, кровью залитые, хоть и не было в тулове жизни уже, мда. Кругом менты при оружии, возле покойника — недоросток в чёрном, при тёмных очках, матерится фальцетом. Поорал, поорал, уселся в головное авто и укатила вся компания, а на которого очкарик вытворялся, оказался начальником краевой полиции: присел, бедолага, на ту вон лавочку, лысину ладонями прикрыл — молчит. И мы стоим, молчим. После очевидцы слово молвили, прояснилось дело — представь: коротышка-матерщинник оказался новоназначенным министром-полицмейстером, ездил он за кордон, к азербайджанцам, на встречу с их правоохранителями, после с эскортом обратно в столицу направлялся, и надо же, чтоб так совпало: как они в селение наше въехали, вышел из дома малый, из пупа рукоять бебута торчит — прошаркал пару шагов и аккурат под колёса министерского транспорта завалился — чуть его вдобавок не переехали. Тамаз после плевался, де — жил как упырь, добрым людям кровь портил и напоследок мне крестины изгадил... Сварилось мясо, держи ступку, — чеснока намни с солью, присыпем, пока горячее. Нарезешь? Осторожно, тесак острый — в селе в каждом доме такой имеется, кузнец наш Бикентий из сломанных рессор мастерит. Как убиенного прибрали, Циклоп — так нашего полиция селяне кличут, со своими подручными по жилищам зарысил, требовал предъявить бикентину поделку — у кого не окажется, тот и убийца. Ни черта не выяснил — у всех, на кого кузнец указал, ножища в хозяйстве наличествовали. Циклоп принялся было грозиться, но ему живо напомнили, как в недавние смутные времена отара его прирастала овечками, у которых на задах пролысины от выбритых меток наблюдались, он и притих — на мента нашего это напоминание как намордник на злого пса действует, враз усмиряет, ибо застал его в беспредельщину за чер-

ным делом наш Вильгельм Телль, он же Циркуль — бродяга охотник, выследил и селу доложил. А дело делалось так: там, где наша Овечья дорога (56) к Кадори (57) начинает забирать, есть одно место, где долгий травянистый изволок соседствует с густой опушкой Хубиарова леса, а лес сей, как известно, тянется до самого верховья Инцобы. Так вот, — овцы на подъеме шаг замедляют, в цепочку вытягиваются, ибо тропа сужается, псы-охранники с боков в голову и в хвост отары перемещаются, и очень легко получается овечку, другую в заросли утянуть, а после препроводить их лесом куда подальше... Однако, за болтовней моей канфары (58) наши иссушились, равно как и глотки наши, наполни же, племянник, чаши уёмистые нектаром карденахским: пригубим красного — гляди, как сгустившаяся кровь оно, а к текучему белому, заморив червячка обратимся. Ты, я слышал, в сочинители подался, вот и опиши житие убиенного негодяя — занимательная история сложится, а подноготную крысы я тебе изложу подробно. Итак: при прежней жизни, это пока бы устойчивая демократия на нас не снизошла, имелось в селении нашем весьма справное училище, — всю Кахетию механизаторами обеспечивало. Заведовал богоугодным заведением крайне добропорядочный селянин — дом, что я тебе указал, ему принадлежал, от отца Илико-винодела унаследовал. Сам Иликоевич в обхождении был прост, не чванлив, хоть и директор: почитай — „шишка“ сельская. Ребятня в нем души не чаяла, ибо он, сам бездетный, улучшив минутку, затевал для сорванцов всяческие эскапады, к примеру — ночную рыбалку на Алазани, либо пеший поход на Кадори за ужами, коих там тьма, — после пейзаже рептилий находили в самых неожиданных местах, например в бане в женский день — крику бывало, как в старину, при нашествиях потусторонних горцев. Дружил он не только с недорослями — каждый барбос в округе в его свите состоял, за минуту, одним посвистом мог отчаянную свору собрать, и в бой повести, мда. А вот с жenuшкой драгоценной сладить не сумел — нахлобучки сыпались на простеца, как дары из рога Амалфеи (59). Благоверную он из-за перевала привёз, из Мингрелии, мол, дабы полноценное потомство породить, надобно в семейную закваску сторонней крови подмешать, и, желательна благородной, а то в селе уже инбридингом попахивает. Однако, „сабинянка“ привозная, объявившая себя чуть ли не наследницей владетелей Самурзакани (60) — тоже мне, новоявленная княжна Тараканова — больше на кухарку смахивала: космы рыжие, афедрон на сторону отставлен: представь, — купальщица Серебряковой (61) и платье в горошек в обтяжку, и плоеный воротник с такими же манжетами: жуть с ружьём! Но — каждый по вкусу себе выбирает желанную деву,

каждый в сердце своём страстью безмолвной кипит! Мда. Ну-с, свадьбу пьяную сыграли — трое суток общество на ушах стояло, завершив matrimониальные церемонии новобрачную в школу, историю преподавать, определили — ребятя её сразу невзлюбила, за овечий голос, за кликушество, за ум недалёкий, а Иликоевич к будущим комбайнёрам вернулся, погрузился, как говорится, с головой в учебный процесс, — притихло село после встряски, к будничной жизни обратилось, но, недолгое время спустя конфуз изрядный обозначился — сабинянка-то подозрительно скоро рожать собралась, ни в какие сроки не укладывалось, вот Иликоевич и сбежал от позора, больше мы его не видели, поговаривали — в Сибирь подался, на Енисей, плотину строить, только и оставалось обществу из-за отсутствия ответственного лица удовлетвориться принципом древнего кодекса (62): «Мать всегда известна точно!»

Достались чужачке хоромы с подворьем, она дом заперла и укатила куда-то за перевал, рожать: семь городов соревнуют за мудрого корень дитяти, мда. С полгода пропадала, после объявилась, компаньонка при ней и младенец — он-то и обратился в Толстобрюха нашего. За байстрюком привозная бонна приглядывала — немка оказалась, костлявая, желтая, как лимон, физиономия прыщавая, звали Ирмгард, — наши острословы её мигом в Скарлатину переименовали. А мамочка отгородила себе будуар с отдельным входом, — стали из близлежащих городишек гости званые к порогу её чертога съезжаться — вход был свободным. Общество насупилось, ибо явный бордель в уклад векового поселения никак не вписывался. Пошли разговоры, мол пора уже гостеприимную диву переселять за околицу, как вдруг, из ниоткуда братец распутницы объявился, дядюшка, стало быть, пострелёнка нашего. Представился как партикулярный гражданин, однако погонами от него несло за версту, и улыбочка у него была специфическая — зубы скалит, а взглядом холодным щупает — я в своё время на таких вдосталь налюбовался. Бамбошер (63), кутила: алкал аки конь, а пьяным не напивался; жженку уважал, чем выдал, в каком окружении заматерел — приготавливал её на глазах ошеломлённых пейзаи и хлебал фужерами. В общем — насадка от Конторы по нашей окраине. Сестрёнку он мигом приструнил — сластолюбивые гости шастать в дом перестали, взамен зачистил жениховаться солидный ухажер — Гемоглобинович, деревенский наш лепила, прозвище к нему пристало в хрущевщину — анемичных деток он тогда выхаживал. Дело к свадьбе шло, но брачному союзу голубков препятствовала досадная помеха — соломенное вдовство невесты: фактически замужем, а законоположенный супруг в нетях пребывает...

Братец ушлый проблему устранил — нажал на нужные пружины, оформили развод без явки супруга, и следом свадьбу сыграли: ты мила, всем известно, дева, ты желанна, никто не смеет спорить, но, как не красуешься ты, всё одно, на блудливую шлюху похожа!.. Мда. Это что касается событий, сопутствовавших появлению на свет божий будущего негодяя, хотя, прошу прощения — „будущий“ здесь не канает, ибо древние поучали: никто не становится злодеем вдруг! Я достаточно долго стеснял своим присутствием бранный сей мир, достаточно, чтобы удостовериться: кретины бывают двух видов — тихие, кажется, медицина таких „терпидными“ величает, и активные, буйные, — вот эти и представляют собой угрозу для общества, а наш Бачико как раз и уродился кретином второго типа, в чём мы очень скоро убедились. Рос сей какатор (64) под надзором Скарлатины, — от неё научился ножом и вилок пользоваться, сопли платочком утирать. Обучала его репетиторша немецкому и русскому, сызмальства на трех языках лопотал, но на этом благообразии мальчонки завершалось, — все остальные свойства, ужимки и навыки богомерзием отличались: всё было бы восторга достойно, но дурное семя учинщика криводушия печать на чело наложило и случился обличием голубок, а нутром — крысиный выблядок. Очень скоро с экстерьером бастарда метаморфозы начали происходить: мамаша пошила ему короткополый казакин, так у него задница из под одёжки курдюком повисла, ибо чревобесие вдруг на ханурика снизошло — волчий голод, всё нажраться не мог — булимия по научному: мало, что дом объедал, после по селу рыскал, искал где что на шару подождать — видеть надо было, как муфлон этот округлое брюшко после халявного перекусона поглаживал... Кроме всего сделался у него рачий зрак, и во всём его облике проявилось нечто зоологическое — с тапиром стал схож, ибо в речениях слегка прихрюкивал, слюни подбирая. Кстати, чего я терпеть не могу, так это волосатые запястья, особенно если рука солнцем не тронута, — так у дрищенка этого ещё голос ломаться не начинал, а ручки бледные уже густой порослью покрылись — паук-птицеед, да и только... Покамест детвора в школьном дворе мяч гоняла да по окрестным лесам шныряла, наш колливуubl хронический курдюк за книжками просиживал. Как начитался, начал к сверстникам пристраиваться, но получалось не очень, ибо взял в привычку смягчать скуку пакостями разными, а схлопотав пару заслуженных пенделей, бежал к мамочке жаловаться, та к обидчику, глаза выцарапывать, вот и сторонилась ватага позорника. Он их, в конце концов, на измор взял — поначалу шнырял, после приборзвел, зафаловал главарей постепенно. Кто посильнее, перед теми восьмерил, над теми,

кто послабее верх держать пытался. Приноровился при спорах в позу царя Соломона вставать — авторитетного изображал, а если замечал, что кипиш густеет, виртуозно умел пятый угол найти. „Пустяк“ — так его сверстники прозвали, хотя со временем убедились, что не так он прост, как поначалу казалось. Окончательно пал лицом сын шлюхи, когда приапизм (65) на него напал: то и дело эрекция одолевала — глядь, поспешает к дому с оттопыренной ширинкой, это в кахетинском-то селении! Представляешь, какая радость для общества? — только и сделалось у детворы заботы прозвища пентюху подбирать — самым безобидным „драчмейстер“ являлось. В общем — лет до пятнадцати смотрелся он так, словно с ним только что случилась какая-то крупная гадость — и вопль отвратен, и дух паскуден, и облик дик, и лик бесчеловечен — как вдруг щенок этот перед самыми озорными сверстниками палец стал поднимать, — мол, не шали, иначе накажу! А осмелел с того, что завелся у него трабант (66) на побегушках, он же штатная девятка — наделённый медвежьей силой деревенский дурачок Мухлук. Вроде бы самоутвердился наконец солоп сопливый, одна беда — неудовлетворённая похоть житья недоноску не давала, от рукоблудия непрерывного коленки на ходу подгибались. Сжалились наши юнцы, свезли его к телеграфисткам в Лагодехи — если помнишь, там десантники стояли в додемократические времена — приобщился урод к половой жизни, и надо же, как попробовал сладенького мизер этот жопастый, так курошупом заделался ненасытным, только и шатался по околицам окрестных селений... Во всём был никчем, а изъяснялся, сволочь, складно — Скарлатины заслуга, выдрессировала — бывало, как приметя ораторствовать, да ручонкой волосатой в такт помахивать, да кривляться, рожу косить, слюнями брызгать — какую бы чернуху не нёс слушатели в транс впадали. Правда аудиторию выбирал старательно, обычно публику малообразованную, другим словом — плебс. Мамаша-поблядушка театральная кружок при школе затеяла, вот где он душу отвёл, всё вельмож да царей изображал, сабелькой деревянной помахивал. Ужасающие пьески о героическом прошлом предков сам кропал на пару с маменькой, сам же и режиссировал. Родительница всё пыталась кровиночку от „уличных“ отвадить, поощряла всячески культурный рост сквернавца, вдруг надумала к фотоискусству чадо приобщить, купила пашенку фотоаппарат, в Тифлис для этого отправилась, привезла зеркалку и кучу приспособлений, включая красные фонари, которых им до того явно не доставало. Дрянцо увлеклось, по селу рыскало, щёлкало встречных-поперечных, пейзажи, памятники старины... А вылилась в конце концов культурологическая затея в серьёзный

скандал с криминальным оттенком: оказалось выронок раздобыл где-то негативы срамных картинок, изготовлял по ночам похабные фото, а после торговал их ребятне по двадцать копеек штуку. Зацапали его, таскали в район — за распространение порнографии тогда статья светила, мамаша с потерянным лицом с почты не вылезала, в столицу названивала — фанфаронистый братец её к тому времени в рост пошел, Контора его в республиканское управление забрала — он и прикрыл племянничка, замяли дело, а тут и аттестат зрелости подоспел и забрал он вскормленника от родных пенат: как говаривал Квинтус вислоухий — есть такие, кому высшее счастье пыль арены даёт в беге увёртливом... Однако, долгий монолог мне глотку иссушил, — наполни кубки, друг любезный и взгляни какую красоту создали боги — это удивительное, полное звёзд небо, эту жемчужину — нашу Землю, и после этого они ещё нашли время изготовить таких козьяков, как мы с тобой, с ума сойти!.. Ну-с, жажду утолив вернёмся к нашему барану: стараниями авункулуса (67) всеильного вынырнул пострел, имя его да омерзает, в столице братского Азербайджана, и угнезвился на юридическом факультете тамошнего университета. Но, кретин, он и есть кретин: не долго музыка играла, какое-то общественное бабло попятил фраер, то ли студенческую кассу, то ли что-то ещё в этом роде. Попёрли его из комсомола, а заодно и из универа, а после, как и водилось — мобилизовали: в погранцы загремел, всё в том же Азербайджане вкусил казарменного быта. Снова дядюшка озаботился, — писарем пристроил, а по факту — наседкой, стукачом, так что строевой межеумок и не понюхал. Дальше-больше: вновь в комсомолисты записали, в самодеятельность допустили — театр одного дебила представлял. Отслужил, в универе восстановился, окончил с отличием и дипломированным юристом восвосяи отбыл. Прибыл. Окрест родного крова неразбериха царила: только-только первого нашего президента с ещё не насиженного трона попросили, а Седой Лис (68) уже поспешал из Златоглавой, — торопился вожжи к рукам прибрать. В провинции мхедрионовцы (69) пошаливали, контрибуировали всё, что под руку попадало. Общество на два лагеря распалось — звиадистов (70) и анти, при этом колеблющиеся из лагеря в лагерь и обратно сновали. Уродца нашего, что естественно, к беспредельщикам потянуло, записываться к всадникам в ячейку из осторожности не стал, но прилип аки слизень к листу виноградному. Навострился с новыми дружками Гурджаанский коньячный грабить, по-видимому, споткнулся на чём-то, ибо возвратился до срока и до синевы измордованный. На этом его партизанская (71) деятельность завершилась. Отлежался у мамочки, опасливо нос наружу выставил, приняхал-

ся, — наживой запахло отчётливо, причём наживой без грабежа — бензин на заправках закончился, пропал напрочь! Живо прошмыгнул в Лагодехи — десантура всё ещё там кантовалась в подвешенном состоянии — старые подруги с начальником тыла свели. Тот, навар почуяв, ужом завился — мигом сговорились казённые горюче-смазочные в оборот запустить, прибытком делиться. Рекрутировал отморозок жопастый сбытчиков в ближних селениях — в подсобке бочки, у ворот — канистры выставлены, денежки ручейком потекли, и не малые... Как от Москвы насовсем отделились, комсомольский билет изорвал публично, отрёкся от заблуждений былых и в националисты подался. Манифестировал сдуру — «Грузия для грузин», из-за чего вновь на побои нарвался — на сей раз кистинцы из Джоколо постарались, чуть не до смерти побуцкали, — вновь к мамочке на реабилитацию... Боги мои, столько слов разом я, кажется, никогда ещё не молвил, — чуть ли не обвинительная речь сложилась — *actiones Physconnae* (72). Ну-с, виночерпий, наполни фиалы, прополощу зев и продолжим. Кстати, обрати внимание какое тонкое послевкусие у белого — миндалём отдаёт и чуть-чуть персиком: это прошлогоднее, в том году солнышко особенно ярилось, и дождало всего ничего — давно наш лозовник такой налитой грозди не давал. Мда. Однако, вернёмся к повести о гнусных деяниях сопливца: когда в девяносто третьем стараниями нового владыки (73) стали образовываться относительно справные госструктуры, непотопляемый дядюшка расстарался, пристроил племянника в региональную контору по защите нарождающейся демократии — стараниями западных кураторов подобные богомерзкие заведения как грибы после ливня стали проклёвываться. Пострел, ознакомившись со служебными обязанностями, мигом сообразил, что чрезвычайная занятость ему не грозит, и запустил в оборот нагретые на ворованном бензине деньжата, оформил на подставного — верный Мухлук пригодился — лотерею. На телавском (74) рынке, на автовокзале тамошнем игровые автоматы установил, — в то время, как честный люд не чаял добыть копейку на прожитьё, это благополучествовал: всё дозволено! — объявил, наступило для выблядка долгожданное время упоения бытием. Из европ подержанные авто стали пригонять, урод „мерседес“ прикупил, наезжал в село мамочку проведать. Опять перепало ему, на сей раз от меня: когда отдыхал я на море Хвалынском (75) подобные ему суслики в нитку передо мною тянулись, а тут хрен этот, завидев меня, бровями вдруг начал поигрывать, яйцами позванивать, — пришлось мудозвону уши надрать, да напомнить кто из нас какой масти... Мда, а дядюшка оборотистый сестрино чадо заботой не обделял, — выхлопотал сиротке вояж в Страсбург,

аж в Международный зомботарий по правам человека — квалификацию повышать. Укатил урод, на хозяйстве Мухлуха оставил, доедавших последний кус земляков обирать. Вернулся — излишки квалификации чуть ли не из ушей выпирали — и не один вернулся, привёз кучу немчиков с голландцами — те горели коллективным желанием замученных тоталитарным прошлым аборигенов облагоденствовать, охмуриловку для их детишек обустроить — наш при них драгоманом-порученцем состоял, бегал с папкой по району, место для строительства бурсы подыскивал. Нашел — перелог (76) у кромки Хубиарова леса, бумажки нужные в управе выхлопотал, зарегистрировал землю за приютом благотворительным. Из-за бугра транспорт прикатил — пару сборных домиков подвезли, смонтировали. По селу инородцы толпами бродили, чачу дегустировали, с граппой сравнивали. Месяц-другой сей праздник сердца продолжался, и вдруг разом сдулся: благотворители испарились не прощаясь, а нашего организатора хмурые опричники за толстую жопу взяли, обвинили в соучастии в сговоре по отмыванию средств сторонних интересантов и в столицу умыкнули. Село гадало — сядет толстозадый, или выкрутится? Выкрутил родственник — вернулся махер восвояси, слегка растерянный, но зубы, как и раньше, щерил по волчьи. Для успокоения растревоженного рассудка прибегнул мальчуган к испытанному средству — завалился в лежку у маман, однако не суждено было начинающему аферисту релаксировать, — нежданчик вдруг образовался: предстала перед гаером некая мамзель из давешней германо-фламандской шайки, этакая пулярка волоокая, борцунья за права прекрасной половины человечества — суфражистка, одним словом. Явилась дива, которую никак не ждали и с пренеприятнейшим известием вдобавок — понесла, мол, я, милёнок, и виновником именно ты и являешься!.. Позволь мне краткое отступление сделать: нравы, нашему обществу исстари присущие, претерпели метаморфозы весьма скверного свойства, посуды сам: в моё время юноши посылали девицам акrostихи, дарили цветы, — проходили недели и месяцы, прежде, чем кавалер решался на первый поцелуй; нынче же галопирующий мир не примет трату времени на соблюдение архаичного этикета, плюс явная феминизация общества имеет место — какая-нибудь, заскучавшая на уроке, семикласница предлагает соседу по парте мимолётную фелляцию для оживления кровообращения. Так и с нашим гадким утёнком получилось: правозащитница приبلудная затащила его со скуки в свой альков — казалось бы будничным перепихон, а завершилось надутым пузиком, да, вдобавок, фрау такой дрянью оказалась — жизни не хватило бы, чтобы её уластить: упёрлась рогом — незамедлительное со-

четание законным браком, иначе заинтересованным службам будут предоставлены неизвестные им дотоле сведения об известной афере. Сжав зубы поддался крысёнок, однако нежелательный союз вдруг невиданной выгодой обратился — новобрачная, подключив забугорную родню, а та, оказывается, весьма высоко котировалась на европейской ярмарке тщеславия, муженька в стремительный карьерный рост запустила, и не без корыстного интереса, прошу отметить, но: если из дальней страны нежданно, ты, дева, явилась, прежде, чем козни свои затевать, кругом оглянись — познай, чем славен народ, что тебя окружает, мда... В положенный срок разродилась верховодка мальчишкой, дитячко незамедлительно под надзор бабке-потаскухе передали, а старая клёцка и рада, ибо в одиночестве тоскливом к тому времени пребывала: второй муженёк, как и первый, прокляв судьбу без вести сгинул, да и компаньонка некогда верная подругу покинула — на родину предков подалась Скарлатина. А суфражистка не медля озаботилась обустройством карьерной стремянки самцу своему. Для начала впихнула дятла к зелёным — только-только региональное отделение образовалось, причём — впихнула сверху, через Берлин (77), — сам вице-премьер Дойчляндии протекцию составил. К защитникам естественной среды нашего обитания урод заявился в ипостаси реформатора-прогрессивиста, пару туманных тезисов выдал и поспешил в Муниципалитет, там его место юриста-консультанта дожидалось. Едва успел долдон войти в роль правоохранителя с природозащитным уклоном, как женушка его вновь родителей напрягла, те зятюку стажировку в Колумбийском университете организовали: ты подумай — вчерашний босяк в Нью-Йорк укатил, в Королевский колледж, в Лигу плюща — перед мировой элитой еблом щёлкать! Степень уравниловки представь: Гинзберг, Берроуз, Керуак и наш выпорток, хотя, нынче я уже ничему не удивляюсь — долгая моя жизнь довела меня до такого изумления, что я перестал удивляться чему бы то ни было, я теперь самый невозмутимый человек на свете, мда... А дальше закрутилось — следующие год-полтора сладкая парочка в воздухе провела, в перелётах: Вашингтон, Флоренция, Гаага, Осло — натаскивали толстозадого, в тайнства правозащитной деятельности посвящали. В деньгах супруги нужды не испытывали — верный Мухлук на хозяйстве усердствовал, да и спонсоры-обучальщики время от времени подачками баловали. Наконец завершили вояж, в Кахетии сбор винограда начинался, поспешили почтить присутствием. Заквалифицированный по самое не могу правозащитник дядюшку озаботил — тот подсуетился и высуетил племяшу место председателя юридического комитета при нашем муниципальном совете: не к месту козырь в гору

пошел — социопат-карьерист, как тебе такое нравится?.. В наших верхах его побаиваться стали, ибо не даром же таскался он по европам да америкам — двоедушные дяди и тётки на дрессуру „своего“ мальчика изрядно потратились, и, законсервиrowав на время, надзирали бытие его оком зорким. Он же, крепкую „спину“ почуяв, в беспредельщину ударился: первым делом, приблизив с полдюжины авторитетных, принялся обменники у владельцев отжимать; дальше-больше: здесь бензоколонку присвоят, там ресторанчик, рядышком винзаводик завалыщий... Подвиги его наблюдая потянулись к нему, и, что естественно, отнюдь не пуристического настроения граждане — очень скоро сколотил он свою „королевскую рать“. К этому времени урод на наркоте подсел — до Панкиси (78) ведь рукой подать, оттуда вся дрянь и идёт по краю, плюс компенсаторная жадность подлеца одолела — пихал в себя всё, чего в детстве не дожрал, от чего брюхо непомерное отрастил, а от наркоты ещё и рылом отёк — сделался похож на профессора Морланта (79) в исполнении Бориса Карлоффа (80) — пугалище, да и только... Муниципальные выборы приближались, уже и сомнений не было, что стульчак председателя Совета этому монстру достанется, но — неожиданно-негаданно криминалом запахло, скажу больше — засмердило: на дешевой хавире жмурика надыбали — оказался главарь зелёных, который давно уже с сучком нашим в некоторых делах путался, и объявились свидетели, показавшие, что накануне базарили подельники на повышенных тонах... Короче — среди мелкоты амбала для отмазки определили и прокурору передали, висельника нашего отмазали, но попросили удалиться с рампы, навсегда удалиться, сгинуть — в общем, как в песне поётся: «мусора нас повязали, мы на этом завязали...»

Куда было пораженцу деваться? — естественно на село к мамочке, больше ведь тварюгу пожалеть было некому — благоверная, как кипиш образовался, вильнула хвостом, и, прихватив сынишку, за кордон слиняла: и сторонились все его — и стар и млад полны презренья, мда. Вот что я скажу: со дня рождения моего и по день сегодняшней власть шесть раз сменилась — в двадцать седьмом Сталин с Менжинским Троцкого за яйца взяли, после Куба с соратниками разорённую империю восстанавливал. В пятьдесят шестом буржуи всем миром безграмотного кукурузника на трон усадили — восемь лет бедлам длился. В шестьдесят четвёртом скинули хряка, Косыгин за дело взялся — во второй раз вытянули страну из разрухи. В семьдесят шестом номенклатура попыталась Николаевича замочить — не получилось: крепок был, живуч, но сдал, сник, выпустил вожжи: партаппаратчики власть под себя потянули. В Кремле в детство впавший Ильич дарёнными цацками лю-

бовался, а правил по сути змеей Суслов, на местах партийный беспредел разрастался — просочились во власть голодраные до того комсомольские вожаки — протекционизм, взяточничество, откровенное воровство. Старперов из Политбюро гигантомания одолела, надумали сибирские реки разворачивать — слава богу, отбилась ученая верхушка, так они опять за многострадальную Целину взялись. Цены в рост пошли, зарплаты замёрзли. К концу семидесятых воровали все — от домоуправов до министров и партийной верхотуры: жульё восторгалось, мол — Лёня стоящий мужик: сам живёт и другим жить даёт... С восьмидесят второго по восьмидесят пятый новые смутные времена наступили — эпизодами Андропов, Кузнецов, Черненко куролесили — народец зубы на полки выкладывать начал. С восьмидесят пятого — мрак горбачевщины, после всё рухнуло и стали мы самостоятельны в кавычках, с той поры и по сей день веселимся сверх меры. Утлая жизнь наступила, шаткая — как пенаты наши демократизировались моментально диаметральной метаморфоза образовалась: вчера ещё социализм строили, а сегодня, здрасьте вам — второй НЭП, рыночная экономика, свободное предпринимательство, — вот и надорвалось общество, не выдержало груза в одночасье навалившегося счастья. Зато дрянь вроде убиенного Толстобрюха, почуяв, что их время пришло, овампирилась, живоглотствовать принялась, и в драке за жирный кусок друг дружку гнобить — „броуновское движение“ в их среде установилось, — кто-то вверх, кто-то, как наш недодристок — на самое дно. Отсиделся дегенерат под мамкиной юбкой, после, как почуял, что тучи, сгустившиеся было над драгоценной тушкой его, рассеялись, выбрался на свет божий, глянул на бедствующих односельчан и объявил, мол кто крайнюю нужду испытывает, помогу — денежки-то у него водились, и не малые, вот и принял их в рост отпускать. Дисконтёром (81) безотказный Мухлух выступил, кредитуемых на счётчик ставил. Сплюснутые жизнью селяне к процентщику потянулись — когда керосин и мыло не на что прикупить, не особенно задумываешься, как будешь долг погашать. Вскоре вырожденец вновь бровями заиграл, ибо власть над заимщиками заимел, уже и глумиться над самыми слабыми отважился, расправой угрожал — из старого окружения призвал пару подонков, в быки определил, но у всего на этом свете есть начало и есть конец — Эй, ненасытный, ты у горемычных золото вымогал, а они булатом для тебя расщедрились: крестьяне, служилые, шуты площадные — весь тобою униженный люд в восхищеньи предался веселью! Рухнув, на голой земле у жилья своего возлежал, и слезы никто не пролил, даже та, что, стена породила тебя... В ночь перед казнью как почуял что-то, явился к обществу, к себе

завывал, выдержанным вином соблазнял, обязательства по долгам обещал пересмотреть, но — тщетно, не сумел покаянием суровых прядильщиц (82) задобрить, коротковат оказался посох Децимы (83): «Три старухи одна с другой схожи, у дороги сидят, и прядут, и сурово глядят» (84)... И вот ведь как порою случается — казалось бы, шагая по головам, взобрался подонок, на верхнюю ступень, нахapaл, нажрался, натешил душонку извращённую, а тут мир чьей-то рукой мимоходом заехал хаму по яйцам, и осталось от баклана дурная память и немного падали — сколь жабо не надувал, всё в тесную могилу вместились... А та рука моя была. Удивлён, или догадался уже? Нет, должником процентщика я не был, слава богам обхожусь пока кое как. За что пришел скотину? — погляди: где у дороги самой стелется лес низкорослый, друга старого, побратима, князя Автандила чертог возвышался, нынче — стены с проваленной крышей да бурьян. Неразлучны мы были как Дамон и Пифиас (85). Князь непростую жизнь прожил, изрядно ломало его, вдобавок овдовел рано, остался с малолетней дочуркой на руках, однако маху в дом не привёл, сам выпестовал ангелочка, красавицу вырастил — чистой дева была, душой скиталица нежная: «В алмазной раме у окна вот ты стоишь, стройна как взмах крыла с лампадаю в руках...» — присутствует в анамнезе моём период, когда я истоиво увлекался поэзией Короля противоречий — так мы в студенчестве Эгара По величали. Филигранно владел пером сострадалец человекoв: ритм, метрика, строфика, рифма — высочайшее мастерство являют: «И вновь воскликнул я, вставая: прочь отсюда птица злая, ты из царства тьмы и бури, — уходи опять туда...» — мороз дерёт по коже от строк этих, щедрый был сеятель, мир его праху — небрежно разбросал семена из которых проросли чуть ли не все современные формы письма, возьми, хотя бы, фантастику — он и был зачинателем, впрочем, будем справедливы — ещё до Эгара великолепный Гофман так же манипулировал невероятностями, скрещивая наш мир с наднашим, но смелостью сюжетов По его превосходил, а детективный рассказ это уже бесспорно детище ричмондского мистика, и криптография помимо всего... Мда, о чём это я?.. Так вот: с изгнанием из мира избыточного неудовлетворённое сладострастие морлока отнюдь не необузданной чувственностью обратилось — это простительно было бы, а слепой похотью, и тварь эта оральнo-сфинктерическая на ангела покорыстилась! Увы, не спасло плотно, что в ночи вновь распускалось хитро — силой взял деву сатир, и жертва, не вынеся позора, жизни себя лишила. В тот же день отец, разбитый несчастьем, за нею последовал. Ну а я? — коли скорбь слезу иссушила, утри пустое место, и боль в груди упрятав, к отмщенью об-

ратись! Наличие тесака удивляет? Это второй по счёту, что Бикентий мне изготовил, первый я обронил, когда охотился у Белых камней, а чуть ли не полгода спустя Куца его нашла — хоть и подслеповата стала, псица, но нюх сохранила. Кузнец же наш от многолетнего обстоятельного винопития настолько проспиртовался, что, даже не пригубив, всё равно наполовину пьян, а если примет стаканчик — практикует обычно с утраца, так ему сразу же розовые слоны являются, от того и с памятью нелады. Как живу после содеянного? — перечитываю Мопасана, Флобера, Франса, — успокаивает. Дознатели к нам до сих пор наезжают, выпрашивают: — Убил тот, кому была выгода, — отвечают им, — а выгода была всем нам, вот и думайте... Помнишь, что сказал Шекспир о времени, в котором пребывал — «Век вывихнут!» Уж если его век был вывихнут, то наш вывихнут трижды: и остыла отвага, и тоска разрослась — хоть и всего у нас в избытке, включая разруху, но раз время вывихнуто, значит и жизнь ему, времени, под стать, однако же мы её живём: здесь жизнь, а временами — смерть!.. Все мы рано или поздно разойдёмся по погостам, но умереть, ещё не значит сложить оружие, ибо пёс его знает какие новые напасти ожидают нас там, за гробовой доской. Ты с Рильке знаком? Это тот умник, который сумел наконец поэтизировать ужасный язык германцев: большевики его чурались, мол — модернист, мистик, субъективист, — не переводили, пришлось мне читать в оригинале. Так вот — этот эстет ещё столетием ранее предрёк: «Желание умереть своей собственной смертью встречается все реже и реже. Ещё немного, и оно станет такой же редкостью, как своя собственная жизнь»... Нас с тобой это пророчество не касается, от славных предков мы унаследовали умение жить именно собственной жизнью — безрадостно бытие часового, ведь он снова и снова ступает по своим же следам, а мы вольны бродить нехоженными тропами, гадая, куда они нас заведут... Кстати, после долгих раздумий пришел я к выводу — Боги бессловесны. Истосковавшись по живому слогу, создали они человечков и с той поры напитываются магией слова. Болтовня простецов чужда их слуху, поэтому и высматривают они способных на великое старание умельцев, их и наделяют даром сладкоречия. Рильке, которого я упомянул — один из призёров, вслушайся: «Я шёл вдоль больниц их ворота были распахнуты с выражением нетерпеливого и хищного милосердия...» Слышишь? — хищное милосердие!.. Сказано: даже у чистого пса иногда бывает чесотка, уверен, и ты не без греха — судьба каждому преподносит неожиданные подарки, но нам с тобой, и нам подобным создатели дали умение осознать проступки свои, покаяться и искупить, а самый верный способ искупления — давить тех

тварей, которые оскверняют приманчивый наш мир. И не печалюсь во-
все, что согрешил, наоборот, уверен, что на пользу униженным руки
осквернил жабьей кровью. Как молвил мудрый слепец (86) из второго
Парижа (87) — «Я мог бы жертвой стать, стал палачом!», налей-ка
терпкого...

38 выжлица — гончая сука.

39 Берика — в грузинской мифологии божество плодородия.

40 Верхнее море — Адриатика.

41 Катулл (87 — 54 г. до р.х.) — главенствующий поэт Рима в эпоху Цице-
рона и Цезаря.

42 Камены — обитавшие в источниках и родниках италийские божества —
покровительницы искусств.

43 Меценат Гай Цильпий (68 — 8 г. до р.х.) — римлянин из древнего эт-
русского рода, покровитель художников и поэтов, в частности Вергилия и Гора-
ция.

44 вислоухий везузец — Гораций (65 — 8 г. до р.х.), поэт «Золотого ве-
ка» римской поэзии.

45 острослов из Билбила — Марциал (40 — 104 г.), римский эпиграфист.

46 изгнанник понтийский — Овидий (43 г. до р.х. — 17 г. н.э.), римский по-
эт, был сослан императором Августом в западное причерноморье, в город Томы
(совр. Констанца)

47 моурав (груз. მთავრობა) — в средневековой Грузии управляющий
дворянским поместьем.

48 царскосельский насмешник — здесь, Пушкин («крив был Гнедич-поэт...).

49 Вереэ — исторический район Тбилиси.

50 великий американский сказитель — здесь, Уильям Фолкнер.

51 Квинтус-жизнелюб — Гораций.

52 Садживахе — хребет в южной части Кахетинского Кавказа.

53 Хубиара — лесистая гора у подножья Садживахе.

54 Инцоба — река, впадающая в Алазани.

55 каурма — острое блюдо из баранины.

56 Овечья дорога — тропа, по которой перегоняют овец на летние пастби-
ща.

57 Кадори — перевал, связывающий Кахетию с Дагестаном.

58 канфар — сосуд для питья у древних греков, кубок с двумя вертикаль-
ными ручками.

59 рог Амалфеи — рог изобилия.

60 Самурзакань — совр. Гальский р-он Грузии.

61 Зинаида Серебрякова-Лансере (1888 — 1967) — русская и французская
художница.

62 Древний кодекс — здесь, Римское право.

63 бамбошер — галлицизм: гуляка, кутила.

64 Какатор (лат. cacator) — засранец.

- 65 приапизм — патологическая длительная эрекция.
- 66 трабант (нем. *trabant*) — попутчик, спутник, телохранитель.
- 67 авункулюс (лат. *Avunculus*) — дядя по материнской линии.
- 68 Седой Лис — прозвище Эдуарда Шеварднадзе.
- 69 Мхедриони — созданный в 1989 году отряд всадников-„вершинников" — полулегальная, криминализируемая группировка. Распущена в 1995 году.
- 70 звиадисты — сторонники свергнутого президента Звиада Гамсахурдия.
- 71 партизанская деятельность — мхедрионовцы называли себя наследниками средневековых отрядов борцов против турецких и иранских захватчиков.
- 72 *actiones Physconnae* (лат) — речь против Пискона; Пискон (*Physcon*) — Толстобрюхий: прозвище египетского царя Птолемея II
- 73 новый владыка — здесь, Шеварднадзе.
- 74 Телави — город в Алазанской долине, центр Телавского муниципалитета, столица края Кахетия.
- 75 море Хвалынское — Каспий.
- 76 перелог — заброшенная пахотная земля.
- 77 в Берлине располагается штаб-квартира зелёных Германии.
- 78 Панкиси — ущелье в верховьях реки Алазани, микросообщество вайнахов-кистинцев, через горные перевалы граничит с Чечней и Дагестаном.
- 79 профессор Морлант — гл. герой ужастика „Упырь" (1933) реж. Хейса Хантера.
80. Борис Карлофф (Карлоф Ужасный 1887 — 1969) — американский харрактерный киноактёр, прославился исполнением роли Франкенштейна — 1931 год.
- 81 дисконтёр — лицо, ведающее учётом векселей.
- 82 прядильщицы — Парки, у римлян богини судьбы: Нона, Децима, Морта.
- 83 Децима отмеряет продолжительность жизни человека с помощью своего посоха.
- 84 Три старухи одна с другой схожи — стихотворение Генриха Гейне.
- 85 Дамон и Птиас — неразлучные друзья пифагорейцы из Сиракуз, ставшие символом мужской дружбы.
- 86 мудрый слепец — здесь Хорхе Луис Борхес (1899 — 1986) аргентинский поэт и прозаик.
- 87 второй Париж — Буэнос Айрес.

Диорама

Выпускные экзамены кончились. Нас пригласили в актовую залу, мы подписали врачебную клятву и получили дипломы.

В.В.Вересаев. 1895

Каждый номер врачебной газеты содержал в себе сообщение о десятках новых средств, и так из недели в неделю, из месяца в месяц;

это был какой-то громадный, бешеный, бесконечный поток, при взгляде на который разбегались глаза: новые лекарства, новые дозы, новые способы введения их, и тут же — десятки и сотни загубленных человеческих жизней.

В.В.Вересаев — "Записки врача" 1904 год

Как известно, старикам любопытство свойственно, вот и я, исключительно от неумения какой-либо общественно полезной проблемой озаботиться, только и делаю, что любопытствую, и после восторгаюсь новациям, в поте лица обустройстваемыми славными нашими младореформаторами.

Любопытствуя и восторгаясь, классифицирую я реформы по их результативности, по степени полезности обывателю, — ведь, думаю, исключительно для обеспечения благоденствия онога эти реформы и предпринимаются.

Сравнительный анализ показал: наиболее успешной оказалась реформа образовательная, на разработку и осуществление которой затрачено было преобразователями масса времени, сил и денег забугорных благожелателей.

В «теле» же оной реформы, судя по разительным переменам практики здравоохранительной, бесспорно лидирует ломка и переустройство учебного процесса сегодняшних докторов: приглядитесь — на смену замшелым, погрязшим в догмах плановой медицины, выброшенным стремительным бегом прогресса на свалку истории, эскулапствующим невеждам, уже пришло племя молодое, решительное — гайдлайн (инструкция) взамен изъеденных мышами архаичных учебников, ноутбук взамен постыдного фонендоскопа — раскрепощённые, дерзкие врачеватели нового, пуце глаза своего почитающего права человека, поколения!

Субъект я дотошный, решил докопаться до сути переустройства процесса обучения сегодняшних лекарей, благо старшая внучка уже завершила курс приобщения к таинствам

Врачевания в славном нашем Меде. Выспросил «дедушкину надежду», — вроде ничего примечательного, ртина: анатомические штудии — двухмесячный курс, общая терапия — двухмесячный курс, токсикология — двухмесячный курс, медицинский менеджмент — трёхгодичный курс... в чём же секрет преобразующего нововведения?

Докопался-таки, методом исключения определил, где собака зарыта — клятву Гиппократата отменили к ебням реформисты-рационализаторы, и правильно сделали!

Представляю, каково было студиозусам в дореформенные времена давать присягу оперившемуся на богом забытом островке где-то у берега турецкого, помершему за два с лишком тысячелетия до дней наших бродячему коновалу (представьте уровень знаний лишенца этого), — это ведь комплекс неполноценности пожизненный, ярмо психологическое, побудительная причина с оглядкой заниматься профессиональной деятельностью, тормоз!

То ли дело нынешние, психологических пут лишённые целители! Придёшь к такому, он тебя к кардиографу подключит, после сунет ленту в хреновину вроде фильмоскопа (никакого тебе старомодного стекла увеличительного и мерной линейки) и сразу же принтер выдаст пропись: альфаблокатор, бетаблокатор, убивальщик серотонина, могильщик простгландина, антиагрегант, статины, гипотензивное, гликозид сердечный, калийсберегающее, мочегонное — всего шестнадцать наименований, и сплошь французско-аглицкие пилюли, не какое-нибудь там старорежимное барахло типа дальхимфармовского Папаверина!

Правда обязательная месячная порция совокупной этой радости тянет на тройную максимальную пенсию, но мы нынче проживаем в обществе, в котором основополагающей ценностью задекларированы права человека, посему — хочешь, лечись, хочешь, нет, заставлять никто не станет...

А вот ещё пример: наводнившие столицу бывшие труженики села, а нынче занятые в сфере обслуживания эффективные менеджеры, сделавшись гражданами гигиенически просвещёнными, при малейшей царапине, либо потёртости кожных покровов, бегут по велению доктора в ближайшую аптеку покупать ШВЕЙЦАРСКОЕ(!) лекарство «Бетадин» (4,5 \$ за флакон), правда на упаковке сией панакеи, под жирной надписью «Швейцария, Базель», мельчайшим шрифтом обозначено: «произведено в Венгрии», но это факт несущественный, ведь именно швейцарцы после продолжительных изысканий пришли к выводу, что раствор йода проявляет целительные свойства только лишь в комбинации с лимонной кислотой и глицерином, а где будет флаконировано это чудо — у мадьяр, или у румын, какая, собственно, разница? Главное, что граждане наши наконец-то избавлены от вынужденного лечения неэффективным «голым» нижфармовским йодом, ведь выкинутые деньги — 0,25\$ за пятидесятимиллилитровый пузырёк...

Одна сударыня из близкого моего окружения — имя и фамилию из деликатности не назову, почувствовав внезапное слезотечение из левого ока, немедля отправилась в ближайшую лечебницу за помощью.

Барышня-офтальмолог протестировала страдальцу сложным электронным устройством, и сообщила, что левый глаз у неё внезапно утратил 40% зрительных навыков, но особой беды в том нет, ибо как раз вчера во все аптеки города завезли итальянские капельки, именно для подобных случаев и предназначенные...

Беру у неё прикупленный флакон, читаю: капли глазные Афомил, 10 миллилитров. АЕФЕ. Турин. Италия. — Что стоят? — спрашиваю. — Сорок пять лари (15 долларов)... И тут, как и следовало ожидать, разыграл во мне неистребимый любопытствующий совок, полез я в Интернет выяснять состав капелек, слепоту исцеляющих, и нашёл: дистиллят календулы, ромашки и фенхеля.

Опять же, калькулятор в руки, пара действий арифметических, и, не сдержавшись, опустился я до уровня мелкого склочника, ибо сообщил болящей дуре, что на пятнашку зелёных в зелёной же аптеке можно закупить такое количество ромашки, календулы и фенхеля, и, пользуясь исключительно домашним кухонным оборудованием, наделать из травок сих столько дистиллята, что хватит выкупать её целиком с ног до головы, с глазами, ушами, прочими анатомическими фрагментами, и ещё останется на пару очистительных клистиров...

Или ещё: заходит надясь соседка — лик бледный, левую сиську рукой придерживает, подвывает по щенячьи.

— Что стряслось, — спрашиваю, — горе ты моё, климактерическое?

— В грудях щемит, сердцебиение неуёмное и ножки подгибаются...

— Чего на сей раз наглоталась?

— Вот, таблетки швейцарские, дорогие (не иначе — запали наши эскулапы на поделки альпийских провизоров), семейный доктор прописал от нервов...

— Давно потребляешь?

— Полтора месяца...

Взял я у неё упаковку, рассмотрел: «Кардовал-ритм» (15\$), производитель — Литва. В каждой капсуле — лошадиная доза экстракта боярышника. Всего капсул — 30, на месяц потребления.

Дал несчастной травок мочегонных — пойдя, говорю, прописайся как следует, после не поленись сбегать к «семейному» доктору и засунь ему (ей) эти чудо таблетки в тухес. А когда пожелаешь в следующий раз довести себя до гиперкалиемии, сходи на Дезертирский базар, там за килограмм экологически чистого боярышника просят 2 лари (0,83\$)...

Есть у меня подозрение, что истинный, не фальшивый либерал, Шарль Луи де Монтескье имел в виду именно членов неумирающей гильдии профессиональных реформаторов, когда изрёк: «Трудно быть хорошим гражданином, вождя большого богатства»...

Эпизод

Аристофанович предложил размять затёкшие ягодицы — прошедшие Корею и Вьетнам гуманитарные амеровские койки за ночь превращают филей в ростбиф.

Неспешно преодолев наш аппендикс, вышли на Бродвей. У дверей срединного клозета дородная матрона допытывалась сквозь хлипкую филёнку:

— Акаки, ты покакал? Акаки, сынок, отзовись, ты покакал?

Меж стен с потерянным взглядом металась дева Салернская:

— Ткебучава! Кто видел Ткебучаву? Господи, чем же я провинилась пред тобой?! — переходя на визг — где в чертях этот лишенец Ткебучава?!

Из перевязочной выглянула Фёкла:

— В клизматории твой Ткебучава, чего надрываешься?..

Архелая метнулась на зады, к клистирному цеху.

В предбанник вплыл Проктос: мощные длани за спиной сложены, в бороде глумливая ухмылка гуляет, взгляд тяжёлый. Сквозь стену просочилась малявка Клото, пристроилась одесную, скоро листовая страницы кондуита, начала доклад. Владыка на ходу похмыкивал, изредка кивал лепным черепом, один раз бросил коротко: «Шиш!», — малявка замолкла, так и проследовали в царский покой.

От палаты к палате заметались сёстры — сгоняли ходячих в смотровую.

У парадного взвизгнули тормоза, взревел и затих мощный движок, хлопнула дверца — в проёме нарисовалась Евродама, наорала на подвернувшегося было престарелого Кербера, и, кроша четвертными «шпильками» истёртые плиты пола, зарысила на свою половину.

Оплёванный Кербер, отобрав из толпящихся в предбаннике залётных с полдюжины мучеников, погнал табунок во владения Мегеры, под ласковые рученьки Сансона-младшего.

Харон с Ефросиной выкатили из палаты №6 тележку, на ней лежал бледный гражданин семитского типа, волосатые руки жертвы были скорбно сложены на впалой груди, проплывавшие над узковытянутым лбом тусклые плафоны зажигали вампирские огоньки в запав-

ших глазницах. Каталка скрылась за бронированной дверью операционной, следом, скаля от вождления перламутровые резцы, скоком поспешала Евродама, уже в бахилах, переднике цвета бедра испуганной нимфы и при скрывающей подобранную гриву хирургической шапчонке.

Из клозета, застревая плечами в откосах проёма, вывалился мордастый верзила.

— Акаки, не разрывай моё сердце, ты покакал?

— Матушка, вы успели оповестить весь город, чем я там занимался, или остались ещё несведущие граждане?

К нам тишком подобралась Архелая, — бдительный Аристофанович успел юркнуть за дверцу с надписью: «Осторожно! Шит разводки медгазов!», мне же мягкие, но цепкие пальцы, клещами сдавили предплечье:

— На перевязочку, батону Баадур, будьте так ласковы!

В больничку Ай-яй-болита прокрался новый день...

4. Невезуха

Всё то, что падало и билось,
давно упало и разбилось,
разбилось в дребезги и в срок.

Михаил Ляшенко

Удивляет, но в условиях царящей нынче тотальной бендукономики, которая, сообразно устройству своему, обязана мягко охватывать обывателя ласковыми объятиями голимого изобилия, образовался-таки в славном некогда городе моём дефицит на два, казалось бы, вовсе и не редкоземельных продукта: первое — наблюдается у нас в последнее время нехватка виски шотландского, впрочем, как и ирландского, канадского и иже, и второе — недостача горожан.

Не подумайте, что у старого ворчуна возрастные неполадки со зрением развились, отнюдь, я вполне ещё способен осуществить физиологический процесс восприятия величины, формы и цвета предметов, а так же фиксации их взаиморасположения в пространстве, посему, заставленные разномастными бутылетами с обозначенным на пестроте этикеток словосочетанием «Scotch Whisky» полки множеств наших супер, гипер и квазимаркетов визуализирую отчётливо, но сей факт ничуть не противоречит заявлению моему, ибо вся эта посуда никак не содержит изготовленный путём соложения ячменя, сбраживания суслу,

последующей перегонки браги и длительного облагораживания дистиллята освящённый традицией напиток архаичных скоттов, а разлито в неё пошло из смеси технического спирта с ароматизаторами, обычно турецкого, в лучшем случае польского генезиса.

Последний раз мне посчастливилось раздобыть в Тифлисе приличный скотч лет 20 тому назад — покойный Джеймс Браун тогда к нам заглянул с концертом, вот пока бы он со сцены Лагуна Вере в бассейн сигал, и секюрити его вылавливали, я и восчувствовал пузырьёк односолодового, как сейчас помню — ординарное светлое было, скорее всего «Маклеланд», иначе не сложилось бы у меня после неодолимого желание закрепить цветочно-торфяное послевкусие тёмным пивком — относительно терпимое пока ещё было времечко, Добендукизм называлось — натуральный «Гиннес» в городе тоже можно было разыскать, зная нужные места...

Это что касается виски. Ну а горожане тоже как-то вдруг исчезли: кто на места последнего упокоения перебрался, кто на поиски пропитания подался в чужие края. Таких, вынужденных переселенцев, по городу насчитывается до полумиллиона, а по стране в целом число их и за миллион зашкаливает, то есть — четверть населения, абсолютное большинство дееспособных особей обоего пола.

Ареал расселения гастарбайтеров наших чуть ли не всю планету охватывает: мингрельцев больше на Пиренеи тянет, что понятно — тепло, море и работёнка привычная, — рыбку потрошить для консервных заводиков.

Тушинцы архаичную Грецию облюбовали — чем не причина реанимировать гипотезу кавказского происхождения ахейских первопроходцев?

Имеретины по природной склонности штукатурничают и малярствуют в Первопрестольной и окрестностях...

Другой коленкор — коренные горожане, столичная косточка, эти всё больше по италиям и америкам рыщут, ибо уже сложилось на тамошнем чёрном рынке труда мнение — из деликатных тифлисских дамочек отличные сиделки для богатеньких старперов случаются, а бывшие доценты наши с кандидатами лихо справляются с обязанностями шнырей на автозаправках и мойщиков окон в конторах средней руки.

Казалось бы, что в том худого? — кобыла с возу, бабе больше фуража останется, да и денежки в невыездные семьи от достатков трудяг-скитальцев капаят, денежки вкупе немалые: они-то, собственно, и есть те единственные бабки, которые обеспечивают жизнеспособность бендукономики, других в обороте не наблюдается. Ладно складывается

— мы на местах и в хрен не дуем, зелень сама собой притекает за счёт тех обалдуев, что на окраинах Портимао сардинку пластают...

Однако, не всё ещё у нас в шоколаде, есть отдельные недоработки — от рыбьих потрохов да от обосранных флоридскими богатеями кальсон денежек поступает куда как меньше, чем от трудов потогонных в России суровой, от того-то и случился нежданчик — Лар вдруг пошатнулся. Как известно — рубль в стеснённых обстоятельствах пребывает, и вдруг, не иначе как из солидарности, наш гордый, накрепко привязанный к братскому доллару, Лар тоже заскучал и чуть ли не на половину стоимости просел в одночасье. Эксперт Компетентный (одно из обязательных условий стабильной бендукономики — наличие в стране не менее одного Компетентного эксперта на сотню здравствующих аборигенов) выступил в ящике, объяснил, цитирую: «Снижение курса лари по отношению к курсу доллара вызвано абсолютным укреплением курса доллара по отношению к курсу евро, что есть хорошо, ибо после укрепления курса доллара, лари ещё больше укрепится над самим собой!..»

Радует. Скажем больше — душу греет, но цены на продукты почему-то поползли в противоположную от поползновений Лара сторону, от чего радостный порыв как-то увял, и вновь прокрался в нестойкое обывательское сознание извечный кляузный вопрос: в чём дело?

А дело вот в чём: с начала года в Грузию из-за рубежа перечислено зелени на 10% меньше, чем за аналогичный период года прошедшего (Госстат) — недоприслали семьям гастарбайтеры денежек, вот и замечались цены на нашем дохлом рынке, на котором нет ни хрена своего, всё привозное из той же России, да из Турции с Ираном, а своего нет потому, что не царское это дело пахать и сеять в условиях бендукономики, в условиях Высокого рынка надлежит пожинать плоды радикальных реформ и укреплять демократию...

Ладно, в своё время купон пережили, и опустычивание лара тоже переживём с божьей помощью, главное — хрупкий организм молодой демократии не повредить...

Возвращаясь к дефициту горожан: как известно святые места долго не пустуют, исходу обычно сопутствует хоть какой-нибудь приход, вот и потянулись на руины некогда глаз восхищавшей столицы Кавказа пейзаю. Поперву из близлежащих сёл, после со всех голодных уголков реформированной родины.

Худо то, что с села дееспособные, как я уже отметил, давно по заграницам разбежались, в город просачиваются остатки, те, кто из

профнепригодности даже апельсины сортировать в Салониках не способен.

Несть числа им здесь стало: проворные аки тараканы и такие же живучие — селятся по углам и щелям, в коих горожанину существовать просто не пришло бы в голову, как-то обустраиваются, чем-то подпитываются, спариваются, и уже помёт дают обильный. Неприхотливы, посе́му — востребованы. Уже в большинстве госучреждений низовой состав работников являет собой форменный паноптикум, правда квалификации у лишенцев этих нет никакой, да на кой хрен она нужна, квалификация эта, один чёрт госструктуры в условиях бендукономики декоративные функции исполняют, зато довольствуются набежавшие уполовиненной ставкой оплаты «труда», а вторая половина фонда зарплаты воссоединяется с фондом премиальным, между кем сей, последний, фонд распределяется, догадайтесь сами.

Совсем уже никудышные трудоустраиваются в частном секторе — по статусу нечто среднее между должностью гребца на галере венецианского работорговца и «девушки» сопровождения в скором поезде «Москва — Лабиднаги». Повторюсь: в городе происходит ротация населения, следовательно, сегодняшние городские коммерсанты, это поднабравшие деньжат вчерашние новопоселенцы, всю горечь перипетий карьерного своего роста в сердце хранящие, вот и вымещают пережитое на новобранцах: отроков обычно ставят на экспедиторскую работу: высунув язык, мотаются «дистрибьюторы» по городу в разбитых «Опелях» с десятком свежееиспечённых липких калачей, либо с палетой упаковок соевого творога в багажниках. Девиц определяют в торговые «залы» — «менеджер по продажам» называется.

Инструктаж последним проводится хозяином один единственный раз. Как правило, получасовой тренинг разделён на два цикла, первый — ознакомление с орально-генитальной гимнастикой, второй — заучивание наизусть сакральной фразы: «Что вас интересует?». Умно, не правда ли? Допустим, заглянули вы в лавочку, мужским бельём торгующую, встречает вас у входа менеджер по продажам, и сразу же, мило улыбнувшись, задает подобный вопрос. Вы же не ответите пустяковое — «Трусы мужские семейные пятьдесят второго размера», вы обязательно задумаетесь, что же ещё вас может в настоящее время заинтересовать, заинтриговать, свергнуть в покупательский азарт...

На старости лет проснулось во мне любопытство неуёмное, тем более, что младореформаторы всю город переиначивают, посе́му долгие прогулки совершаю ежедневно, люблюсь на выросшие по округе аквариумы, совершенное жильё изображать долженствующие, вот и се-

годня занесло меня на бывшую Кутузова, как свернул за угол, и чуть продвинулся, углядел ранее мною не наблюдавшуюся здоровенную бутыл с содержимым цвета большой жёлчи и лапидарную надпись над ней: «Whiskey House».

Слюна набежала, а вместе с ней надежда робко сердца коснулась: — А вдруг? Взяли, и с перепугу завезли натурального... Ноги сами понесли, рука дверь толкнула: внутри — протяжённые стеллажи с разнокалиберными бутылетами. Только я вознамерился, из тёмного угла — тощенькая, в грошовые джинсики затянутая, давно досыта не кормленная:

— Что вас интересует? — с надеждой...

— Подковы, — говорю, — скаковые и рысачи.

У бедняжки зрачки на переносе двустволкой сошлись, вековая тоска холопья во взоре образовалась, поняла спинным мозгом — грядут неприятности: — Нету, — говорит, — у нас подков, и не бывает, извините...

— Что значит нету? — Я металла в голос добавил. — Это же «Виски Хаус», в конце-то концов...

— Да, виски, а подков вот нету, в... хаусе... — совсем уже смешалась бедняжка.

— Слушай, — говорю, — детка, виски кто пьёт? — ковбои, а ты слыхивала когда-нибудь про безлошадных ковбоев? А?

— Извините, — говорит, — я щас, — и ушла в боковую дверь. Оттуда через минуту донёсся похмельный матерный мужской рёв, то, по видимому, топ-менеджер подключился к действию. Я без помех прогулялся вдоль полок, увы — всё та же турецко-польская рыгаловка, а я ведь уже представил себе вечернее удовольствие — низкий стакан толстого стекла, на одну треть маслянистой струёй, согреть в ладонях... Мда, придётся, как обычно, ограничиться анисовой, слава господу подделывать «Узо» ещё никто не догадался. И подков мне тоже не досталось. Невезуха...

Эпизод

Размять старые кости обычно хожу в Блядский садик, вот и сегодня отправился спозаранку, повертелся на тренажере (надежда умирает последней — авось пупок на старое место провалится), оттрუსил положенное, топаю по жаре обратно. Возле бывшей «Инфекционки» на встречу двое: при одинаковых галстуках, рубашках, башмаках, даже подстрижены сходно, ясно — охмурители. Который помоложе остано-

вил и зачирикал на весьма приличном грузинском: — Позвольте вопрос: кто правит нашим миром?

— Капитал, — отвечаю.

— Значит деньги? А за деньгами кто — Сатана?

— При чём здесь Сатана? — говорю, — деньги два с половиной тысячелетия существуют, а в средство подчинения и управления обратились совсем недавно.

— Это когда же?

— В Тридцатилетнюю войну.

— Так он же и войны затевает...

— Ерунда: человечки давно уже войну превратили в элемент культуры, а алчность перевели в разряд этики — Лютер с Мелактоном постарались.

— Значит снова ложь, а что нам Библия говорит, кто отец лжи?

— Так Библию те же людишки и накропали.

— Ну, директору документы секретари составляют!

— Я бывший «красный» директор, все документы измышлял сам!

— Вернёмся всё же к Библии (в запале на русский перешел). Вынимает из наплечной котомки томик с закладками, раскрывает: — Вот Исаия предрекает: «И наступит мир и покой...»

— Так это вы мне концовку его речений зачитываете, а начинал посланец Саваофа совсем в другом ключе...

Тут вступил внимательно следивший за диспутом второй, который постарше: — Изя, кончай выёбываться, сдался тебе этот гой, к нему и на танке не подъедешь, пошли уже...

— Эй, пилигримы, — кричу вслед, — почём фунт охмуриловки для честного народа?

— Зубы скалят, отмахиваются на ходу...

5. О свальной терапии

Я времени плюю в лицо за все его дела!

Йейтс

За что почитаю предков, так это за рассудительность и тщание при заимствованиях у инородцев: умели нужное принять, слегка переиначив на свой лад, а неприемлемое для привычного быта — похерить, остеречься от подобного. Иногда само собой образовывалось этакое низкопоклонство перед Западом, но всплески еврофилии обычно успешно

купировали просвещённые круги — пращурьы умели отделить зерно от плевел.

В более поздние и очень специфические времена незабвенный Никита Сергеевич объявил войну всему «заграничному», партия поддержала почин бесноватого вождя, мобилизовала комсомол (эти, отработавшая будущую сытую пайку, особую ретивость проявили), и широким фронтом повела наступление на тлетворное влияние Запада, сметая со своего пути хлипкий заслон из всяких там стилияг, рок-н-рольщиков, модернистов, авангардистов, абстракционистов и прочих пораженцев: «сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь!»

Шестидесятников Суслов с Фурцевой сломали — жидковаты оказались в кости, а вот моё поколение случилось более стойким, — за океаном наши братья ходили походами на Вашингтон, а здесь мы успешно противостояли как науськанным на нас ментам, так и активистам ВЛКСМ. Правда потери в наших рядах случались, но на место одного павшего бойца заступали двое! Славное было время, и, прошу отметить — никто из нас не ссучился: отстаивая право на нашу музыку, на наш прикид, на наше мироощущение, мы оставались истовыми патриотами необъятной нашей страны и глаз готовы были выдрать любому её хулителю и недоброжелателю.

Нынче же наступили времена смутные — расчленённая на отнюдь не дружественные анклавьы одна шестая часть земной суши превращена в мусорную свалку Запада, ибо мы, в силу неписанных канонов «свободного» рынка, потребляем всё то, что «там» по тем или иным причинам отбраковывают. Мало того наши новоявленные дикари слепо перенимают самые нелепые их обычаи, не задумываясь над тем, что и в процветающих европах, всё ещё бытует масса допотопностей, и, прежде, чем копировать некоторые социальные практики, стоит задуматься — насколько они соответствуют традициям народов, которым их пытаются навязать...

Суровый Кондратий посетил меня без предварительного уведомления: споткнулся, упал, смутно помню карету неотложки, санитаров, каталку, клювь рентгеновской установки у самой груди, путаницу пульсирующих артерий на экране закрепленного на стене монитора, спасительный укол, лёгкий озноб и марево зыбкое, расплывчатое...

А где гипс?.. Должен же где-то здесь быть гипс-с-с!.. Это ты, дура? — убери коготь, жжёт... Пошла прочь, пугалище жирное, а ведь спокон веков перетолки ходили — костлявая, мол, с косоь... Потому толстомясая, что ненасытная... А этот откуда взялся?.. Сноровистый, руки хваткие, весёлый... Сантехник: отогнал образину, за дело принялся — ёр-

шик в ранку от когтя затолкал, длинный — до самого вздошья достал, серёдыш скребёт...

— Эй, умелец, больно!

— Неужто, недужливый? Терпи, курилка, обратный путь занозист; сей момент спиральку закреплю, дам передохнуть... Ну вот, готово, расслабься на пару минут, дедушку Фиделя вспомни, как присылал нам пароходами первач тростниковый, а ты его смаковал стаканами под душистую гавану. Вкусно было? Верно — так вкусно, как только можно. А анисовка? — сосуды, мол, расширяет... Зело расширила, как же... Ладно, пошли на второй круг, держись, тут хитрая петля образовалась, нелегко будет...

Сейчас бы стопочку анисовой, да родниковой водицы струйкой подбавить, до молочного цвета... Чего там мастак творит? Никак кислород в меня закачивает?

— Эй, я не аэростат, слышишь? Я дирижабль, мне другая смесь требуется, веселящая, я Свинцовый Дирижабль: *Oh, let the sun beat down upon my face, stars to fill my dream. I am a traveler of both time and space, to be, where I have been...* Кстати, брешут: нет там никаких восходящих труб, гласа божественного и песнопений ангельских — там сыро, зябко и воняет застарелой мочой...

Очнулся я от повторяющегося с равными интервалами истошного речитатива — некто громогласно вещал хорошо поставленным шкиперским баритоном: «Мальвина, аллергия, Рахиль, энцефалит, Мальвина...»

Источник нарратива пребывал прямо предо мною, на противоположном конце обширной залы, — возлежал на «гуманитарной» амеровской госпитальной койке, помещённый в обустроенную из пластиковых занавесок келью. Справа и слева от него покоем теснились такие же ячейки, и я с неподдельным удивлением отметил, что часть из них занята представительницами дамского сословия.

Открытие меня ошарашило, ибо, являясь оголтелым феминистом (это у нас семейное), прекрасную половину потомков райских голубков почитаю превыше всего земного (по-видимому атавистические всплески сказываются, просыпается укоренившаяся в генах память о царившей некогда в племени моём гинекокрации), в силу чего строго соблюдаю издревле сложившийся в Грузии нерушимый этикет общежития не связанных брачными узами представителей противоположных полов. До глубины души оскорблённый фактом нарушения векового кодекса, осматривая доступную моему взору часть дортуара свального типа, я

внезапно отметил, что сам представляю собой весьма неприглядное зрелище, ибо возлежал на такой же, как и оратор кровати без какого-либо покрывала и облачён был в короткую казённую тунику, которая никак не скрывала срамные мои места, а наоборот — выставляла их на всеобщее обозрение. Вознамерившись придать себе пристойный вид, предпринял я попытку приподняться, но, увы — оказалось, что правая моя длань была прикручена к остоу кровати хитроумным, нещадно давившим запястье браслетом, а неестественно вывернутая левая принайтована лейкопластырем к продольной, обрамляющей лежак железяке, и из неё торчала толстенная игла, шланг от которой тянулся к подвешенному перед моим носом флакону.

— Эй! — возопил я, стараясь перекричать оратора, — есть тут кто ходячий?

— Рахиль, — уверенно обозначил фронтальный, после чего в ограниченное боковыми завесами поле моего зрения всплыла цаплеобразная сестрица милосердия: «Не шумите, больной, вы здесь не один!»

— Вижу, красавица, и слышу, сей момент простыньку какую принеси, ноги мне прикрой!

— Не положено! Мелитон Гедеванович не велит!

— Да плевать я хотел, кто тут чего не велит — яйца мне прикрой, иначе всё здесь к чертям разнесу...

Губки поджала, улыбку язвительную сложила и уплыла за завесь.

— Энцефалит, — констатировал фронтальный и расхохотался со всхлипом.

Откинувшись на жесткую подушку, я прикинул было возможность дотянуться зубами до пластыря, ограничивавшего подвижность моей порядком уже онемевшей шуйцы, но отвлёк меня негромкий говор, проникавший через левую завесу — некая дама, пребывавшая судя по тембру голоса и манерным, витиеватым оборотам речи, в преклонных годах, поверяла собеседнику-це (?) подробную историю своего повторного замужества, причем некоторые детали повествования могли бы вогнать в краску даже выдавшую виды содержательницу портового притона. Одновременно справа раздался долгий стон, сменившийся чередой всхлипов — голосок нежный, деликатный, извиняющийся — мол, понимаю, что беспокою, но сдерживаться не получается...

Вновь явилась цаплербоазная, в руке стаканчик пластмассовый — из таких кидалы на рынках игральные кости выбрасывают. И эта потрясла рукой, в посудинке забренчало:

— Извольте лекарства принять.

— Что у тебя там?

— То, что прописано.

— Слепую не принимаю, изволь список препаратов представить.

— Больной, вы нарушаете правила клиники, — конфиденция у нас явно не складывалась, — сказано вам, принять назначенное!

— Кто будет антрепренер этого балагана?

— Мелитон Гедеванович!

— Зови!

Явился — доедаемый подагрой, скрюченный, желчный зелейник:
— Этот?

— Этот, — Цапля для наглядности указала перстом, — не подчиняется!

— Зови Галактиона...

Появился амбал — морда сковородой.

— Действуйте, — распорядился Гедеванович.

Амбал не мудрствуя зажал мне нос волосатыми пальцами. Через минуту, дабы вздохнуть, пришлось разжать зубы, и Цапля натренированной рукой высыпала мне в пасть пригоршню таблеток: это мне-то, потомственному вредителю, бывшему мучителю обывателей Караульной улицы — перебрав пилюли языком, выбрал самую внушительную, с горошину, и прицельно плюнул ею прямым в сморщенную физиономию Гедевановича. Остальные калики запустил веером — досталось и стержозной сестричке и амбалу, поровну.

— Может ему галоперидолу в капельницу плеснуть? — Утирая сопатку рукавом предложил амбал.

— Нельзя, — вздохнула Цапля, — гепарин прокапываем, ноги протянет.

— Кто сегодня в ночь, — поинтересовался подагрик, — Майя? Вот пусть она с ним и возится, чокнутые её конёк. Снимайте капельницу.

— Простыню дай, подлец! Не дашь — пожалеешь!

— Прикройте его, чёрт с ним.

Удалились, амбал на прощание погрозил кулаком. Соседка справа, напуганная нашей вознёй, понизила громкость стенаний до еле слышного шёпота, чем предоставила мне возможность без помех внимать заинтригованному ранее диалогу слева. Подложив освободившуюся руку под голову, я, елико это было возможно, устроился поудобнее и приготовился слушать. На сей раз дама живописала свою родословную. В течении часа я ознакомлялся с героическими деяниями славных её предков со времён царствования Давида Строителя и до большевизации Грузии, отметив одновременно, что на самом деле, находясь в ячейке в полном одиночестве, беседовала болящая сама с собой. Убаю-

канный монотонной скороговоркой, так и не дослушав против кого была направлена стройная аллокуция, я задремал — снилась мне Дидгорская битва...

Пробудился я в полутьме — постояльцы приюта скорбящих пребывали в спасительных объятиях озорника Морфея. Бодрствовала только неутомимая соседка-рассказчица, продолжавшая излагать героическое своё сказание, под нестройный аккомпанемент доносившихся с разных сторон болезненных всхрапов и политональных флатуленций. У моей койки присутствовала смешливая конопатая девчушка, с интересом меня рассматривала: — Это вы Мелитона укротили?

— Я...

— Прямо в рожу, — возопил притворявшийся спящим фронтальный, — абстракционист!

— Амиранчик, не кричи, больные спят. Хочешь таблетку?

— Мальвина... — умильно промурлыкал возмутитель спокойствия.

— Минутку, успокою его и подойду. — Конопушка направилась к установленному посреди покоя столу с приставной тумбой-аптечкой, напивав причмокивавшего от предвкушения крикуна, вернулась ко мне: — Давайте браслет снимем, а то рука посинела уже. Лекарства принимать будем?

— Альфа-аденоблокаторы не переносу, бета-аденоблокаторы — не переносу, антиагреганты со статинами для меня яд смертельный, с одной таблетки димедрола могу окочуриться — дыхалку перекрывает...

— Ну, обойдёмся без ингибиторов, в вас столько гепарина закачали, что на неделю хватит, а как насчёт старой-доброй но-шпы?

— Лучше не бывает, особенно если с архаичным папаверином намешать...

— Вот и чудно, сию минуту организую. Может и половинку валиума заодно — расслабитесь.

— Да ну его, я лучше соседку послушаю, её сказки лучше любого успокоительного расслабляют...

Наутро затеялся обход: немногословный, сопровождаемый многочисленной свитой аскетичный бугор остановился у моей кельи: — Какие претензии?

— Мне претит пребывать в балагане, который бездумно скопирован со средневекового чумного барака, мало того...

Не дослушав, глянул на мигающий над моей головой дисплей, обернулся к Гедевановичу: — Переведите его к протестантам: на сего-

дня полный пыточный набор — пусть вкусит сполна от щедрот наших, завтра с утра на УЗИ, если некроза нет, выпишите к чёртовой матери.

Появился знакомый мне амбал, нехорошо улыбаясь вытолкнул мою койку из скинии, покотил к видневшимся в конце зала дверям.

— Рахиль, Мальвина, аллергия, имажинизм. Лазарь, выходи! — Напутствовал меня громогласный Амиран...

Диорама

О несомненной пользе урбанизации речь: вот сетуем — деревня, мол, город заполонила, злобствуем, а зря, ибо бывшие труженики села, распределив меж собой бизеллиумы парламентские и прочие стульчаки в органах исполнительной власти, с энтузиазмом принялись реформировать замшелый за века столичный уклад.

И ведь получается это дело у понаехавших с большой пользой для различных социальных и профессиональных группировок: по-видимому смекалка крестьянская сказывается, хватистость природная, чтобы не сказать большего...

Вот к примеру: после недавнего обвала Национальной Валюты аборигены взроптали — беда, мол, транспорт городской подорожает, и так еле-еле перемещаемся по причине тощих кошельков...

Ан нет, живо осознали младореформаторы проблему и меры приняли — сократили вдвое количество связующих городские диоцезии транспортных единиц: автобусов, маршруток, поездов метрополитена, очастливив тем самым:

— во-первых горожан: плата за проезд осталась прежней;

— во-вторых транспортные компании: себестоимость эксплуатации подвижного состава сократилась вдвое, количество пассажиров осталось прежним, соответственно, удвоилась прибыль;

— в-третьих бедствующую до того когорту докторов по наружным болезням: благодаря обильным росткам истово внедряемого грантоедомии всех мастей столь необходимого нам для вхождения в братскую семью европейских народов мультикультурализма, наводнён нынче город разноцветными братьями и сёстрами нашими, драпанувшими из Юго-Восточной Азии, Леванта и Магриба. Вот и случается всё чаще, что спешащий на службу горожанин, внедрившись в переполненный салон транспортного средства, попадает прямиком в дружеские объятия какого-нибудь улыбочивого сенегальца, или, скажем — тамила, а на другой

день, раздирая на себе кожные покровы, поспешает на приём к потирающему от вожделения ладони дерматологу;

— в-четвёртых аптекарей: исходя из вышеизложенного резко возрос спрос на серную мазь, Тридерм и прочие Адвантаны...

— в-пятых— карманников: любой щипач вам скажет — работать в набитом транспорте, всё равно что ловить рыбку в аквариуме...

И наконец — вновь оживает умершая было в суете последних лет традиция непринуждённого общения горожан, ведь мы, тифлисцы, народ коммуникабельный, а вечная спешка, терзавшая нас в процессе построения светлого демократического завтра, препятствовала столь милому нашим сердцам неспешному уличному общению. Зато теперь, у обывателей, ожидающих по получасу автобус, вновь появилась возможность, завязывая моментальные знакомства, обсудить последние городские новости, посудачить о капризах припозднившейся весны, да помянуть добрым словом родителей славных наших реформаторов...

Интерлюдия Homo-viator

Дух метаморфоз, коли мы дерзнем стереть неведомую черту, которой облачная гряда отделяет нас от другого царства, — будь нашей путеводной звездой! И когда настанет этот час, пробуди в нас задор путника, завязывающего свою котомку в то время, когда за запотевшим окном разливается свет зари!

Габриэль Марсель

Человек-путник — понятие в словесности, интерпретирующее жизнь человеческую как опасное, полное негаданностей путешествие выучки, завершающееся при благоприятном исходе вступлением в зрелость, обретением мудрости, либо, как считал меланхолик Шекспир — заурядным переходом в небытие.

Толкиен начертал пилигриму путь детерминированный, предопределённый, влекущий к конкретной цели, — путник не прокладывает тропу, он ей следует.

Кавафис отправил путника в неизведанное: «Молись, чтоб долгим оказался путь. Пусть много раз тебе случится с восторгом нетерпенья в неведомые гавани входить... Пусть в помыслах твоих Итака станет конечной целью долгого похода. И не старайся сократить его, напротив,

продли дорогу до предела, чтоб к острову причалить старцем, обогащённым тем, что приобрёл в пути».

Джон Гриффит Чейни составил многотомное напутствие, суть послыла — не добрести до Иерусалима, а познать в пути себя. Сам, познав искомое, не спросясь у Атропы, ушел за Окоём, прокладывая новые дороги.

Автор, влекомый неким ангелом (когда во младенчестве сразило меня воспаление гуморов, задремавшей у одра матушке явилась облаченная в белые одежды дева, потребовавшая для блага болящего незамедлительно переименовать его, назвав древнее прозвище, — так обрёл я хранительницу и имя любимца богов-первопредков), позаимствовав у Фродо упористость, у Лаэртида — неуступчивость и толику авантюристности, у бунтаря-нищанца неубиваемую горделивость (не путать с «кесаревым безумием») — гибрис в романтическом толковании, — долгие годы следовал ухабистой тропе метаморфоз, не поддавшись соблазну свернуть на множественные утопанные, сулящие скорую «тихую гавань» дорожки, и тропа эта привела странника в его «Итаку» — прибежище успокоения и выверки пройденного пути. Результат перед вами, господа-товарищи, вам и судить, приобрёл ли я в дороге стоящий хабар, или впустую истоптал не одну пару башмаков. А что касается пессимистического прогноза стратфордского барда — все там будем, вопрос — кто с какой поклажей?..

88 homo-viator — человек-путник.

6. Вечер

Их больше нет — загадочных людей,
ни окон с тайнами, ни башенки с преданьем...

Паола Урушадзе

«Ваши куки не входят в браузер» — высветил дисплей злобещее сообщение, компьютер щёлкнул, экран подмигнул мне и погас. Что такое «куки» — я не знаю. Тем более не имею я никакого понятия, почему это они не желают заходить в таинственный «браузер», может быть им там неуютно?.. Делать нечего, в капризах ящика я не разбираюсь, внучка моя — семейный «программист», уже дрыхнет, придётся коротать вечер как мы это делали до эпохи гегемона всемогущей паутины мировой.

Для начала расширим сосуды — рюмочка анисовой очень способствует. Исключительно для поднятия тонуса можно добавить вторую. Теперь выберем трубку, поищем жестянку с табаком...

Славно. Для окончательной гармонии с окружающим миром набрызгаем третью...

...Once I had a little game
I liked to crawl back into my brain...

За упокой твоей мятежной души, брат Джим. А вот и компания: Персик, привет! Как ты, неунывайка?.. Медведь, обними меня...Джон, сколько лет... Гошар, только не язвить!.. Хачик, родной, как сердечко, стучит?.. Джафо, дай поцелую в усы: клёво смотрите, чуваки! Я чуток обветшал, однако задора не растерял, сердце ведь не стареет...

...Run with me
Run with me
Let's run...

Джон выставил в окно лоджии "Комету", Моррисон предлагал бежать вместе. Медведь разложил тела на ступенях парадного. Строго напротив, вольно развалившись на обрамлённой кустами сирени скамье, Гошар и Хачик покуривали травку. В уголке, у забора, Майорчик обрабатывал залётного фраера:

— Вот ты такой большой и такой глупый, почему шляешься по чужим дворам, да ещё в замшевых ботинках?

— Я в гости приходил...

— Врешь, у тебя морда онаниста, небось, в окна подглядывал...

— Я у тёти был...

— А кто, например, твоя тётя?

— Виолета Семёновна...

— Так ты ещё и родственник этой стервы? Её стараниями меня от родника знаний отлучили — глаз вырву! Снимай ботинки!

— Как это снимать?

— Руками. И скажи мне, например, откуда у тебя фирменные шузы? Фарцуешь?

— Мне жена из ГДР привезла...

— Ага, значит — жена фарцует!

— Моя жена доцент, она на симпозиуме была...

— ... и ей на симпозиуме штиблеты выдали?! Знаешь, что я с такими как ты делаю? Снимай, не то горло перегрызу!

Майорчик вбил ноги в изящную обувь:

— Жмут: дура твоя жена, надо было на размер больше везти.

— И мне немного жмут...

— Вот и хорошо, я их тебе разношу. Заходи на днях, а пока пользуйся... — Майорчик подтолкнул ногой затасканные свои туфли разутому, и двинулся со двора.

— Аа, ээ, куда? Я же босиком...

Тут подключился Медведь:

— Слушай, тебе сказали по-хорошему: «Заходи на днях» — вот и заходи, а сейчас лучше его не зли, будет плохо.

— Бандиты! — Племянник Виолеты бросился в арку.

Отстранившись от бегуна, во двор вступил Персик, при бороде и красных в зелёную полоску штанах:

— Сервус (89)!

— Персику привет! — Отозвался за всех Медведь.

Персик подошёл к скамейке, потянул носом:

— Кашгарский, пыльца...

Хачик индифферентно отвернулся, стал разглядывать окна над дальним подъездом.

— Персик, — позвал Джон, — Мамис мне новую группу записал, «Биджепс» называется...

— Не «биджепс», а «Бии Джииз», — австралийцы.

— И что это означает?

— Бытует в Австралии поговорка: "Хия ар флаинг бииз энд джииз" — ну, вроде: «Полетели гуси-лебеди», — не сморгнув выдал Персик.

— Надо же, гуси-лебеди, — заржал Хачик, — на две мастырки залепуха...

Пересекая двор наискось, скорым шагом прошёл стукач Ванечка, бормотнул на ходу: «Облава, Скорпион едет», — Хачик сорвался в сторону.

Во двор въехал милицейский уазик. Из машины вылез красномордый Скорпион:

— Кронина кто видел? Каримов, ты ответь — Майорчик был здесь?

— Сегодня не видели, — отозвался Джон.

— А почему в отделение пришёл человек без обуви?

— А мы что, должны знать про всех сумасшедших, которые по району шляются? — Встрял Гошар.

— Чачуа, ты у меня допрыгаешься! Где Хачатуров?

— Откуда я знаю, я что обязан ... — начал Гошар.

— Обязан, потому, что там, где ты, там и Хачатуров, а где вы вместе, там кончается порядок!

Гошар снял тёмные очки, уставился на Скорпиона ясными голубыми глазками:

— А вот, например, товарищ сержант: после напряжённого учебного дня я с моими друзьями отдыхаю во дворе собственного дома, что не возбраняется конституцией Советского Союза...

— Остришь Чачуа, остришь? Папиной спиной остришь? Встань, когда со старшим разговариваешь! Я давно к тебе присматриваюсь, Чачуа. Папа не вечно в райкоме будет заседать, боком вылезут тебе твои остроты. А это чьи туфли валяются?

— Может тот псих оставил, который в отделение босиком пришёл? — предположил Медведь.

— Я вам покажу «психов», а это ещё кто? Почему с бородой? Почему в красных штанах?

Персик приосанился:

— Карл Маркс тоже носил бороду и ...

— Я тебе покажу «Карла Маркса» и «Фридриха Энгельса» тоже покажу. В машину его... — Скорпион выскочил на скукавшего у дверцы уазика мента, — в машину, в отделении разберёмся, и туфли эти забери.

Канарейка вырулила со двора.

Джон ушёл вглубь квартиры, вернулся с телефонным аппаратом:

— Гошар, моего папаши нет, в Баку уехал, на партконференцию. Звони своему, жалко Персика.

— Набирай номер. — Гошар, подойдя к окну, потянулся за трубкой: — Папа, это я. Юра это... объясни, до каких пор мы должны терпеть произвол сержанта Меладзе?... нет, я не выпивши... только что ворвался, да, именно что ворвался во двор, цинично издевался над нами... на твой счёт, между прочим, тоже позволил себе неуважительные высказывания... нет, я абсолютно трезв. Нашего друга, который зашёл в гости — оскорбил и увёз в отделение... наш друг не босяк, а студент института иностранных языков, отличник... да, волосы у него длинные... о моей причёске дома поговорим... нет, Вагиф Гарифович в Баку, был бы он дома, этого безобразия не допустил бы. Папа, прими меры... об этом тоже дома поговорим...

Пока Гошар общался с отцом, из кустов вылез Хачик:

— В жизни такой подлой твари как этот мент не встречал — сделаю я ему подставу, дворы будет подметать.

— Ты поаккуратнее с травой, он на тебя глаз положил. — Джон убрал телефон.

— Джон, — позвал Медведь, — включи "Виндз оф чейндж", душа просит.

Вскоре появился Персик: — Спасибо, чуваки!

Хачик подхватил его под локоть, увёл за сирень. Вернулись оба повеселевшие, у Персика огнём зажглось родимое пятно на щеке: — Чуваки, мне пора. Репетируем сегодня у Джафо в подвале. Борух новые вещи смастырил.

— Тексты твои? — Поинтересовался Трезор.

— А-то?

— Концерт когда?

— В субботу, в Шанхае. С ментами Борух сговорился — отстёгиваем со сбора. Борух просил траву и колёса не тащить — на входе шмон будет.

— А билеты почём? — Засомневался Хачик.

— Фи, какой вы меркантильный, Сэр. Для вас бесплатно, о чём речь.

— Боруху привет, непременно будем. — Гошар помахал вслед Персику ладошкой.

Во двор нетвёрдой походкой вошёл шофёр Вова: — Ребятам моё почтение!!!

Вова споткнулся и по стеночке начал пробираться к соседнему подъезду. Медведь ожил:

— Джон, убавь звук, сейчас начнётся.

Вова скрылся в подъезде, чуть погодя зажёгся свет в окнах первого этажа, что-то грохнуло:

— Рузана, ты блядь... я как ишак работаю, а ты ни хера не делаешь, целый день блядуешь, ты — блядь, Рузана!..

В арку просеменила гражданка Шушик — районный санэпиднадзор:

— Мальчики, у вас во дворе мышки есть?

— Есть, есть, — Хачик сорвался со скамьи, — Мишка, Мишка — аа...

На втором этаже отворилось окно, высунулась небритая физиономия:

— Ха?

— Мишка, тётя Шушик пришла, лекарство тебе принесла!..

...Sun, sun, sun
Burn, burn, burn
Soon, soon, soon
I will get you Soon!

89 Сервус (лат.) — привет.

Эпилог

Давай отпустим всё природе
и необузданной погоде,
чтоб неизбежное терпеть.

Михаил Ляшенко

Дни стоят досадительные: безветрие буревалами сменяется, небо густое, обвислое, сквозистая морось эфир точит, коротко же говоря — по подворьям чавкает зима.

От непогодицы хромота одолела, понеже метатарус огнём горит, будто бы впился в босву клык зверя лютого, — аж взрыднулось и незамедлительно затянуло в полнейшую мизантропию.

Однако же по прошествии малого времени вспомнилось бодрящее: в 1739 году француз Эжен Мушрон (Eugene Moucheron) издал брошюру «О благородной подагре и сопровождающих её добродетелях», в которой воспевал хворобу и отмечал, что это болезнь королей, принцев, выдающихся полководцев, умных и одарённых мужей, а также приводил примеры именитых сочинителей и людей искусства, страдавших ею.

В 1927 году Хавелок Эллис (Henry Havelock Ellis) опубликовал книгу под названием «История английского гения». В ней автор приводил в пример 55 выдающихся англичан, страдавших подагрой.

В 1955 году Эгон Орован в работе «The origin of man» объяснил частые случаи подагры у сверходарённых индивидов тем, что мочевая кислота структурно весьма сходна с метилированными пуринами: кофеином, теофиллином и теобромином, которые, являясь стимуляторами умственной активности, оказывают благотворное воздействие на высшие мозговые функции...

Мда-с, где мой милый сердцу шлафрок? И рюмочку анисовой — расширить прожилыны: как говаривал правдолюб Лесков, — лучшее время не позади нас!..

□□□□□

СОДЕРЖАНИЕ

Сергей Калабухин ДЕСЯТЬ МИНУТ СЧАСТЬЯ	3
Игорь Книга СИЛА ВЕРЫ	9
Светлана Олексенко КРАСАВЕЦ	20
Ерофим Сысоев ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ	26
Георгий Кулишкин ВАХОМЧИК	39
Игорь Бézрук СЛУЧАЙНЫЙ ПРОХОЖИЙ НАЛЕТ РУССКАЯ РУЛЕТКА	62 65 68
Anna Raven ИГЛА ОБ ОДНОМ ПОДВАЛЕ ОБ ОДНОМ ЛИЦЕ	79 87 97
Виктор Королев ПАКО И ПОЛО	104

Андрей Мансуров ДОГОВОР	111
Светлана Олексенко ДЕНЬ ПОСЕЩЕНИЯ	153
Роберт Орешник ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЫБАКОВ	173
Сергей Шумский ПОЕЗД ДО РОДИНЫ	194
Баадур Чхатарашвили НО ДЫМ ОТЕЧЕСТВА...	280



**Литературный
альманах
«ЭДИТА» № 27**

**ЛИТО
«Edita Gelsen»**

edita gelsen

logobo2023@gmail.com

ISBN 978-3-910935-87-7



9 783910 935877

